

Свиньин П. П.



**ЕРМАК, ИЛИ
ПОКОРЕНИЕ СИБИРИ**

РОССИЯ ДЕРЖАВНАЯ

Свиньин П. П. Ермак, или Покорение Сибири: Роман // Мир Книги Ритейл,
Литература, Москва, 2012
ISBN: 978-5-501-00179-4
FB2: "Yurkas ", 29 January 2018, version 1.0
UUID: 6ee39ad9-fc3c-11e7-aaa2-0cc47a520424
PDF: fb2pdf-j.20180924, 29.02.2024

Павел Петрович Свиньин

Ермак, или Покорение Сибири

(Россия державная)

Павел Петрович Свиньин (1788–1839) был одним из самых разносторонних представителей своего времени: писатель, историк, художник, редактор и издатель журнала «Отечественные записки». Находясь на дипломатической работе, он побывал во многих странах мира, немало поездил и по России. Свиньин избрал уникальную роль художника-писателя: местности, где он путешествовал, описывал не только пером, но и зарисовывал, называя свои поездки «живописными путешествиями». Этнографические очерки Свиньина вышли после его смерти, под заглавием «Картины России и быт разноплеменных ее народов». Из других значительных трудов писателя следует выделить «Достопамятности Санкт-Петербурга и его окрестностей». Кроме того, Свиньин был страстным коллекционером: он увлеченно собирал предметы старины, памятники культуры. Им составлен богатый музей картин, портретов, монет, медалей, рукописей и книг («Русский музей»).

В художественных произведениях Свиньина истори-

ческая реальность представляется в виде увлекательнейшего повествования, но в то же время много внимания автор уделяет подлинным историческим деталям. Роман «Ермак, или Покорение Сибири», публикуемый в данном томе, переносит читателя во времена Ивана Грозного, когда Россия активно расширяла свои границы, присоединяя новые земли.

Содержание

#1	0007
#2	0008
Введение	0009
Часть первая	0019
Глава первая	0019
Глава вторая	0038
Глава третья	0048
Глава четвертая	0063
Глава пятая	0072
Глава шестая	0083
Глава седьмая	0096
Глава восьмая	0110
Глава девятая	0127
Глава десятая	0151
Часть вторая	0162
Глава первая	0162
Глава вторая	0186
Глава третья	0199
Глава четвертая	0211
Глава пятая	0221
Глава шестая	0233
Глава седьмая	0250
Глава восьмая	0262
Часть третья	0276
Глава первая	0276

Глава вторая	0298
Глава третья	0315
Глава четвертая	0327
Глава пятая	0347
Глава шестая	0367
Часть четвертая	0381
Глава первая	0381
Глава вторая	0398
Глава третья	0421
Глава четвертая	0435
Глава пятая	0456
Глава шестая	0472

**Павел Свиньин
Ермак, или Покорение
Сибири**

© ЗАО «Мир Книги Ритейл», оформление,
2012

© ООО «РИЦ Литература», 2012

Со всем тем я не дерзнул бы украсить труд свой почтеннейшим именем Вашего сиятельства, зная тонкость и разборчивость вкуса Вашего в литературе, если б в то же время не знал и снисходительности Вашей ко всему отечественному и если б в романе сем не занимали самое почетное место знаменитые Строгановы.

С глубочайшим почтением и совершенною преданностью имею честь быть Вашего сиятельства, милостивая государыня, покорнейшим слугою Павел Свиньин.

Введение

Мудрено поверить, что событие, подобное завоеванию Сибири, заслужило только несколько страниц в «Истории государства Российского», хотя, по-видимому, оно во всех отношениях представляло достойное поприще глубокомыслию и витийству Карамзина. Кажется непостижимым, почему знаменитый историограф наш не воспользовался сим великим событием, удивившим Европу не менее завоевания Америки, и не дал свободы неподражаемому перу своему, чтобы пре-взойти в красноречии описателя открытия Нового Света? Но удивление прекратится, когда узнаем на опыте скудность, неверность и безжизненность материалов, коими должен был историограф ограничиться. Скажем даже, что удивление наше увеличилось к таланту, умевшему из хаоса противоречий и темных преданий извлечь столько важных истин и составить столько прекрасных картин, ибо по обязанности историка Карамзин должен был каждое слово свое подкреплять документами, каждое определение основыв-

вать на свидетельстве неоспоримом, очищенном критикой! Летописи же о завоевании Сибири противоречат одни другим, начиная с положительных начал до малейших подробностей, и вместе с тем не заключают в себе ни одной из сих последних, по которой бы историку можно было представить верную картину сего великого события или обрисовать, хотя бы поверхностно, исполинов, совершивших столь великое дело! Всякому русскому, думаю, всякому космополиту желалось бы познакомиться ближе с завоевателями Сибири: Строгановыми, Ермаком, Кольцом, Грозою, Паном и Мещеряком; но современные им бытописатели не оставили нам красок для их портретов, и знаменитая эпоха сия утратилась даже в самих преданиях.

По крайней мере, мне стоило большого труда на самом месте собрать несколько подробностей, несколько поверий. Я радовался как приятнейшему открытию, как счастливой находке малейшей догадке, рождавшейся при ближайшем наблюдении следов Ермакова похода. Сами сказки были для меня нередко лучом истины или очарованием поэзии!

Одна только природа – природа единственная, величественная – мало изменилась в Сибири и с правдоподобностью переносила мое воображение в знаменитую эпоху завоевания полночного царства. «Может быть, об этот камень, – мечтал я, – ударялась также ладья Ермака, когда боролся он со стремнинами Чусовой; может быть, он сидел под этой лиственницей, на этом холме близ Тагила – полон дум великих?» И если мечты эти доставляли мне тогда особенное наслаждение, то теперь, когда я предпринял представить в живой картине покорение Сибири, они сделались для меня драгоценными, необходимыми. Таким образом, предания о князе Ситком, сражавшемся в рядах завоевателей Сибири под славным именем атамана Грозы; об усердии шамана к русским, немало содействовавшего Ермаку в покорении дикарей; о мстительности Мещеряка; об орле, упавшем к ногам завоевателя Сибири в минуту решимости храброй дружины на это великое дело; о любви Грозы к Велике; несколько местных сведений о Строгановых и Кучуме; предания о названии Орла-городка и тому подобное – подали мне

возможность выполнить мое предприятие если и несовершенно, то по крайней мере достаточно для того, чтобы извлечь из мрака великие характеры, которые вообще соединяя с доблестями и добродетелями слабости и недостатки человечества, бывают столь драгоценны для романиста и привлекательны для читателя!

Рассмотрев беспристрастно покорение Сибири казаками, найдешь его еще удивительнее, еще чудеснее завоевания Америки Пиззаром и Кортесом. Правда, огнестрельное оружие и устройство войска делали решительный перевес и на сторону казаков, которых дикие также сначала почитали за непобедимых и бессмертных. Но очарование это умягчалось по мере их приближения к столице Сибири, ибо, как известно, Кучум защищал ее пушками. Итак, убийственное действие и гром пороха не были главной причиной дивных побед Ермака, а главная причина оных заключалась в личных его доблестях и мужестве его сподвижников.

Сочту себя весьма счастливым, если успею здесь доказать то и другое на самом деле. Для

полноты же картины считаю нелишним при-
совокупить краткую выписку из «Истории...»
Карамзина касательно первых сведений рос-
сиян о Сибири.

«Сие неизмеримое пространство Северной
Азии, – говорит он, – огражденное Камен-
ным Поясом, Ледовитым морем, океаном Во-
сточным, цепью гор Алтайских и Саянских, –
отечество малолюдных племен монгольских,
татарских, чудских и американских, укрыва-
лось от любопытства древних космографов.
Там, на главной высоте земного шара, было,
как угадывал великий Линней, первобытное
убежище Ноева семейства после губительного,
всемирного наводнения; там воображение Ге-
родотовых современников искало грифов,
стерегущих золотое руно; но история не веда-
ла Сибири до нашествия гуннов, турок, мон-
голов на Европу; предки Аттилины скитались
на берегах Енисея; славный хан Дизавул при-
нимал Юстинианова сановника Земарха в до-
линах алтайских; послы Иннокентия IV и Свя-
того Людовика ехали к наследникам Чингис-
хановым мимо Байкала, и несчастный отец
Александра Невского падал ниц пред Гаюком

в окрестностях Амура. Как данники монголов, узнав в XIII веке юг Сибири, мы еще ранее как завоеватели узнали ее северо-запад, где смелые новгородцы уже в XI веке обогащались мехами драгоценными. В исходе XV столетия знамена Москвы развевались на снежном хребте Каменного Пояса, или древних гор Рифейских, и воеводы Иоанна III возгласили его великое имя на берегах Тавды, Иртыша, Оби, в пяти тысячах верстах от нашей столицы.

Уже сей монарх именовался в своем титуле *Югорским*, сын его – *Обдорским и Кондийским*, а внук – *Сибирским*, обложив данью сию монгольскую или татарскую державу, которая составила из древних улусов ишимских, тюменских или шабанских, известных нам с 1480 года и названных так, вероятно, по имени брата Батыева Шабана – единовластителя Северной Азии на восток от моря Аральского.

Но еще господство наше за Каменным Поясом было слабо и ненадежно. Кучум, овладев Сибирью, искал благоволения Иоаннова, когда еще опасался ее жителей, насильно обращаемых им в магометанскую веру, и ногаев –

друзей России. Но, утвердив власть свою над Тобольской ордой, перезвал к себе многих степных киргизов и, женив сына Алея на дочери ногайского князя Тин-Ахмата, уже не исполнял обязанностей нашего данника; тайно сносился с черемисой, возбуждал сей народ свирепый к бунту против государя московского и под смертной казнью запрещал остякам, югорцам, вогуличам платить древнюю дань России.

Царь Иоанн Васильевич, озабоченный важными, непрерывными войнами, не мог распространить ни власти своей над отдаленной Сибирью, ни наказать Кучума. Он уступил это, так сказать, Строгановым – богатейшим всельникам того края, позволив им строить крепости в земле Сибирской, чтобы стеснить Кучума в его собственных владениях и навсегда утвердить безопасность наших. В 1574 году он даровал им жалованную грамоту на землю неприятельскую».

Последствия доказали, с какой пользой и славою умный Строганов воспользовался сею царскою милостью, и вместе с тем заставляют решительно сказать, что без руководства

его и пособий предприимчивость и отважность Ермака, храбрость его дружины остались бы без успеха.

После сего трудно поверить, что в великом множестве разного рода бумаг, находящихся при конторах строгановских поместий и заведений, не отыскалось доселе никаких актов, касающихся похода Ермака, по которым бы можно было сделать свод сибирских летописей, приводящих противоречиями своими в недоумение не только историка, но и романиста, желающего основать свое повествование на истинах исторических. Не отыскалось актов, по которым бы можно было решить, которой верить из известных летописей: Строгановской, Есиновской или Ремезовской, различных между собой в самых главных показаниях. Так, например, по показаниям второй и последней (которым следовали Миллер и Фишер), Ермак привел к Строгановым дружину, простиравшуюся до 7 тысяч человек, а следуя первой, которой держался Карамзин, она не превышала восемьсот сорока человек. Столь же великая разница значитя во времени той эпохи. Последователи Тобольской ле-

тописи утверждают, что Ермак пришел к Строгановым в 1577 году, а Сибирская летопись означает 1579 год годом их пришествия. Первая говорит о двух походах казаков от Строгановых, а последняя об одном. Но как в тех, так и в других столько несообразностей с местными обстоятельствами, что должно было иметь большое терпение, чтобы извлечь истину, согласить разногласия. Возможно ли, например, чтобы Ермак, отправляясь на покорение Сибири, не узнал предварительно сего пути или чтобы Строгановы не дали ему сведущих провожатых, тем более что Сылва и Чусовая давно были ими изведаны и они имели даже селения на той и на другой? Подобная несообразность усматривается в Сибирской, или Строгановской, летописи, где сказано:

«В лето 34 (1582) сентября в первый день, на память преподобного отца нашего Симеона Столпника, посланы из городков своих Семен, Максим и Никита Строгановы в Сибирь на сибирского султана волжских атаманов и казаков Ермака Тимофеева с товарищи и проч., и того же сентября в 9-й день, на па-

мять Богоотца Иоакима и Анны, пришли воины в ту Сибирскую землю бесстрашно и многие татарские городки и улусы повоевали вниз по Туре, и дойдя до Тавды-реки в мужестве, и на устье той реки паймаше татар».

Стало быть, Ермак прошел более шестисот верст, поднявшись по Чусовой против ее течения, бурного и сильного, переправился через горный хребет, построил городок, взял многие татарские городки и селения в восемь дней! И это называется летописью исторической, и по этой летописи пишут слепо историю. Сама смерть Ермака представлена в них разнообразно, неудовлетворительно и оставляется на размышления и догадки, сообразные с местностью и обстоятельствами!

Автор сего романа старался по возможности пользоваться тем и другим и ласкает себя надеждой, что читатели, между прочим, найдут в нем удовлетворительное разрешение причин самых, по-видимому, чудных, несбыточных происшествий, равно как и бессмертных подвигов и неудач его героев.

Часть первая

Глава первая

Раздоры, главный город, или столица, Донских казаков в XVI столетии. – Царская опала на казаков. – Девичник у атамана Луковки. – Таинственный гость. – Неразгаданный удалец.

На низменном острове, образовавшемся из соединения Северного Донца с Доном, видно было несколько сот землянок, мазанок и изб, обнесенных частым высоким тыном со сторожками по углам. Это был в XVI столетии главный город, или войсковая станица, донских казаков, называемая *Раздорами*. Одно уже название Раздоры некоторым образом объясняет предмет основания столицы удалых наездников, и действительно, не красота месторасположения, не изобилие в продовольствии или какие другие выгоды заставили казаков предпочесть это место всем дру-

гим станицам. Нет! Одно соседство с азовцами, мужественными, дерзкими и неутомимыми их врагами, было приманкой для *отвагов* [1], стекавшихся отовсюду вкусить сладость войны непрерывной, немолкаемой, испытать прелесть опасности и осторожности днем и ночью, насладиться безропотным перенесением всех возможных недостатков, трудностей, ужасов и смертей... Раздоры, населенные столь отчаянными головами, служили стражей и оплотом не только для всей Донской области, но и для России со стороны самых хищных ее соседей: турок, крымцев, ногайцев и черкесов[2].

Вот причина, почему русские государи дорожили существованием донцев и не столь были строги и взыскательны к ним, сколько они заслуживали своими разбоями по Волге, которые немало препятствовали распространению восточной торговли, делавшейся час от часу выгоднее для государства, особенно после покорения Астрахани. Сколько раз казаки бдительностью своей предупреждали или останавливали опустошительные набеги диких варваров на Украину. Едва *прикорм-*

ленные люди[3] подают весть из Азова, что татары хлынули на Русь, – несколько сот или тысяч отважных наездников бросаются на переправы и броды, залегают в скрытых местах и, выждав врага, вымещают ему кровью за раны отечества, берут у него пленников и награбленные сокровища и надолго отнимают охоту к хищничеству! Или, едва пронесутся слухи, что султан собирает грозу на Москву, казаки выкапывают из песка свои лодки[4] и несутся в Аксак-Денглис[5] и далее в Понт-Евксинский; прорываются силой или обманом через железные цепи, протянутые в реке у сторожевых башен, нарочно выстроенных турками на Калаче и на мертвом Донце, и берут их корабли, каторги, кояги; собирают дань с Колхиды; палят и разоряют прибрежные города и селения и наводят ужас на сам Царьград. Порта отлагает удар, приготовленный ею на Русь, удерживает ногайцев и крымцев и шлет послов к Белому царю – да уймет казаков разорять Оттоманские области. Но буйные казаки редко внимали увещаниям и угрозам русских государей, и если по настоянию их мирились с азовцами, то для

того только, чтобы через несколько дней отослать к ним размирную грамоту[6] или врасплох напасть и разграбить послов султанских.

Таким образом вывело, наконец, из терпения царя Иоанна Васильевича разбитие казаками в 1577 году богатых бухарских караванов и кизылбашского гонца, ехавшего в Москву по важному делу. Он решился наказать виновных, но, не желая еще истреблять или ослаблять их, требовал только голов атаманов, участвовавших в сем разбое: Ермака, Кольца, Грозы и Матвея Мещеряка. Казаки просили помилования, клялись, что перестанут буйствовать, своевольничать, и обещались выдать все награбленное у персиян имущество, лишь бы прощены были их храбрые атаманы. С такою-то повинною отправили в Москву атамана Бритоусова и, хотя казаки надеялись, по обыкновению, получить прощение, дабы снова изменить, но слухи о великой на них опале Грозного и ужасы бедствий Новгорода, провинившегося перед царем, распространяли в Раздорах неведомые доселе страх и трепет.

Несмотря на то, перед домом старшего атамана Луковки, отличавшимся от прочих обширностью двора, обнесенного тростниковым забором, и огромностью тесового крыльца, называемого галереей, весело толпился народ и жужжал, как пчелы перед ульем. Все они от мала до велика спешили туда взглянуть и подивиться на богатые стоворы дочери атаманской. Обряды свадебные, самые простые и бедные, были новостью для жителей Раздоров, ибо казаки еще большей частью избирали жен по старинному обычаю на Майдане[7], тем естественнее богатство, спесь и страсть атамана Луковки к подражанию московским обычаям возбуждали всеобщее любопытство. В этот вечер отправлялся у него девичник.

Тогда как на рундуке молодые казаки плясали журавля под громкие песни и тихие звуки гребешка и варгана, жених с невестою, причетом и зваными гостями сидели в красной избе и готовились приняться за сытный ужин, который если не по изяществу яств, то по изобилию их и изобретательности заслуживает быть описанным с некоторой подроб-

НОСТЬЮ.

На длинном дубовом столе, накрытом чистой скатертью, стояли в переднем конце несколько серебряных ковшей и вызолоченная чара с царским орлом, а на заднем – оловянные кружки с медами и огромная медная ендова с пивом. Между ними расставлены были в деревянных ставцах и на шаях следующие блюда: в первом месте большой пшеничный круглик[8] с рубленным мясом и холодное – студень, сек[9], лизни[10], приправленные огурцами, копченый лебедь и соленый журавль. Когда блюда эти были опорожнены или обнесены проворной ясыркой из турчанок, то места их заменили разные горячие: жирные щи, похлебка из курицы с пшеном и изюмом, морква[11], борщ, лапша, дульма[12]; потом следовали жаренья: гуси, шурубарки[13], поросенок с начинкой, ягненок с чесноком, часть дикой козы, драхва и кулики, а вместо пирожных подавали блинцы, лапшевник и в заключение *уре-кашу* – просо, приправленное сузьмою, то есть кислым молоком.

Внутренность светлицы представляла

также соединение богатства с самой грубой простотой: на тесовых скамьях набросаны были парчовые подушки и узорчатые персидские ковры. Передний угол посвящен был божнице: здесь на двух полках, сколоченных кое-как из сосновых досок, блистало от сияния лампы несколько образов в серебряных окладах и жемчужных убрусах, украшенных сверх того свежими полевыми цветами; под образами лежало множество караваев, принесенных гостями жениха. По голым стенам развешано было дорогое оружие и конская сбруя всех соседних народов: вот под ногайское или черкесское седло подложена крымская или турецкая попона; там русская пицаль, рог и вязни обнимались с персидской саблей; в углу булатный нож и драгоценный турецкий сайдак держались на заржавленном гвозде с грубой украинской рогатиной; так что сие смешение, доказывая звание и достояние хозяина, представлялось как бы в искусственном беспорядке.

Не пора ли после сего познакомить читателя с лицами, присутствовавшими на празднике у атамана Луковки. Начнем с него само-

го: представьте себе старика с белою как лунь головой и серебряной бородой, с румяными щеками, широкоплечего, бодрого, веселого, и будете иметь верное изображение Луковки. На нем была шелковая рубаша, подпоясанная шелковым же поясом. По правую руку его сидел жених. Сей последний был одет по-казацки самым щегольским образом, по тогдашнему обычаю: на нем был атласный кафтан с частыми серебряными нашивками; за шелковым турецким кушаком заткнут был булатный нож с черенком рыбьего зуба, а на ногах – красные сафьянные сапоги. Но, несмотря на полный казацкий наряд, с первого взгляда можно было угадать, что этот молодой человек был чужд сему обществу, что он вскормлен не на берегах тихого Дона. Его серые глаза, хотя беглые, не блистали огнем, который отличает обитателей Дона от всех других племен, составляющих обширное Русское царство, который служит казаку вывеской необыкновенной сметливости, предприимчивости, быстроты. Нет! Эти усы и кудри, красные как огонь, эта русая мягкая борода на белом лице, не принадлежат донцу, с малолет-

ства подвергающемуся влиянию стихий, ветра и солнца. Этот взгляд исподлобья не сроден казаку, имеющему чело открытое, светлое. И точно, атаман Луковка называл молодого зятя своего князем Ситским, за которого, говорил он, просватал дочь свою Велику, бывши тому два года назад в Москве. И прекрасная Велика сидела возле жениха своего в самом богатом наряде: парчовый кубылек и бархатный танк с куньим околышем, из-под коего висели дорогие жемчужные чикилики; но блестящий наряд совершенно противоречил унылому виду красавицы. Алые щеки ее покрыты были смертной бледностью, а черные глаза, горевшие до того как полуночные звезды, зарделись вокруг и редко, редко выказывались из-под длинных ресниц. Все приписывали сию перемену девичьей стыдливости или горести невесты, покидающей дом родителей, расстающейся с удовольствиями юности. Но нет! Эта унылость открывала муку душевную, была вывеской сердца растерзанного. В продолжение всего праздника не выкатилась из очей Велики ни одна капля слезы отрадной, ни одна улыбка не оживила пре-

лестных уст ее: она походила скорее на жертву, обреченную на смерть, чем на невесту, обреченную жениху.

И страдания Велики понимал только один мужчина средних лет, величавой, благородной наружности, несмотря на его небрежный, воинственный наряд и неизменяющуюся угрюмость, противоречившие совершенно щеголеватости и разгульной веселости прочих гостей. Всякий раз, как незнакомец бросал на невесту или жениха свои дикие взгляды, густые брови его хмурились пуще вершины Казбека при дуновении индийского бурана, широкое чело его бороздилось морщинами, словно море Хвалынское черною зыбью – предтечей ужасной бури. Ни одна также улыбка не сорвалась с полумертвых уст его, закутанных в черную окладистую бороду; жилистая рука, казалось, срослась с его саблей, висевшей на ременном шебалшаше вместе с серебряным рогом для пороха, стальным мусатом[14] и сафьянным гаманом для пуль. Короткая черкесская епанча смурого цвета, ничем не отсвеченная, придавала еще более суровости его бледному лицу, на котором, слов-

но в зеркале, отражалась буря мрачных, глубоких дум и душевных страданий. Незнакомец, наблюдая умеренность в речах, был еще умереннее в пище и питье. Он едва прихлебывал из кругового бокала и даже не выпил до половины золотой чары, когда атаман Луковка провозгласил священные для всех казаков тосты: *Здравствуй, царь государь в белокаменной Москве, а мы, донские казаки, на тихом Дону, и здравствуй, Войско Донское сверху донизу и снизу доверху!* При сем всякий казак обязан был опорожнить до капли поднесенную ему посудину, если ковш, то обернуть его на ноздь, а ендову надеть себе на голову – в свидетельство, что выпил досуха. Всего удивительнее казалось то, что его к тому не принуждали ни хозяин, ни словоохотливый сват, заведовавший питейной частью. В доказательство же, что причиной сего было не невнимание или неуважение их к незнакомцу, сей последний занимал одно из почетнейших мест по левую сторону хозяина, и как тот, так и другой относились к нему с речью.

В числе прочих гостей, пестревших в персидских, турецких и русских платьях, заслу-

живал внимания досужий сват со стороны жениха, Матвей Мещеряк, одетый в лазоревый, настрафильный зипун[15], хотя рожа его, покрытая рябинами, словно сеткой, не согласовалась со столь пышным нарядом, и черноокие чиберки[16], разряженные в алые и малиновые кубылеки, в голубых с белыми или алых с зелеными каймами персидских платках. Они не принимали участия ни в ужине, ни в разговорах и, сидя на лавках вокруг светлицы, прилежно занимались рукоделием: одни шили свадебный кубылек, другие строчили ожерелок кривым танком, бурсачками и разводами. Изредка только перешептывались между собою или заглядывали украдкой в полурастворенную дверь на рундук, где плясала и веселилась удалая молодежь; а иногда, наволакивая подушки, припевали заунывные песни.

Под конец ужина, когда невеста по приказанию отца сама поднесла незнакомцу серебряный ковш с искрившимся *сарибалом*[17], и он, по обыкновению, отведав его, поморщился и подал назад прекрасной подносице, то хитрый и осторожный сват, потеряв, вероят-

но, терпение от действия крепких медов, сказал:

– На все ты, Кошевой, у нас молодец, а не знаешь только, как подслащивать горечь медовую?

– Знал, приятель, знал, – отвечал он со вздохом, – но кто вместо сласти испил пущую горечь, тот станет подслащивать свою жизнь только одною саблею.

– Я давно заметил, – подхватил с громким смехом Луковка, – что Кошевой лучше любит пересылаться с турками и татарами свинцовыми пулями, чем с красными девушками сладкими поцелуями.

– Отгадал, атаман, – сказал незнакомец с дикой улыбкой, – от свинцовой бабы хоть и угоришь, да не одуреешь!

– Не ровен поцелуй, – заметил Мещеряк со смехом, – от иного женишься вместо ясырки черноокой на Паше хромоногом.

– Казаку честнее быть в плену у бусурманина, чем у бабы, – отвечал с суровостью угрюмый Кошевой.

– Да давно ли, товарищ, разлюбил ты наших жен и девок? – спросил Луковка. – Сколь-

ко лет как ты каждый день нянчился с моими ребятишками и Велике на зубок подарил тарскую позинку?

– С тех пор, – отвечал незнакомец с неожиданной живостью, – как казаки стали держаться московских обычаев, стали жениться не как наши предки по любви и согласию на Майдане, стали отдавать дочерей за богатство и за и... – Тут он остановился, взглянув с участием на Велику.

Разговор сей прервался шумным приходом казака в косматой бурке и в медвежьей шапке на голове. Он был небольшого роста, но высокая грудь и широкие плечи показывали в нем атлета. Поставив у порога длинный чекан свой и фузею, пришелец помолился святым иконам и поклонился низко на все четыре стороны всем, начиная с хозяина, который, хотя по-видимому, более удивился, чем обрадовался новоприбывшему гостю, но встретил его обыкновенным казацким приветствием:

– Добро пожаловать атаман-молодец! Скоро же вернулся с гульбы[18], а кажись, на Медведицу отправилась с вами не одна коша [19]. Да подобру ли, поздорову ли?

– Слава богу, – отвечал пришелец, – больших трудов не было, прогулялись только до Черного Ерика, а далее дожди помешали.

– Давно ли атаман Кольцо стал бояться воды небесной? – спросил сурово незнакомец.

– Кажись, он не размокал прежде и от морской?

– Да тетива-то размокает, а с фузеи все вспышки да вспышки. У нас три недели дождь ливнем лил. Этаким весны за Камой не слыхивали, да и лета жди грозного.

На последнее слово Кольцо сделал ударение нарочно, чтобы обратить на себя взоры незнакомца, который прочел, казалось, в глазах его что-то мрачное и зловещее и невольно содрогнулся.

– Да поживились ли вы хоть чем-нибудь? – спросил Луковка.

– Не стоит и говорить, на брата досталось по два волка да по лисице, и если б камышники[20] не поймали в капкан кабана, то пришлось бы кормиться зайчиною[21].

– У меня слюнки текут, как говорят про кабанятину, – сказал с насмешкой Мещеряк. – Отведал бы право хоть кусочек этого лакомо-

го блюда.

– Некогда будет, – возразил Кольцо, и взор его встретился снова со взором незнакомца, и тот снова прочел в нем что-то необыкновенное.

– От чего некогда? – спросил Луковка.

– Когда же? Чай долго прображничаете и после свадьбы, а там, слышно, женится есаул Брызга на черкешенке, что живет у старшины Кушмацкого в домоводках. У него так же пойдут пиры, а там...

– Полно скупиться-то, товарищ, – сказал, улыбаясь, Луковка, – свари-ка добрую варю косатчатого[22], да и позови на вепря.

– Не для чего мне скупиться, атаман, – отвечал Кольцо, – я не коплю себе собины, у меня все общее с односумами[23].

Луковка нахмурился.

– Посторонитесь, посторонитесь, – раздалось на рундуке. Дверь, как ветром, распахнулась настезь, и в нее влетел казак с лицом, наглухо завязанным платком. Девушки ахнули, мужчины подались в сторону, а бледные щеки невесты вспыхнули румянцем, как заря закатывающегося солнца. Удалец, не говоря

ни слова, не сделав никому поклона, с при- свистками пошел казачка. Проворны и вме- сте с тем благородны были его телодвижения. Он то вихрем носился по светлице, расстила- ясь на каблуках; то, величественно подпер- шись левой рукой, причем гибкий стан его, опоясанный алым шелковым кушаком, изги- бался как тростинка камышовая, бил дробь обеими ногами и в меру пристукивал сафьян- ными каблуками; то, поднимаясь с удиви- тельной легкостью вверх, опускался на ост- рые носки. Во всех его прыжках видна была чрезвычайная сила, искусство и огонь юно- шества, а шапка из черных как смоль сму- шек, сдвинутая набекрень, выказывала русые кудри, завитые бесчисленными кольцами ру- кой природы.

– Диво! Удалец! – кричали старики и вооб- ще все гости, любуясь на живописную пляску казака.

– Должен быть хорош, – шептали девуш- ки.

И все старались узнать, кто был этот уда- лец. Даже угрюмый незнакомец, показывав- ший доселе равнодушное презрение к свадеб-

ным забавам, любопытствовал узнать о нем, но никто не мог отгадать. Ах! Ему стоило только взглянуть на невесту, чтобы увидеть, что таинственный удалец отгадан, что состояние бедной Велики было самое жалкое, страдательное: она ежеминутно боялась изменить себе, ибо сердце ее с первого взгляда открыло в нем своего любезного. Да и кто другой в состоянии подражать ему, кто другой мог быть столь ловок, мил и прекрасен?

Может быть, не почувствовал ли и сам жених некоторой ревности, только ему крайне хотелось узнать своего соперника, и он предлагал силой или обманом снять с него повязку. Но ему сказали, что этого на Дону не водится, что никто не имеет права употреблять насилия, если незнакомец хочет остаться неузнанным, и удалой весельчак, не говоря ни слова, с присвистками исчез в той же двери, в которую влетел прежде.

– Ай да хват! – сказал старик Луковка, смотря вслед казаку. – Настоящий донец!

– Ударюсь об заклад, что и на гульбе и на войне этот удалец – первый сорвиголова, – прибавил незнакомец. – Странно, что его ни-

кто не узнал?

Тут взор его встретился со взором Велики, и он увидел, что ошибся.

Между тем гости стали собираться идти в дом жениха, а вместе с ними и родственники невесты.

Женщины входили в светлицу с приданным, припевая:

*Сестрицы подружки,
Несите подушки,
Берите перины
Сестры Катерины... —*

и отправлялись вперед. Несколько раз жених должен был с дороги ворочаться, чтобы целовать грустную Велику. Веселые чиберки кричали ему вслед, чтоб он воротился, что ушел – не простился.

У крыльца Луковка и прочие старшины хватились незнакомца, желая, вероятно, дать ему почетное место, но его уже не было: в суматохе он исчез вместе с атаманом Кольцом.

Глава вторая

Опричники увлекают митрополита Филиппа из обители Святого Николая Старого. – Негодование и скорбь народа. – Опала на родственников и друзей святителя. – Атаман Луковка пирует у князя Ситского. – Заочная помолвка. – Заточение Ситского в Соловки.

Прежде чем станем продолжать повествование происшествий на берегах тихого Дона, считаем нелишним перенести внимание своих читателей в Москву белокаменную и, для связи хоть вкратце, упомянуть о происшествии, случившемся за несколько лет до эпохи, нами описываемой.

В одну из самых мрачных и ненастных ночей, какие только бывают в начале ноября месяца, когда в столице царства Русского все спало сном крепким, непробудным, в тесной келье монастыря Святого Николая Старого, перед иконой Богоматери теплилась неугасимая лампада и бросала бледные лучи свои на

величественное чело труженика в черной власянице, стоявшего перед ней на коленях и читавшего нараспев дрожащим голосом псалом Давидов: «Господи, прибежище был еси нам». Крупные слезы капали на седины его, несмотря на это, совершенное спокойствие и небесное умиление разливались по благообразному лицу его. Как будто для противоположности, стояли в узких дверях кельи двое мужчин, коих можно было принять за иноков по их черным длинным рясам, если б изпод сего смиренного одеяния не выказывались парчовые кафтаны с собольей опушью, а на головах их вместо монашеских каптырей не открывались остроконечные шлыки. Наконец, зверские лица обличали в них злейших опричников царских, присланных в святую обитель за митрополитом Филиппом, дабы влачить его в Отрочь-монастырь, далее от любви народной и ближе к мести Иоанна, которого святой муж дерзнул упрекать в лютости.

Судя по продолжительному терпению, с каким ожидали опричники окончания молитвы святителя, можно было подумать, что

добродетель имеет силу и над ожесточенными сердцами закоснелых злодеев. Более часу они оставляли его в покое, между тем на востоке начала занимать заря.

– Князь Темкин, – сказал один из сих опричников, – не пора ли разбудить старика, уж не морочит ли он нас?

– Статочное ли дело, – отвечал другой с улыбкой, – дадим ему еще потешиться напоследышек. Мне, право, забавно смотреть, как он умильно глядит в эту толстую книгу, словно ты в золотую стопку батюшки царя!

– Шутки в сторону: народ стал подходить толпами к монастырю. Слышишь, как воркует?

– Пусть воркует, доколе не разгонять его метлами[24].

– Людей-то я не боюсь. По милости премилосердного батюшки царя нашего они разбегутся пуще зайцев при виде одного нашего брата с собачьей головой[25], да, вишь, черт-то не свой брат!

– Какой черт тебе грезится? – спросил с усмешкой Темкин.

– Коли подумаешь хорошенько, то согла-

сишься, что и нас старичишка приковал к своей притолоке чем-нибудь другим, а не молитвой.

– У страха глаза велики. Чай и псалтырь-то, в которую он уткнул глаза, тебе кажется черной книжицей с кровавыми каракулями?

– Смейся, князь, смейся, а псалтырь-то не укротила бы голодного медведя, которому царь пожаловал было на ужин этого чернокнижника на прошлой неделе[26], инда сам сдивовался.

В эту минуту слышались рыдания на монастырском дворе.

– Слышишь ли, Темкин? – сказал с угрозой первый опричник. – Если б одному тебе отвечать за колодника, я бы, пожалуй, оставил тебя любоваться им хоть целые сутки, а то и мне быть без головы, коли что случится.

– Правда твоя, Грязной, правда, пора, очень пора, – отвечал князь и, как будто пробудясь ото сна, вскричал: – Чернец, да будет ли конец твоей молитве? Собирайся или берегись...

– Приговор второго Ирода, – раздалось из отверстия, служившего вместо окошка.

Опричники кинулись к окну, а Филипп смиренно отвечал:

– Я готов. – И вышел с ними из кельи.

Ни угрозы क्रомешников, ни самые ужасные побои не сильны были удержать народа, теснившегося вокруг святителя для испрошения у него благословения. Уже он садился на приготовленные для него дровни, как пробился сквозь толпу человек лет пятидесяти и пал к нему в ноги. Золотая цепь на груди показывала его высокое достоинство, так что самые жестокие стражи не смели не допустить его до своего пленника. Святитель затрепетал, увидя его, и, подняв глаза к небу, как бы для прочтения судеб, осенил его крестным знаменем, и произнес тихим голосом: *«Мы скоро увидимся!»*

– Боярин Ситский, – сказал с адским хохотом Василий Грязной, – не пришел ли ты дать поручения брату Калугеру к отцу Вельзевулу?

– Зачем перебивать дорогу у вас, достойнейших чад тьмы क्रомешной! – отвечал Ситский с презрением.

Опричники переглянулись между собой,

узнав в голосе боярина тот самый, который дерзнул сравнивать Иоанна с гонителем Спасителя. Подозрение их увеличилось еще более, когда народ, как будто ободренный укоризной боярина, сделался с ними смелее и угрожал вырвать из рук их жертву. Может быть, это и случилось бы, несмотря на увещания Филиппа отважных своих читателей — смириться, повиноваться воле государя и молиться, если б стражи не решились на самый отчаянный поступок. Князь Темкин вырвал вожжи у возницы, а Грязной, вскочив в сани к митрополиту, обнажил свою саблю и клялся изрубить его при насилии с ними. Между тем борзый конь, понукаемый непрерывно Темкиным, рвался вперед, давил дерзновенных, покушавшихся преградить дорогу, и при первой свободе понесся во всю прыть так, что народ, долго бежавший еще за святителем, хватаясь за повозку его, наконец потерял его из виду.

Не только сего происшествия, не только слов Ситского и благословения Филиппа, достаточно было быть родственником или почитателем его, чтобы попасть под опалу, ко-

горя готовилась Иоанном для всех бояр, бывших с ним или с родом Колычевых в какой-либо связи.

Вскоре после этого атаман Луковка, удостоившись со всей легкой станицей[27] узреть светлые очи Грозного и получив серебряный ковш, а для прочих дорогие подарки из соборей, сукна, камки, тафты и прочего, собирался отправиться восвояси – с царским жалованным словом и похвалой всему великому Донскому Войску.

Накануне своего отъезда он пировал на прощальном пиру у князя Ситского, с которым читатель недавно познакомился и который заведовал Казацким приказом. Когда старики остались одни, как говорилось, побеседовать за ендовой романей, то разговор сделался живее и чистосердечнее. Атаман Луковка, хвалясь привольем житья на тихом Дону, между прочим описал свободу, которой пользуются все на его родине.

– Храброго молодца, – сказал он, – который пристанет к великому Донскому Войску, не спрашивают, кто он, откуда, а говорят только: будь честен и верен. И если он свято

исполняет наши обычаи, то на Дону не достанет его ни железный костыль, ни острый топор вашего Грозного.

Речь эта сделала большое впечатление на ум князя Ситского, и он тогда же составил план для спасения своего единственного сына от опалы, которую ждал ежеминутно на свое семейство, несмотря, что был в родстве с любимцем Иоанновым Борисом Годуновым, сильнейшем тогда вельможей при дворе царском. Короче сказать, отцы тут же помолвили детей своих заочно, хотя величайшие расстояния разделяли их между собой, ибо молодой Ситский, князь Владимир, снедаемый любопытством и горя мужеством, взялся охотно вести в великую Пермь небольшую дружину, которую Иоанн отправил к Строгановым, в помощь против мятежного царя сибирского, не хотевшего более платить ему древнюю дань. Самолюбивый Луковка хотел удивить Дон, выдав дочь свою, прекрасную Велику, за сына знаменитого и богатого боярина московского, а может быть, имел и другие честолюбивые виды, приобретя столь сильное родство при дворе царском. Старики ударили по

рукам и поклялись перед иконой Спасителя не отступить от своего условия ни под каким видом, ни для каких причин. Ситский должен был послать тотчас же ходока к сыну с приказом немедленно вернуться в Москву, а отсюда уже отправить его на Дон к атаману Луковке, с грамотой за его родовой печатью, воскояровый слепок которой тогда же был вручен будущему свату; а Луковка обещался дожидаться жениха три года.

Чего страшился Ситский, то и случилось. Казалось, Иоанн безмолвствовал некоторое время после изгнания митрополита Филиппа, дабы изобрести новые наслаждения для своей свирепости. Дотоле губил людей, оттоле – целые города[28]; Годунову стоило большого труда переменить казнь его на вечное заключение в Соловки. Старого князя оковали в железо и отправили туда под надзором его доносчика, опричного Грязного, о котором читатель легко вспомнит. Переправляясь через Белое море, они были застигнуты ужасной бурей, и утлое судно их опрокинулось у самых берегов обители. Боярин погиб от тяжести цепей, а опричник возвратился в Москву с но-

вым доносом, что молодой Ситский скрывается на Дону. Он открыл это из письма старого князя, приготовленного для Владимира к будущему тестю, которое он вынул у него из кармана, или лучше сказать, отнял с великим множеством драгоценностей, взятых с собой злополучным отцом для передачи своему сыну.

Царь, узнав о смерти Ситского, некогда им любимого и уважаемого вельможи, сказал: «Собаке – собачья смерть», – и отобрал у опричника все его сокровища, обещался при первом случае вознаградить его за верность. И действительно, когда получено было от Строганова донесение, что князь Владимир Ситский внезапно скрылся, то он отправил его гонцом в Азов через Раздоры, приказав захватить в этом городе молодого Ситского, за что обещал осыпать его своими царскими милостями.

Глава третья

*Страшная ночь на кладбище. – Велика у
Смогилы своей матери. – Встреча лю-
бовников. – Совет Ермака с Кольцом. – Са-
мозванец открыт.*

В первой главе мы видели, как кончился стовор дочери атамана Луковки за московского боярина.

К ночи от скопившихся в воздухе паров после жаркого весеннего дня на горизонте собрались черные тучи и неслись с моря прямо к Раздорам. Скоро закипел тихий Дон, засверкали молнии. Плески волн с шумом разбивались о ракитовый тын, которым обнесено было кладбище, находившееся на мысе, или оконечности острова, а резкий ветер, скользя по длинным ветвям древних ив, колебавшихся над белыми крестами голубцев[29], срывал с них резкий свист. Надобно было обладать величайшим бесстрашием, чтобы решиться приблизиться, а тем более оставаться долгое время в сей ужасной юдоли смерти. Но вот

уже несколько часов, как, прислонясь к одной из развесистых ив, в задумчивости стоял молодой казак. Поникшая голова и колебавшаяся грудь показывали глубокую печаль его. Сильно ревел ветер вокруг него, но он прислушивался к какому-то тихому шороху; темна была ночь, но глаза его искали что-то вдалеке. «Нет! – говорил он сам с собой. – Во что бы то ни стало, что бы ни приключилось после, а мне должно ее увидеть, должно ей открыть свою душу. Простою всю ночь, не выйду отсюда и завтра до полудня, а ее дождусь. Я знаю Велику: она не побоится никакого ненастья, разве устрашится принести клятву, противную сердцу?..» Он остановился: две бледные тени мелькнули при входе в голубец. Казак напрягает все свое внимание, и верное ухо его сквозь рев бури, сквозь плеск валов слышит каждое слово, произнесенное ими, отгадывает малейший их шепот.

– Войди, Фатима, не бойся, – сказал приятный голос. И казак, не выдержав своего восхищения, воскликнул: «Так это она, это Велика!»

– Как не бояться, – отвечал другой, хрипло-

ватый, старой ясырки из турчанок, с которой пришла сюда атаманская дочь выполнить обычай своих предков, поклониться их тихим могилам накануне своей свадьбы. – Пришла же тебе охота идти в полночь и в такую грозу на голубец, – продолжала она.

– Ты сама видела, что прежде мне нельзя было урваться, – отвечала Велика. – Ведь только что пришли от жениха.

– Зачем же не отложила до завтра?

– Затем, что нельзя. На Дону такой обычай, чтобы тотчас же с девичника идти на голубец.

– Хорош обычай морить со страху. Довольно того, что и от постов ваших по средам и пятницам еле жива шатаюсь. Уф! Не свежая ли это могила видится прямо, и правоверный, может, не допрошен еще Монкаром и Накаром[30]?

– Коли ты впрямь боишься идти на кладбище, то подожди меня здесь, я скоро ворочусь.

– И с этими словами Велика оставила свою подругу.

Влюбленный казак несколько раз порывался лететь навстречу своей любезной, но он

ожидал, пока она удалится более от своей провожатой, или невольный страх его удерживал. Между тем Велика подошла к голубцу своей матери и бросилась на него, самым умильным голосом испрашивала помощи ее к перенесению своего злосчастья и ниспослания ей сил для выполнения воли отца неумолимого, забыть того, которого она не должна уже любить более...

– Нет! Ты должна любить его, он достоин любви твоей, – раздался голос, и Велика при блеске молнии, которая осветила окрестности как будто тихим, радостным лучом надежды, увидела перед собой казака. Первым движением ее был испуг, но когда она узнала в нем Грозу, тотчас пришла в себя и с необыкновенным присутствием духа и достоинством произнесла:

– Владимир, или тебе любо увеличивать мои страдания?

– Жестокая, – отвечал казак, – как ты могла это сказать и подумать: я пришел избавить тебя от напасти, я пришел спасти тебя.

– Что ты хочешь сказать?

– То, что нареченный твой жених есть об-

манщик, плут, а не князь Ситский, за которого он выдает себя.

– Возможно ли? Но он привез батюшке грамоту от отца своего!

– Говорю тебе, что все это подлог. Я спешил день и ночь с Камы, как прослышал, что у нас в Раздорах появился Ситский и что тебя за него уже просватали. Вчера я нарочно приходил к вам на девичник с завязанным лицом, чтобы меня не узнали...

– Я тебя узнала с первого взгляда.

– Но никому не сказывала?

– Нет!

– И хорошо сделала. Прежде чем я открою твоему отцу об этом мошеннике, я хотел тебя увидеть, хотел узнать, точно ли ты меня любишь?

– Ах, Владимир, к чему теперь это признание, уже поздно.

– Нет, не поздно! Коли ты меня любишь в половину того, как я тебя, клянусь нашей любовью и моей саблей, что разрушу вашу свадьбу, истребую твою руку.

– Поди, поди поскорее к батюшке.

– Милая Велика! В залог, что ты говоришь

правду, поцелуй меня.

– Чего ты требуешь, Владимир, вспомни, что я невеста другого.

Но Владимир держал уже руку прелестной Велики, уже она ощущала трепетание его сердца, которое, как электричество, пробегает по всем фибрам влюбленных, уже она была не властна владеть собой, и жаркий поцелуй запечатлел первое признание в любви невинной девы. Владимир хотел что-то говорить, хотел, может быть, повторить право счастливец, но послышавшийся невдалеке шелест шагов заставил его скрыться в ближайшую чащу деревьев, а Велика возвратилась к своей провожатой.

И действительно, к тому месту, где были наши влюбленные, приближались два человека сурового вида. Они были в жарком разговоре.

– Послушай, Ермак Тимофеевич, – говорил один, в котором, несмотря на темноту, Гроза легко узнал атамана Кольцо, а в другом, к которому сей последний обращал речь свою, того угрюмого незнакомца, которого мы видели на празднике Луковки столь молчаливым и

задумчивым. – Послушай меня, право, я говорю дело. Поверь мне, что московское войско идет не на Азов, а на Раздоры.

– Этому мудрено поверить, любезный Кольцо, – отвечал Ермак. – Для какой корысти Белому царю нас разорять? Нет! Верно, тебя обманули.

– Уверяю, что я собственными ушами подслушал разговор двух старшин русских; они утверждали, что воеводе Мурашкину, который ведет рать, велено настоятельно требовать выдачи опального князя Ситского, который укрывается будто на Дону, и головы четырех атаманов: нас с тобой, Грозы да Мещеряка, которые участвовали в разбитии казылбашского посла, иначе разорить Раздоры.

– Двум смертям не бывать, одной не миновать... А что слышно о Бритоусове? – спросил Ермак, подумавши.

– Ничего не слыхал.

– Видно, посланец наш не добился до боярина Годунова с моей грамотой, иначе советник царский верно бы отсоветовал Думе презирать честным словом, клятвами атамана Ермака! Я ручался за донцов своей головой,

что впредь ни посланцы, ни торгошаи, проезжающие через наши области, не будут разоряемы ими – и сдержал бы обет свой: казаки послушались бы меня. Три года просил на испытание... – Успокоясь немного, он продолжал: – Знаешь ли, Кольцо, мне сдается, что тот молодец, которого Луковка выдает за Ситского, есть самозванец, переметчик, подсланный к нам из Москвы.

– Но Луковка говорит, что он представил ему все доказательства, условленные между ними со старым Ситским.

– Да! Грамоту под условленной печатью. А разве он не мог снять перстень с руки убитого боярина? Воля твоя, а в этом обманщике нет ничего боярского, он смотрит исподлобья... Слышно, что то и дело понукает старика Луковку крутить поскорее свадьбу. И это недаром.

– По крайней мере, за этого Ситского казаки не постоят, выдадут голову; а над нами авось батюшка царь взмилуется, простит нас.

– Нет, Кольцо! Московцы не нам чета, не обманутся в нем, они не примут его за опального боярина, а потребуют настоящего: его же

всем нам будет жаль...

– Что ты хочешь сказать, Ермак Тимофеевич?

– То, что я подозреваю Грозу.

– Быть этому нельзя, он настоящий казак.

Многие в станице помнят его отца, на которого он, говорят, похож как две капли воды лицом и удальством.

– Правда, он славно представляет донца не только с саблей в руках, но и с варганом в зубах. Правда, он еще недавно с нами, но на последней сшибке действовал и головой, как опытный атаман; но взглядишь в него поприлежнее, поговори с ним без свидетелей – и заметишь в поступках его и речах много отличного от нашего брата казака. Даром, что он молод, а лучше старика ведает бусурманское царство, расскажет тебе, что творится за морем, на краю света; священные же книги знает, кажись, наизусть, да и сам говорит как по книге.

– Из этого нельзя еще заключить, что он – князь Ситский. Грамоте священной и всякой мудрости он мог научиться в Черкасске у попа московского, который бежал туда после

опалы митрополита и, говорят, был очень книжен.

– Конечно, да я подслушал Грозу два раза: однажды он проговорился в молитве, прося Господа о помиловании души отца своего, павшего от гнева Грозного; в другой раз, во сне, бредил московским двором, своими родными, ближними...

– Удивительно, если б ты не надоумил меня, то мне никогда не пришло бы в голову подозревать его. Жаль, что Грозы нет теперь здесь. Посмотрели бы, что сделал бы он со своим самозванцем?

– И в этом ты ошибаешься. Я голову заложу, что давешний молодец, который орлом влетел в светлицу с завязанными глазами, был никто другой, как Гроза.

– Невозможно, да он пошел от нас на гульбу со своей кошей далее за Каму.

– Еще скажу тебе мудрее. Он любит дочь атамана Луковки, и любим ею взаимно... Надобно спасти их, не теряя времени, а о прочем потолкуем завтра в станичной избе: утро вечера мудренее. Покамест сходи к Луковке, и если он еще ничего не ведает про обман, то

позови его сюда: я буду дожидаться вас здесь до свету.

Ермак сел на ближайший голубец и погрузился в самую глубокую думу. Он то изобретал способы пособить Грозе, то изыскивал средства отклонить от Раздор грозу Грозного.

– Жаль бедняка, – проговорил он сам с собой, – от всякой беды можно еще укрыться, есть надежда избежать ее, всякую напасть можно перенести, но потеря любезной, но измена ничем не искупаются, никогда не забываются. Как ржа булат съедают они ретивое.

– Тут он тяжело вздохнул: – Что слава, богатство и сами почести, когда беспокойно вот тут, под этой зыбучей броней. Злодей, соблазнитель! Зачем разрушил мое счастье на века, зачем ввел меня в преступление, которое напрасно я оплакиваю более десяти лет, напрасно хочу смыть невинную кровь в пылу кровопролитий и опасностей, напрасно ищу смерти! Ах! Зачем Мещеряк открыл мне глаза? Лучше бы не знать, не ведать своего позора: я был бы счастлив своим заблуждением, я любил бы и считал себя любимым... Нет! Он поступил как лучший друг мой, он снял с меня

оковы, недостойные казака, постыдные для человека... Он мой благодетель! Я теперь свободен, как птица поднебесная, я не пресмыкаюсь более у одного слабого, ничтожного творения. Одна слава питает эту душу: но если рука моя поразила сердце, бившееся постоянством, если в упоении ревности я поверил наветам злодея... Боже! Скоро ли сия мысль перестанет меня преследовать?.. – Он остановился, но, подумав немного, продолжал: – Так! Во что бы то ни стало, а составлю благополучие Грозы, испытаю, может ли счастье другого коснуться моего ретивого? Если жадный Луковка потребует богатства, то отдам Владимиру все, что ни имею. На что мне драгоценные зипуны, штофы, атласы, золотая и серебряная сбруя, когда они не утешают меня, когда могут составить блаженство храброго товарища?

Едва он вымолвил слова эти, как почувствовал себя в объятиях человека, крепко его сжавшего. Гроза не мог долее выдерживать чувство своей благодарности, не мог долее сомневаться в искреннем к себе участии Ермака. Он кинулся к нему на шею, восклицая:

– Ты не ошибся, Ермак Тимофеевич, ты благодетельствуешь благодарного.

– Как я рад, – отвечал Ермак, – что ты меня подслушал. Скорее дело к концу. Но скажи, Владимир, одним словом, ошибаюсь я в тебе или нет?

– Нет, благодетель мой, ни в чем. Грешно бы было мне скрываться долее от тебя. Так, я точно тот несчастный Ситский...

– Бог милостив, все поправится, теперь откройся мне, каким образом ты так искусно прикинулся под ложным именем Грозы и нет ли у тебя какого ни есть доказательства для убеждения Луковки, что ты настоящий князь?

– Когда весть об опале нашему дому достигла до Строгановых и им приказано было немедленно выдать меня воеводе Чердынскому, тогда великодушный Денис Орел, первый друг и советник Максима Яковлевича, скрыл меня и выпроводил на Дон под именем казака Грозы, утонувшего перед тем в Каме. В уверение же того я сохранил грамотку, которую покойный батюшка писал ко мне в великую Пермь.

– Да сказано ли в ней, сколько ни есть, о сватовстве их с Луковкой?

– Как же! Покойный батюшка упомянул даже о грамоте, которую отправит со мной на Дон.

– Хорошо! Но для чего же ты мне доселе не открылся? Ты ведал, что я полюбил тебя с первой нашей встречи на Волге и не умею изменить.

– Прости меня, Ермак Тимофеевич, но ты сам ведаешь, что ныне не те времена, когда все гонимые и опальные укрывались на Дону безопасно. Притом открою тебе еще тайну свою: благодетель нашего рода боярин Борис Федорович Годунов обнадежил меня, что испросит мне прощение у царя Иоанна Васильевича.

– Это весьма хорошо. Да нет ли у тебя и от него грамотки?

– Как не быть!

– Теперь я надеюсь, что на нашей стороне будет праздник. Скажи еще, кто этот выходец, который называется твоим именем и для чего?

– Я видел его вчера мельком, только чуть

ли это не тот опричник, который послан был отвезти бедного отца моего в Соловки?

– Статочное дело! Но что за охота пришла ему назваться твоим именем и жениться на Велике?

– Тут могут скрываться великие умыслы. Луковкино богатство вскружило ему голову, а увидев Велику, решил достать ее во что бы то ни стало. Может быть, он уже и женат – какое дело? Опричники не ставят в грех жениться от нескольких живых жен, коли нельзя сманить или отнять приглянувшуюся им девушку. Царь не только их ободряет, но тешит таким удальством своих клеветов.

– Изверги!

– Знаешь ли, Ермак Тимофеевич, – присо-вокупил Гроза, – как я пробирался сюда, встретился мне молодец сей, кажись, рука об руку с Мещеряком. Уж не выводывал ли атаман наш его тайны? Не для того ли он с ним сдружился?

Ермак был очень доволен этим открытием, надеясь, что Мещеряк ничего от него не скроет.

Красное солнышко застало наших героев

еще на кладбище, но ни Луковка, ни Кольцо к ним не возвращались.

Глава четвертая

Рать московская у Раздоров. – Мещеряк подозревается в измене. – Московский посланец. – Круг на Майдане. – Московец требует выдачи голов опальных атаманов. – Ропот. – Ответ, произнесенный Ермаком. – Объявление войны царю московскому.

Весть о близкой опасности с быстротой молнии разнеслась по берегам тихого Дона. Из всех станиц казаки, даже пенные[31], спешили к Раздорам, которые походили тогда на кипящее море. Везде толковали, везде судили, рядили, горячились, и говор народный уподоблялся рокоту валов, ударяющихся об утесы кремнистой скалы. Особенно на Майдане толпился народ и с нетерпением ждал гонца московского.

В таком ужасном недоумении прошло несколько суток, а никакого гонца не приез-

жалю, хотя несметная рать московская стояла недалеко от Раздоров. Единственной отрадой и успокоением народу служили разумные речи атамана Ермака Тимофеевича, что увеличило еще более всеобщую к нему любовь и уважение.

Неудовольствие и опасения казаков усугубились бегством жениха, выдававшего себя за князя Ситского. Он исчез почти в тот час, как должна была совершиться его свадьба. После нескольких вопросов, сделанных ему Ермаком, и сбивчивости его в ответах он, без сомнения, заключил, что его стали подозревать и счел, что если подлог его откроется, то ему кружиться вместо брачного алтаря вокруг осины. Несколько казаков показало, что перед самым уходом видели его разговаривающим с Мещеряком. Раздраженный народ хотел кинуться на последнего и выпытать правду, хотя Мещеряк божился атаманам, что не ведает никаких его умыслов, что принимал его точно за князя Ситского и был в частом с ним отношении только по обязанности свата. Со всем тем одно заступничество Ермака могло спасти его от насилия народного. Ермак,

чистый совестью, судил о других по себе: он не мог представить, что нашелся предатель между людьми храбрыми, между братьями. Под величайшей клятвой объявил он, наконец, Луковке тайну Грозы и взял с него согласие на брак его с Великой, когда пройдет удар, висящий над Раздорами.

На третий день с восходом солнца по дороге от московского лагеря показалось облако пыли; оно придвигалось ближе и ближе, порывистый ветер рассеял его на две стороны и открыл отряд московской конницы. Взоры всех обратились на ту сторону, сердца всех дрогнули. У въезда в город отряд остановился, а из середины его выехал ратник, покрытый с ног до головы блестящими, как огонь, доспехами, на коне, залитом в золото и серебро. Он смело продолжал свой путь до Майдана и, приближаясь к становой избе, где собрался огромный круг казаков и развевалось жалованное царем знамя, проворно соскочил со своего коня.

Москвитянин гордо встал посреди атаманов. Низким поклоном приветствовал его Луковка; взором, полным достоинства, встретил

его Ермак. Посланец снял с головы косматый шлем свой и, обратясь к Луковке, как к старейшему атаману, начал свою речь:

– Великий государь царь Иоанн Васильевич!..

– Говори великому Войску Донскому, – раздалось в народе.

Посланец остановился.

– Почти великое Войско Донское! – загремело на площади, и москвитянин, как будто спохватившись, поклонился на все четыре стороны и продолжал:

– Храбрые сыны тихого Дона! Давно ли были вы вернейшими слугами царя белого, давно ли вы получили милостивое слово царское и награды за службу свою вере и чести? И признательный государь оставил вам ваши права и вольности. Признайтесь сами: была ли когда стесняема свобода ваша, развевались ли когда знамена русские в станицах казацких? И это продолжилось бы до скончания мира, если б вы сами не нарушили прав своих, если б вы сами не поругались над присягой своей и клятвами, если б вы из храбрых, добрых воинов не стали... Да! Слушайте слова

самого царя белого: *не стали гнусными разбойниками...*

Шумный ропот прервал его речи, тысячи рук схватились за мечи. Но грозный взор Ермака остановил дерзновенных.

– Посла ни секут, ни рубят! – воскликнул он, и народ умолк.

– Ваши юрты, – продолжал москвитянин, – стали убежищем опальных холопов царских. Беглецы наши вместо позорной казни находят у вас честь и уважение. И о стыд, о посрамление! Мимо станиц ваших, словно мимо вертепов хищных зверей, не стало проезда ни пешему, ни конному. Что подумал шах персидский о подданных царя русского, когда узнал, что посол его ограблен ими, что подумал бы и о самом царе, если б он не умел остановить и наказать дерзновенных, посягнувших на столь священную особу, уважаемую даже самыми дикими варварами? Велики вины ваши перед государем царем, казаки донские, но больше еще милость его к вам... Царь Иоанн Васильевич прощает вас, забывает вины ваши, но требует немедленно выдачи головою атаманов Ермака, Кольца, Грозы

и Мещеряка как главных виновников последних неистовств; а из них еще первого – как дерзкого раба, осмелившегося вступить в переговоры со своим владыкой от собственного своего имени, забывшегося до того, что возмечтал устрашать царя русского. Бритоусов, достойный посланец сих разбойников, получил уже достойное наказание; а кровь их должна омыть преступление целого войска, устрашить дерзновенных и непослушных. Одна покорность смягчит царский гнев... – Он указал на поле, где, как черные тучи, собирались грозные московские рати. – Требую сейчас же исполнения воли царя милосердно-го...

Ропот негодования не допустил его продолжать далее. Напрасно он требовал слова, напрасно несколько раз начинал говорить, его не слушали, шумели, горячились и ждали, что скажет Ермак. Но сей последний медлил нарочно, чтобы узнать дух народный. Он давал время народу делиться на круги, толковать. Он хотел увидеть влияние, которое будут иметь приверженцы Москвы, хотел прислушаться к речам их. Тщетно Луковка ста-

рался доказывать, что благоразумие требует покориться царской воле и что государь, довольный их послушанием, без сомнения, помилует атаманов, им осужденных. «К чему послужит наше сопротивление, – говорил он, – наша храбрость? Только разгневает царя более, а не спасет голов опальных. Или вам любо будет смотреть, как тихий Дон потечет кровью наших единокровных, как запылают наши жилища, как не останется камня на камне в нашей родине, как детей и жен повлекут в Азов для продажи неверным, а остаток упорных братьев вынужден будет искать покровы и убежища у царя басурманского?»

Казаки подходили слушать его, даже похваляли слова его, но тотчас же оставляли и присоединялись к кругам, где ораторы кипели негодованием на речи посланца московского и поступок с Бритоусовым, гремели войной кровавой, непримиримой.

Наконец, все кинулись в одну сторону, к рундуку войсковой избы: там заговорил Ермак Тимофеевич. Внезапно водворилась такая тишина, что последний шорох, малейшее движение были слышны в самом отдаленном

углу.

– Товарищи и братья по вере и мечу! Великое Войско Донское всегда видело, что польза его дороже мне самой жизни, что жизнь моя ничто для меня, когда дело идет о его славе; то могло ли оно подумать, что, возбуждая его поддержать честь и доброе имя, я хочу кровью его спасти свою голову. Нет! Эта постыдная дума, я знаю, не придет в голову храбрых, доблестных моих товарищей! Нет! Они уверены, что Ермак сам себе распорет грудь, если нужно вынуть из нее сердце; своими руками вытянет себе жилы, если нужна веревка для его выи; положит сей час на плаху голову, если нужна она для вашего спокойствия, чести и славы...

– Верим, верим! – грянуло, подобно громовому удару, и снова умолкло.

– Но, выполнив слепо волю Иоанна, купите ли вы себе спокойствие, честь и славу?

– Умрем, а не выдадим атаманов наших, – раздалось снова в народе.

– Постойте! Выслушайте и решите, – продолжал Ермак. – И так уже царь московский хочет, чтоб без его разрешения храбрые дон-

цы не смели громить Азова, не смели разгуляться в степях крымских и буджатских, поднять паруса на Черном море. Царь забыл, что еще дед его жаловался на нас султану, а отцу его султан говорил, что донцы сидят у него как бельмо в глазу. Теперь же что мы стали и что станем? Скоро спесивый боярин придет в Раздоры располагать нашими женами и детьми. Скоро...

– Довольно, довольно! – закричал народ. – Постоим за себя...

– Слышишь ли ответ царю московскому свободного Донского Войска? – сказал Ермак, обратясь к посланцу. – Другого не жди!

И сей последний мгновенно вскочил на борзого коня своего и исчез в облаках пыли.

Глава пятая

Раздоры разорены войском Иоанна Грозного. – Ермак с дружиной укрывается в подземелье. – Очаровательная пещера. – Раненый Гроза. – Вероломство Мещеряка.

Если б недоверчивый читатель не имел возможности проверить следующее описание на самом деле, если б еще доселе не существовали живописные сталактитовые пещеры по крутым берегам Волги, близ впадения в нее Камы, и по горам, идущим вверх сей последней реки; то можно бы подумать, что мы хотим представить баснословные чертоги волшебников и волшебниц, упоминаемых в сказках того века, или, по крайней мере, описать золотую палату Кремлевского дворца царских времен при посольских аудиенциях; но как ни великолепна была сия последняя, как ни горели тогда разными огнями венцы и ризы чудотворных икон и царского престола, как ни блестели золотые кружева, по стенам натянутые, как ни ярко отражалось зарево

тысячи свечей на золотой и серебряной посуде, возвышавшейся пирамидой у среднего столба, но все это не могло бы дать полной картины огромной храмины, на середине которой, вокруг пылающего костра, лежало несколько человек. Яркие радуги играли попеременно перламутром и опалом на гладких стенах и полукруглом его своде. Высокие колонны готической архитектуры, составленные из драгоценных аметистов, аквамаринов и изумрудов, поддерживали его середину, а в углублениях приметны были ниши, отделявшиеся от центра мраморными, как снег белыми пилястрами, низ которых, казалось, обтянут был зеленым бархатом. К умножению очарования в одной из этих впадин вспыхивал по временам яркий свет и открывал длинный ряд таких же ротонд, а напротив его подобное отверстие, иссеченное на половине воздушного свода, освещалось так же по временам, представляло столь очаровательное зрелище, что нельзя было ни к чему более применить его, как к раскрытым вратам самого неба! Уже не одни драгоценности природы обнажал яркий луч, исходивший из оно-

Нет! Он, казалось, выносил с собой радость и веселье из обители богов.

Такова была пещера, находящаяся близ Тютюш, в горе, гладкой как стена. К сожалению, она весьма пострадала в последние времена от стихий, а более того – от людей, обломавших ее капельники; со всем тем при свете факелов взор путешественника бывает приведен в восхищение, особенно если зажечь нефть, которая плавает по поверхности небольшого озера, находящегося в верхней пещере, в которой проведена арка в самом потолке, как будто иссеченная рукой человека. О высоте второй пещеры можно судить из того, что к ней ведут не менее ста ступеней, выдолбленных по шероховатой коре капельников. У окрестных поселян до сей поры существует предание, что в этой пещере живет медный змей, шипение которого слышится каждый день при восходе солнца, когда он поднимается со своего логовища. Суеверие это объясняется тем, что первые солнечные лучи ударяют прямо в отверстие пещеры, усеянное капельниками, и издали точно представляют страшилище, покрытое светлой че-

шуйей. Рев же, свист и шипение, происходя от быстрого движения воздуха, соответствуют силе стремления его в подземелье, подобно голосу, издававшемуся Мемноновыми статуями.

Но что это за люди, забравшиеся в этот неприступный вертеп, окруженный со всех сторон дремучим лесом и кучами безобразных камней, между которыми пролегает к нему самая узкая лазейка? Судя по воинственному виду, по множеству доспехов, которыми каждый из них снабжен, по тишине и благочинию, которое между ними царствует, можно бы подумать, что это сторожевой отряд стройной рати московской. Но кого стеречь ему на уединенных берегах отдаленной Камы? Но зачем укрываться ему от божьего света, заходить, как робким татам, в подземелье, где среди бела дня так мрачно, как в осеннюю полночь? Уж это не шайка ли тех недобрых людей, которые наводят ужас на пловцов волжских, которые залегают в осоку, камыш, за подводные камни, чтобы ястребом налететь на струг или лодку, и которые не дают пощады ни другу, ни недругу и делают плава-

ние по Волге опаснее самого моря Хвалынского? Да и одежда их обрызгана кровью, и на мечях их запеклась она, словно ржа темничная! Но шайки удальцов приволжских не бывают так многочисленны; много, много состоят из двух, трех десятков, а здесь их более четырех сотен, самый отдых удальцов тех бывает шумен и неистов.

Долго бы пришлось нам доискиваться, кто эти воины, если б неожиданная тревога не помогла бы отгадать без малейшего труда.

Резкий свист раздался на поверхности подземелья. Свист повторился, и мужчина средних лет, по-видимому, начальник дружины, махнул рукой. Это было повеление человекам пяти кинуться в ту сторону, откуда свист вторился еще под сводами. И снова воцарилась тишина.

– Что за дьявольщина! – сказал лежавший подле атамана человек в черной бурке. – Молодцы наши давно побежали, а еще не возвращались.

– Нет ничего диковинного: впопыхах побежали прытко, а вскоре ноги и отказались слу-
жить.

– Правду сказать, Ермак Тимофеевич, послужили они нам эти деньки верой и правдой.

– Да, брат Кольцо, насилу ушли от москалей и добрались до безопасного местечка, где можем отдохнуть и образумиться.

– Воля твоя, Ермак Тимофеевич, а мне сдается, что воевода Мурашкин не стал бы и не сумел бы так теснить нас, если б не указали ему следов наших.

– Неужели думаешь на Луковку?

– Нет, на другого, у которого более смысла, да менее чести.

– Ну, право, я не отгадаю.

– Сказал бы и доказал бы, да ты не любишь слышать, чтоб его уличали.

– Понимаю, ты хочешь сказать об атамане Мещеряке, но этому быть нельзя. У нас нет между собой более никакой досады, и он мне доказал свою дружбу.

– Ты, атаман, судишь всех по себе. Конечно, ты забыл все его против тебя пакости и козни, да он-то не таков. В его татарском сердце и совесть басурманская, которая во всю жизнь не прощает ни малейшей обиды.

– Перестань, ради бога, об этом говорить! Ты знаешь, что мне тяжело вспоминать про старое.

– По крайней мере, Ермак Тимофеевич, мы должны взять свои предосторожности. Поверь мне, что Мещеряк недорого возьмет навести на нас москалей, тогда как мы не в состоянии будем ни отразить их, ни спастись от них. Они захватят нас здесь, как мышей в западне. Ведь он слышал, как ты назначал атаманам эту пещеру последним сборным местом.

Ермак нахмурил свои черные брови; он хотел что-то сказать, как вбежавший казак объявил, что несут полумертвым атамана Грозу. При этом имени все казаки вскочили и изъявили искреннюю радость, ибо полагали его убитым. Ермак первый кинулся навстречу юному своему любимцу, который почти без чувств лежал на широком опашне. Румянец с полных ланит его заслонился смертной бледностью, взор его, до сего быстрый, ясный, обратился в томный, изнуренный; но со всем тем лицо его, не потеряв доброты своей, не потеряло и той привлекательности, которая

выражала чистую душу юноши. Ермак велел тихо положить Грозу у огня на медвежью кожу и тотчас перевязать ему раны. Кольцо, искусный в лечении всякого рода язв, с поспешностью исполнил это приятное для него поручение и, наказав всем удалиться от больного, дабы не тревожить его ни вопросами, ни шумом, приставил к нему на часы надежного казака.

Когда Кольцо распорядился как только можно было лучше для спокойствия и облегчения страданий Грозы, то, приблизясь к Ермаку, сказал:

– Слава богу, привелось нам еще увидеть нашего храброго товарища; но, кажись, ненадолго, он не жилец на белом свете.

– Почему же ты теряешь надежду? – спросил Ермак.

– Да рана-то глубоко прошла к сердцу! Дивлюсь, как Владимир, с его проворством и храбростью, мог допустить так ловко поддеть себя? Уж не рука ли какого мошенника тайком или изменой поразила его?

– Кажись, у Грозы не было неприятелей, все его любили, а по ранам, дружище, нельзя

узнать, как и от кого получил их: они в частую бывают такие мудреные...

– То так, атаман; но разве ты забыл московского самозванца и не видал, как он исподтишка во время боя подбирался к своему сопернику с кем-то другим в опущенном забрале?

– На то война.

– Видно, до тебя не дошла весть, что в ту ночь, как на Майдане решено было не выдавать нас, а лицемер Луковка, видя, что их не взяла и все казаки увиваются вокруг Грозы, бросился к нему на шею, называя его своим сыном; что в ту ночь насилу Владимир отбил-ся, и то благодаря своей верной собаке Султану, от трех злодеев, бросившихся на него из-за тына, когда он выходил от тебя после последнего круга. Воля твоя, а это – дело своих.

– Неужели подозреваешь Луковку в столь гнусном вероломстве?

– Нет! Опять того же, который готов на всякое вероломство.

– Право, Кольцо, если бы я не знал твою душу, то подумал бы, что ты из зависти или мщениия всякое злодейство приписываешь

Мещеряку.

– Нет, атаман, лично мне он никакого худа не сделал, да дела-то его худые, и один ты из всего войска их не знаешь. Моли Бога, что отделался от этой змеи! Ты слишком верил его сладким словам и раболепству, а он удружил бы тебе лучше старого при первом случае...

– Право, я не заметил ничего вредного и подозрительного в его поступках. Напротив, он казался мне верным и храбрым казаком.

– Уж не от верности ли и храбрости попался он первый в плен москалям?

– Он первый кинулся на врага.

– И пропал...

– Мудреного ничего не было: москали так хитро заслонили свою пехоту конницей.

– Да как же они отгадали все наши засеки? Почему же воевода русский, вместо того чтоб идти прямо на город, вырезал татарами отряд храброго Грозы? Отчего он знал все завалы наши, напал там, где мы были слабее? Будь у него орлиный взор, ему бы этого не взвидеть, а был у нас предатель, и, воля твоя, я ни на кого другого, кроме Мещеряка, не думаю.

– Когда начнешь подозревать, тот и без ви-

ны покажется виноватым. Скорее можно подумать на есаула Самку: он крепче всех стоял за московского царя и первый внушил мысль Луковке с единомышленниками своими оставить Раздоры до кровопролития.

– Правда! Самка крепко настаивал, чтоб покориться воле Грозного; но он говорил громко, доказывал смело, он был противного мнения о пользе и чести казацкого войска, и только. Такие люди не способны к предательству, к тому же одни атаманы ведали о твоих распоряжениях.

– Правду сказать, любезный Кольцо, я сам полагаю, что нам изменили. Наши резались славно со стрельцами, крошили их по-молодецки, и они ничего не взяли бы у нас, несмотря, что втрое были сильнее, коли попали б в западню и артаулы наши очутились бы у них за спиной. Впрочем, видно, так суждено свыше: Его святая воля. Прошедшего не воротить, а подумаем о настоящем.

Разговор прервался приходом казака, приставленного к Грозе: он объявил, что больной требует к себе непременно атамана, желая перед смертью что-то ему поведать.

Глава шестая

**Беседа Ермака с Грозой. – Мнимоумер-
ший. – Жалобы на бездействие Ермака. –
Шаман. – Колдовство. – Гроза ожил.**

Странно, удивительно было видеть грозного Ермака, растроганного до такой степени, что слезы катились по лицу его, тем более что это, вероятно, случилось в первый раз в его жизни. Ермак, взиравший доселе на смерть подобного себе человека с таким хладнокровием, с каким смотрим мы на тихий сон странника; Ермак, закаливший сердце, подобно своему булатному товарищу, безжалостно, – льет слезы у болезненного ложа юноши, ему чуждого, ему мало знакомого! Но такова сила истинных доблестей над сердцами героев. Ермак забыл, казалось, на то время роль, которую судьба определила ему играть на свете, – роль непричастного всем напастям и ощущениям, чтобы повелевать людьми; Ермак с чувством искреннего сострадания уговаривал юного своего друга не пре-

даваться отчаянию, а уповать на милость Божию.

– Позволь, отец мой, – говорил Гроза слабым голосом, – позволь сказать тебе еще одно мое желание, не смею сказать, совет...

– Я готов, сын мой, – отвечал Ермак, – все от тебя выслушать, все от тебя принять; но боюсь, что дальнейшее напряжение может повредить тебе, а потому отложим разговор наш до другого времени.

– Нельзя! Чувствую, что скоро силы оставят меня; но я умру покойно, когда поведаю тебе думы мои. Ими я жил, для них поборол самую смерть.

– Говори, я слушаю...

– Помнишь ли, Ермак Тимофеевич, когда я описывал жизнь свою у Строгановых в великой Перми, изобилие и богатство неведомых стран, за нею лежащих, ты сказал, что хотелось бы тебе самому изведать те края. О! Это крепко залегло в мою душу, а со времени последней нашей беды, когда более не существует, может быть, твоя родина и истреблено имя донских казаков, где тебе искать верного пристанища, как не в великой Перми?

Она не выходит у меня из головы. Если Богу не угодно допустить меня быть тебе путеводителем, то, лежа в сырой земле, порадуюсь за тебя.

– Сознаюсь, любезный Владимир, – сказал Ермак с некоторым смущением, – что в последнее время и мне мысль сия представлялась неоднократно.

– Ради бога, Ермак Тимофеевич, не отвергай ее, познай, что она указана тебе свыше.

– Для этого надобно, сын мой, еще много обдумать, много поговорить с тобой. Но перестанем, я боюсь, чтоб ты себе не повредил излишним напряжением. – С этим словом Ермак пристально взглянул на юношу и с ужасом отпустил его руку: она охладела, глаза его сомкнулись, губы помертвели, и сердце перестало биться. – Его не стало! – вскричал Ермак с искренним прискорбием и поспешил позвать Кольцо для подания ему помощи.

Когда не осталось ни малейшего признака жизни, то Ермак отдал последний долг доброму товарищу, похоронив его в верхней пещере, причем великолепие и пышность обрядов заменены были всеобщим сожалением, слеза-

ми и благословениями памяти усопшего.

Прошло более суток после смерти Грозы, как вбегает в подземелье косматая большая собака. Некоторые казаки вспомнили, что это Султан, верный спутник покойника, подзывали его к себе, манили, но он ни на кого не смотрел, никого не слушался, а бегал по пещере, обнюхивая все углы и особенно те места, где лежал его хозяин. Наконец Султан кинулся в верхнюю пещеру, где был похоронен Гроза, и с воем стал рыть его могилу. Потом сбежал вниз, между всеми отыскал атамана Ермака и начал вокруг него ластиться и выть жалобно. Долго не понимали, чего Султан хочет, всякий толковал по-своему телодвижения и визги собаки, дивясь его смышленности, что выбрала из всех казаков старшего в свои хозяева; но Султан, казалось вышедший из терпения от непонятливости людей, схватил Ермака за полу и потащил его за собой наверх. Каково же было горе и отчаяние казаков, за ним следовавших из любопытства, когда из ямы, которую вырыла собака над могилой своего хозяина, раздался глухой стон. Ермак в минуту кинулся разрывать ее, и в ми-

нуту открыли гроб. К общему всех ужасу и радости нашли, что умерший перевернулся в гробу и дышал еще, хотя весьма слабо. Нельзя вообразить всего того, что делал Султан в изъявление своей радости и благодарности: он скакал на всех, лизал всем руки, ноги и тотчас же улегся у изголовья своего хозяина, когда его перенесли вниз, и не допускал к нему никого, кроме Ермака и Кольца. К сожалению, все врачебные средства последнего были тщетны, все попечения и усилия Ермака не имели никакого успеха: больной несколько не поправлялся, и в продолжение трех суток одно слабое дыхание показывало, что в нем тлеет еще искра жизни.

Сие болезненное состояние любимого всеми товарища распространяло какую-то горечь на всю дружину. Ермак сделался еще мрачнее и безмолвнее. Кольцо редко мог добиться от него слова, он не удивлялся его суровости, но не мог понять его бездействия. Прошло уже более двух недель, как они укрывались в пещере: продовольствие становилось час от часу затруднительнее и ограничивалось уже добычей одной охоты, на которую

ежедневно высылались несколько казаков со строгим наказом не выходить на Волгу. Ропот, сначала глухой, потом смелый и громкий, слышался час от часу более в кругах верной дружины и часто вторился так ясно под круглыми сводами, что, вероятно, долетал до слуха атамана, а он все не изменял своей беспечности, все молчал.

– Нет, братцы, – сказал однажды есаул Самусь, гложая тощий мосол дикой козы, – нет! Видно, придется нам самим о себе промышлять. Атаман, Бог ему судья, от нас отступился, забыл о нас, забыл, что мы за него отказались от родины, готовы были положить свои буйные головушки...

– Неправда, господин есаул, – подхватил Грицко Корж, старый казак, считавшийся первым отвагою и балагуром в дружине, – ты клепнешь на атамана. Видишь, ему хочется сперва выучить нас не есть по месяцу, а потом и поведет закаленную голодом дружину в Москву – на калачи, на брагу.

Всеобщий хохот раздался по подземелью, ибо товарищи Коржа так приучены были к острым шуткам его, что начинали хохотать,

когда он разевал еще рот.

– Нет, господин есаул, – продолжал он, – имей терпение. Ермак Тимофеевич оденет нас в аксамитные и атласные зипуны, когда ветер сорвет с плеч наших последние лоскуты.

– Спасибо за щегольство, – вскричало несколько голосов со смехом.

– А как проржавеют наши ятаганы и мечи, то он наделает из них ухватов и иголок да выучит нас шить и стряпать.

– И впрямь так, – сказал Самусь. – Атаман хочет из нас сделать настоящих баб. У меня, право, скоро будут пролежни на спине. Подожду еще денька два, три – да и поклонюсь ему низехонько. Я найду себе дорогу не хуже атамана Пана, даром, что он новгородец. Вишь, догадался, убрался отсюда прежде, чем мы заквасли. Да меня и Долбило[32] примет в есаулы; я с ним еще не раз сброжу в Астрахань, покуда доберутся до нас москали...

– Возьми и меня, и меня, – раздалось со всех сторон.

– Ну, чтоб вам виднее было *дуван дуванить* [33], киньте-ка, братцы, дровец! – вскричал

Грицко. – А во тьме того и смотри, что астраханцы разбегутся.

От хохота задрожали своды подземелья. В огонь бросили целую охапку сухого хвороста. Пламя вспыхнуло с необыкновенной силой и осветило во всей красоте и великолепии волшебную храмину. Это невольно заставило казаков, равнодушных уже ко всякого рода зрелищам, кинуть взор на костер. И что же представилось их глазам? Чудовище в человеческом образе, как будто выходящее из дыма. Первым движением всех было взглянуть на Коржа, почитая его способным сыграть такую шутку; но, видя, что он на своем месте, подобно им, выпялил глаза и крестится со всем усердием, а приведение не исчезает, делается явственнее и ощутительнее, так что послышался от него какой-то странный звон, храбрецы дрогнули и бог знает, на что бы решились, что с ними бы случилось, если бы Султан не прибежал к ним на выручку. С ужасным лаем он вскочил со своего места и бросился на страшилище. Но вот новое удивление, новый повод к суеверному страху. Султан, подбежавший к привидению с остервенением,

внезапно переменял свою злобу на самое нежное изъявление восторга: он визжал, скакал, валялся вокруг него. К счастью, из ближайшей пещеры вышли Кольцо с казаком, в котором все узнали атамана Пана, пропадавшего с первого дня прибытия сюда дружины. Они подошли к привидению и увели его в другую пещеру. Любопытство придало храбрости нескольким смельчакам подойти к отверстию, и они услышали следующий разговор между Ермаком, Паном и чудовищем.

– Нет, Пан, я ожидал от тебя более проворства и смышленности, – говорил первый.

– Воля твоя, Ермак Тимофеевич, а уж нельзя более порадеть. Вот тебе свидетель – этот урод, что Камою сам черт не доберется вшестером до Орлова-городка. И так не проходило дня, чтоб мы не целовались с этими нехристями. Половину товарищей оставил в сырой земле; но все бы пошел далее, если б не поймал этого лешего, который изрядно говорит по-христиански и сказывает, что Строгановы ушли бог знает, куда только далеко на полночь. Радехонек, что языка добился...

– Да что это, впрямь, за пугало достал ты?

– Это поп остоятский, по-ихнему шаман; да такой сильный, такой неутомонный, что мы вчетвером насилу его одолели и сюда дотащили!

В продолжение сего времени шаман стоял перед атаманами в какой-то дикой бесчувственности, и, если б не страшные, сверкающие глаза его, то можно бы было признать его скорее за истукана, чем за живое существо; подобно тому, странность одеяния при зверском безобразии его лица, уподобляли его более жителю преисподней, нежели человеку. Черные всклокоченные волосы щетиной торчали из-под его шапки, похожей на шишак, на которой гребнем развевались совиные крылья, а украшения состояли из змей, ящериц и жаб, привешенных вокруг. Этими же «драгоценностями» вместе с разного рода побрякушками, колокольчиками, бубенчиками, гвоздями, орлиными носами и когтями диких зверей унизано было платье его, состоявшее из длинного кожаного мешка, так что при малейшем движении издавал он какой-то дикий звук или гул. В одной руке шаман держал небольшой барабан, а в дру-

гой – заячью лапу вместо тимпана.

Несмотря на столь странную фигуру остоятского колдуна, Ермак не обратил большого внимания на его наружность, а тотчас приступил к вопросам.

– Скажи-ка мне, шаман, – сказал он, – откуда ты?

– Я все скажу, многое скажу, – отвечал шаман каким-то гробовым голосом, быстро взглянув на Ермака, – но наперед скажи сам, где взял эту собаку? – и указал на Султана, который покойно стоял подле него.

– Станный вопрос твой заставляет меня удовлетворить твое желание, – отвечал Ермак. – Собака эта не моя, а принадлежит товарищу нашему, который теперь болен.

– Болен! – воскликнул шаман. – Молиться светлomu Нуму[34], выгнать нечистого шайтана[35], так и будет здоров.

Султан, как будто поняв эти последние слова, схватил его за широкий рукав и потянул в ту сторону, где лежал Гроза в самом отчаянном состоянии. Ермак не только не воспрепятствовал этому любопытному происшествию, но сам пошел за ними следом.

Храбрые казаки давали охотно широкую дорогу сей чудной, по их понятию, дьявольской чете и, крестясь, прижимались один к другому сколь можно теснее. Вот Султан приводит шамана прямо к бесчувственному телу своего хозяина, и он только что взглянул на лицо больного, как отскочил и сделал такой прыжок к костру, что самые недоверчивые могли принять его за нечистого духа. Кинувшись на колени перед огнем, шаман всунул в него голову свою и, разинув страшную пасть, стал глотать красное пламя. Потом вдруг поднялся на ноги, вытянулся и со страшными заклинаниями и воплями принялся скакать через костер. То, казалось, он хотел броситься в огонь, но какая-то невидимая сила удерживала его; то, теряясь в дыме, пропадал или улетал с ним. Поистине коверканья сии при странном бряцании, диких восклицаниях и глухих ударах тимпана, вместе с неожиданностью и новостью сего явления, в состоянии были поселить страх и удивление к кудеснику в самых неробких, несуетверных душах. Наконец, он упал на землю как окаменелый, закрыл глаза, изо рта у него забила клубом

кровавая пена, а лицо пришло в такое движение, в каком бывает при самых ужасных судорогах: нос, рот и вообще все мускулы сдвигались со своих мест и как будто толкались между собой. Все молчали, даже Ермак приведен был в недоумение и не мешал, в ожидании, чем это кончится.

Не более как через десять минут кудесник поднялся на ноги и, подойдя к больному, стал дуть на него и брызгать холодной водой, которую черпал из близстоящего сосуда своим барабаном, потом громко провозгласил трижды:

– Храбрый друг мой, оставь ложе немощи – я повелеваю тебе.

Можно представить всеобщее удивление, когда после сих слов больной открыл глаза, и жизнь вспыхнула на впалых его щеках.

– Это сам дьявол! – вскричало несколько голосов. – Он погубит наши душеньки, мы пропали.

– Лучше пришибить его поскорее, – сказал Самусь и занес уже тяжелый кистень свой; но Кольцо вырвал его из рук убийцы и оттолкнул его, а потом усмирил страх и ропот дру-

жины разумными речами.

Глава седьмая

Действие Ермака. – Охота. – Чудный зверь. – Открытие опасности. – Гроза сбился с пути и пропал без вести.

Через три дня после этого Ермак сидел у постели Грозы вместе с Кольцом и дружески с ним разговаривал. Большой рассказывал об ужасах своей мнимой смерти. Он слышал все слова товарищей, почитавших его умершим, чувствовал, когда положили его в гроб, узнавал каждого, приходившего с ним прощаться, не мог только произнести ни одного слова, даже вздохнуть и пошевелинуться, чтобы дать знать о своем существовании. Можно вообразить страдания его, когда опустили его в могилу и руки товарищей, каждый из которых дал бы дорого за жизнь его, заживо его покрыли холодной землей. К большому несчастью, от спертого воздуха, причем грудь его готова была треснуть, ему не только возвратилось свободное дыхание, но и движение

тогда, когда он не мог ни дышать, ни двигаться в тесном своем домовище. Сгущавшийся воздух давил его более, чем сама земля; он не видел возможности спастись, чувствовал, понимал, что скоро должен задохнуться. Кто и как услышит его глухие крики и тяжкие вздохи? Какое чудо похитит его из челюстей насекомых и гадов, явившихся заживо пожирать его? Ощущение шелеста их, ползание по телу превыше всех на свете мук и пыток. Некоторое время кое-как он оборонялся от их наглости; но скоро силы его оставили, он не в состоянии был шевелить руками и вынужденным нашелся предать себя им заживо. Вдруг ему слышится какой-то глухой звук, легкий шорох, они становятся явственнее, отраднее; надежда затеплилась в томящейся душе... Точно роют его могилу. Верно, хотят спасти его. И первая его мысль была молитва... Но радость его скоро перешла в отчаяние, когда отрадный гул умолк, когда опять водворилась гробовая тишина в могиле, а в сердце залегла тоска, невообразимая языком человеческим. После сего он очнулся не прежде, как когда шаман sprыснул его холодной водой и шу-

мом пробудил чувства его из усыпления.

– Признаться, – сказал Ермак, – твой приятель куды как не красив, а чудной человек.

– И казаки перестали бояться его и полюбили, – прибавил Кольцо, – после того, как он научил нас доставать *кырлык*[36] и печь из него хлеба. Правда, сначала они не доверяли ему; но как увидели, что он кормит им Владимира и тот стал поправляться не по дням, а по часам, то послушались и теперь не нахвалятся... И впрямь чудное дело этот кырлык. Отмочи только чешую, да и толки муку, которая не уступает пшеничной.

– Как там обильна земля, – прибавил Ермак.

– В бытность мою у Строгановых, – сказал Гроза, – не раз приносили к нам другое подобное былье, гораздо вкуснее кырлыка. Его называют белая *сарана*, и туземцы готовят из него кисель. Я слышал, что дикари даже не запасаются им на зиму, а просто отнимают его у мышей; зверьки себе набивают целые норы этими питательными луковицами.

– Видно, нетрудно промыслить себе в тех странах хлеб и зипун, – заметил Ермак с

улыбкою.

– Это правда! Посмотрел бы ты, какие там нажили себе богатства Строгановы в короткое время. Все там есть, всего много, одного только нет – людей.

– Я давно хотел спросить тебя, Владимир, как ты познакомился с этим шаманом?

– Когда я ходил из крепости Каргедана в черемисскую землю смирять бунт и приводить опять в подданство остяков, то где-то избавил его из рук дервишей, разосланных Кучумом по Сибири для приведения язычников в мусульманство. Истребив их кумиры, они хотели сжечь живым и главного служителя оных в доказательство бессилия их богов и жрецов, а вместе и для уничтожения власти, которую имеет сей кудесник над умами язычников. С тех пор он был весьма полезен Строгановым, а мне в знак благодарности подарил первую свою драгоценность – свою собаку.

– Кажется, однако, Султан опять тебе изменил, – заметил Кольцо.

– Пусть его, нагуляется со старым своим хозяином, лишь бы научился у него искать целебные травы, – отвечал Владимир с усмеш-

кой.

– Право, не худо бы. *Кашкарою*, которою он тебя вылечил, помог не одному тебе. Она поставила на ноги Петруся Хлопца и Ивася Чабана. Что твоя баня: как, бывало, натопят ее в котле да напьются, пот так и льет градом.

– Эти люди, близкие к природе, знают многие ее таинства, и под снегом находят излечение от самых трудных, опасных недугов.

Вдруг Ермак поднялся со своего места и, приняв вид какой-то особенной важности, сказал:

– Благодарение Всевышнему! Ты, Владимир, теперь собрался с силами, а потому можешь выслушать и подать совет в таком деле, которому надобно решить участь всех нас. Я давно помышлял, как бы примириться с Богом и с Русью. Твои рассказы о великой Перми ближе всего легли к моему сердцу, а после беды, случившейся с нами в Раздорах, я решился предложить себя с храброю дружиною Строгановым. Полагая, что ты убит, защищая азовскую дорогу, я отправил атамана Пана и есаула Брызгу в Орлов-городок по разным дорогам, проведать о тамошних обстоятель-

ствах и даже предложить Строгановым свои услуги. Ты видел, что Пан возвратился ни с чем, то ли же будет от Брызги, не ведаю, а должно подождать его еще недельки две.

– Не говори, Ермак Тимофеевич, – отвечал Гроза, – что Пан ходил без успеха. Знай, что приобретение шамана Уркунду стоит пяти сот нашей братии, и я, признаюсь, без него не мог бы в половину быть полезен твоему предприятию... Знаешь ли, что сами Строгановы примут тебя ласковее, когда узнают, что с тобою шаман Уркунду. Они сулили ему золотые горы, чтоб он остался у них; ан нет! Не могли ничем удержать. Весь полуночный край в него верует как в идола; коли позовешь его на совет, так жалеть не будешь.

– Любезный Владимир, охотно верю всему, чтобы ты ни говорил о нем; но кто поручится за его верность?

– Я, я! – вскричал с жаром Гроза. – Головой своей ручаюсь, что в честности и великодушии сей язычник не уступит ни одному христианину.

– Не горячись, Владимир, и не осердись, когда я скажу, что в твои лета простительно

увлекаться легковерием. Ты говорил сам, что этого рода люди умеют не только искусно притворяться, но и морочить других для собственной пользы. Рассуди еще, каково ему покажется, что несколько сотен христиан пойдет в его отчизну – распространять власть царя белого.

– О! Поверь, Ермак Тимофеевич, что если не из любви к христианам, то по ненависти к мусульманам он будет нам другом. По крайней мере, москвичи не трогают их капищей, не касаются их святынь; напротив того, чтители Корана силою хотят обратить всех в магометанство. Впрочем, поговори сам хорошенько с Уркунду об их исповедании: он расскажет тебе столько любопытного и дивного, что легко согласиться, что при всей темноте и нестройности шаманского язычества, а особливо толкования о богах, нельзя не признать в нем общих понятий естественной веры и некоторых обрядов из Моисеевых законов, как-то: жертвенных огней, жертвоприношений, молитв и даже многих мнений. Не прими за суеверие, атаман, а уверяю тебя честью, что я был неоднократно свидетелем чудных

прорицательств сего шамана.

Вбежавший Султан возвестил возвращение Уркунду. Ермак велел позвать его.

– Хочешь ли на родину? – спросил он у него.

– Нет, я еще нужен ему, – указав на Грозу, отвечал Уркунду.

– Возьми и его с собою.

– Ты лжешь?

– Нет, не лгу. Уркунду, я слышал, ты человек честный, стало быть, душою не покривишь.

– Спрашивай.

– Владимир ручается, что ты нам не изменишь.

– Я ведь не мусульманин!

– Итак, скажи: можешь ли, хочешь ли ты нас проводить до Строгановых?

Приметно было, что сей вопрос привел в смущение шамана; но он скоро ободрился и как будто с некоторым вдохновением отвечал:

– Один Нум научит нас.

Гроза, воспользовавшись сим случаем, удвоил свои просьбы и настояния, чтобы убе-

дить Ермака дозволить шаману спросить своих богов. А чтобы не податься соблазну к суеверию, советовал сделать это в лесу без лишних свидетелей. Наконец Ермак более из любопытства, чем из доверия, согласился. Оставалось поймать зверя, приятного богам для принесения им в жертву. Гроза взялся отвлечь и это затруднение и на другой день рано, выбрав человек двадцать искусных охотников, пустился с ними на промысел вверх по Каме.

После полудня, преследуя каменного барана, они увлечены были далеко в горы. Им удалось уже пригнать его к утесу, где, наверное, полагали захватить его живым, как, к крайнему всех удивлению, зверь соскочил вниз и удержался с необыкновенным искусством на небольшой скале, едва высунувшейся из гладкого утеса и трепещущей, так сказать, над бездонной пропастью. Казалось, тут был конец его дерзости. Охотники остановились и думали, на что он решится. И что же?

Баран, измерив быстрым взглядом бездну, кинулся в нее головою вниз так, что упал на крепкие рога свои и удар, подобный писто-

летному выстрелу, несколько раз повторился в ущельях гор. «Чудесное творение», – промолвил Владимир, увидя, что зверь с прежней быстротой пробирался между утесами. Но видно, сама судьба назначила животное сие в жертву богам; ибо едва выбрался он из пропасти в густоту леса и почитал себя вне всякой опасности, как схвачен был Султаном, сторожившим его с величайшей осторожностью. «Видно, тут гуляет шаман мой», – подумал Гроза, и так как он потерял своих спутников, то пошел обходом к тому месту, где Султан поймал зверя.

Проходя чащею леса, он услышал невдалеке от себя громкий говор. Гроза, полагая, что это его товарищи, хотел оголоситься, как увидел перед собою лицо, совершенно ему незнакомое. Приученный к осторожности соседством с Азовом и своим положением, он немедленно спрятался за колоду и стал вслушиваться в их речи.

– Потерпи немножко, – говорил знакомый голос, по коему Гроза легко узнал Мещеряка, – поверь мне, что я скоро отыщу пещеру; отсюда должна быть она недалеко. Ну, слышь,

выдам вам беглецов руками – без дальних хлопот: только нужно напасть на них врасплох, лучше всего ночью...

– Нет ли у пещеры двух выходов? – заметил другой голос, также несколько знакомый...

– Нет, кажется, один, – отвечал Мещеряк.

– Тем легче с ними будет управиться, – продолжал другой. – Правда, у нас вдвое противу них, и я нарочно выбрал из стрелецких полков таких молодцов, что всегодились бы в опричники.

– Мы схватим первого встречного казака, – прервал Мещеряк, – да и пошлем в преисподнюю с предложением дружине выдать опальных бунтовщиков; небось здесь не как в Раздорах или не в чистом поле, не постоят за них, не захотят умереть голодной смертью или заживо замуроваться, как затворники обитатели Святого Николы[37].

– Коли пойдет дело на переговоры, пожалуй, я именем царя прощу всех, кроме Ермака. На одном помирюсь...

– Надеюсь, господин Грязной, что вы с воюющей меня не обманете, сдержите свое обе-

щание и после похода тотчас же объявите меня старшим атаманом Донского Войска. Уж я не дам бунтовать и своевольничать отвагам, возьму весь Дон в ежовые рукавицы: будет у меня всякое лыко в строку, всякая вина виновата, ин любо станет самому батюшке царю. Он любит, свет, потешиться – ась?

– Сдержим, сдержим, господин Мещеряк, но вместе с тем сдержим и то, что если сегодня или завтра утром не отыщешь пещеры с беглецами, то хоть жаль старого сватушку, а делать нечего – должен буду вздеть его, голубчика, на осинушку. Извини, я человек подчиненный, вынужден исполнять приказание начальства и требование всей рати.

Гроза не заметил, какое впечатление сделало сие приятельское замечание опричника на предателя, только с ужасом услышал вслед за тем слова Мещеряка:

– Коли отдохнули молодцы, то пора в поход!

– Где отдохнуть часом, – раздалось несколько голосов, – ужели опять таскаться по лесам и ползать по горам без толку? И так оборвались, ни на что не похоже. А все зав-

траками кормишь...

– Сегодня, братцы, точно сегодня будет конец и делу венец, – сказал Мещеряк весело.

– Идем, коли дело делать, – крикнули стрельцы в один голос и поднялись с привала.

– Не забудь, любезный сватушка, – кричал со смехом Грязной вслед Мещеряку, – что до заката сегодняшнего солнышка в руки тебе атаманская булава или на осине будет висеть твоя голова.

Гроза долго прислушивался к шагам стрельцов и долго не смел не только встать, но и пошевелиться. Когда же все замолкло и он приподнял голову, то крайне удивился, найдя, что начинало смеркаться. Несмотря, однако, на темь, несмотря на то, что не весьма твердо заметил направление своего подземелья, что окружен был глубокими оврагами и крутыми скалами, – он пустился в дорогу, боясь опоздать минутою для возвещения опасности.

Мысль сия придавала ему сверхъестественные силы для преодоления опасностей и трудностей пути. Он летел. Полуночные

птицы перестали уже виться над ним и усе-
лись по темным углам своим, а Гроза все шел.
Уже перепел возвестил пришествие зари, а
Гроза продолжал путь свой, наконец, и трели
соловья, провозвестника о появлении свети-
ла светил, умолкли, а Гроза не переставал ид-
ти. Должно бы давно добраться до пещеры, по
крайней мере, она должна быть уже близко;
но боже мой, каким ударом поражен был
неутомимый, изнуренный Владимир, когда
при свете первого луча солнечного увидел со-
вершенно незнакомые ему места, увидел да-
же новую природу. Стало быть, он зашел в
противную сторону от своей цели – и далеко;
мысль, что в это время величайшая напасть
постигла его товарищей и он не умел ее от-
вратить, хотя имел на то возможность, пода-
вила и последние силы его: он упал без памя-
ти от изнеможения, бывши не в состоянии
более вытаскивать ног из сыпучего песка.

Глава восьмая

Неожиданный приход Мещеряка в подземелье. – Оно оставляется казаками. – Картина живописной Башкирии. – Пожар. – Аул. – Дервиш. – Вести о Велике. – Предложение дервиша.

Отсутствие Грозы, несовершенно еще оправившегося от жестокой болезни, весьма обеспокоило Ермака, тем более что спутники его возвратились все, кроме шамана; даже и Султан обратно прибежал в пещеру тот же самый вечер. На другой день Ермак разослал несколько человек в разные стороны искать Грозу, и сам несколько раз выходил на встречу.

Ночью, когда мысли его были заняты отсутствием общего любимца, вбегают сторожевой казак и объявляет, что атаман Мещеряк желает как можно скорее переговорить с ним наедине. Ермак, хотя удивился такому неожиданному посещению, но велел тотчас впустить его к себе.

Не станем описывать их свидания, на коем Мещеряк уверил, что, вынужденный пытками сознаться в знании его убежища, он был избран в вожатые, но вместо того чтобы вести московичей к пещере, завел их в горы и леса, откуда им не выбиться в неделю на настоящий путь, а сам при первой возможности скрылся и прибежал сюда, и прочее. Скажем только, что следствием оного было немедленное оставление подземелья всей дружиной. Встреча Мещеряка с Кольцом могла бы иметь худые последствия, если б первый был сколько-нибудь менее дерзок и нагл, а второй скромн и благоразумен.

Однако Ермак был в самом затруднительном положении: он недоумевал, куда и зачем идти? Остановиться вблизи боялся, что московичи откроют следы его; удаляясь, мог разлучиться навсегда с Брызгою, без которого не хотел ничего решительно предпринимать, равно мог разойтись с Грозою и шаманом. По долгом совещании с Кольцом положили, наконец, выбрав самых исправных, сметливых казаков и снабдивши их на несколько дней съестными припасами, расставить их в таком

расстоянии один от другого, чтобы они могли скоро найти друг друга, с остальными идти в Башкирию.

Кто не бывал в стране, называемой Башкирией, тот не имеет понятия о красоте и изобилии южной части древней Биармии. Что за странное создание человек, подумаешь невольно, увидя сию благословенную страну в обладании башкирцев. Справедливо сказал какой-то древний философ, что человек есть соединение противоречий, самовластия и упрямства: желает небывалого, стремится к невозможному, любит недостойное, наслаждается не своим! Да прибавит нехотя: теснится, жмет один другого, давит, страдает, чтоб занять уголок на топком болоте, на сыпучих песках, на голой скале или бесплодной степи, не щадя ни трудов, ни денег, ни времени, тогда как богатейшая, прекрасная страна в свете манит его в свои объятия. В зыбучих тундрах утверждает железныеobeliski, на безлесных берегах сооружает плавучие крепости, то и другое с большими жертвованиями и затруднениями, а страна, где и то и другое, равно как и все прихоти утонченного

вкуса и изобретательной роскоши, мог бы удовлетворить несравненно легче и удобнее, остается без внимания, оставлена башкирцам – варварам, умеющим пользоваться благами щедрой природы, бедным среди всех богатств в мире.

Больно видеть сей эдем пустым, в руках диких тунеядцев, которые в четыре века обладания оным капли пота не пролили для раскрытия недр своих гор, заключающих все возможные сокровища: алмазы, яхонты, аметисты, бериллы, серебро, золото, медь, железо, порфир и яшму, каменную соль и уголья; которые истребили вековые леса для нескольких сухих пален под котлы свои; которые, чтобы не взять косы или плуга в руки, переходят с многочисленными стадами из места в место и находят повсюду тучные пажити; которые, наконец, считают величайшим трудом кинуть мережи в озера и реки, полные редчайшей рыбы, или натянуть тетиву своего лука, чтобы убить лань или драхву себе в пищу.

«Все это прекрасно, – скажут мне в ответ, – да можно ли жить без людей и в самом эде-

ме, можно ли быть счастливым с одной природой, сколь бы она ни была прелестна и богата?» Согласен! Но позвольте спросить вас, милостивые государи, что привлекает людей в отдаленную Америку? Не выгоды ли житейские? Что заставляет их переплывать бурные океаны, оставляя родину как не недовольство жизненных потребностей! Стало быть, нужна только добрая воля и – пустынная Башкирия сделается в несколько лет населеннейшей областью царства Русского, и из всех краев света кинутся к подошве Каменного Пояса самые просвещенные люди, переселятся искусства и науки. Наконец, не забудьте о соседстве Каспийского моря, через которое только можно переманить в Россию богатства невежественной Азии и дать естественное, истинное направление русской торговли. Преобразователь России, обратив ее от Востока к Западу, дабы переселить просвещение Европы, всегда имел в виду Азию, и даже последним предприятием и усилием его гения было открыть путь в Индию, приготовить грядущим столетиям верный сбыт избытков возникавшей при нем промышленно-

сти...

«Боже мой! Куда увлекло тебя воображение?» – скажут мои читатели. Не прикажете ли выпустить, уничтожить сие разглагольствие, вылившееся неволью из-под пера историка Петра Великого[38]? «Так и быть, оставь», – говорят некоторые великодушные, угадывая, может быть, что оно послужит предисловием к настоящему делу.

Башкирцы после покорения Казани царем Иоанном Васильевичем хотя признали над собою власть московскую, но худо ей повиновались, неохотно платили положенный на них ясак и при всяком понуждении к оному готовы были бунтовать. Укоренявшееся между ними день ото дня магометанство делало их по вере врагами христиан; несмотря на то, нигде нельзя было найти лучшего убежища Ермаковой дружине, как между сими потомками воинственных болгар, судя по их наследственному гостеприимству и изобилию.

Первые четыре дня Ермак вел свою дружину весьма поспешно, дабы как можно более удалиться от москвитян, потом пошел самыми малыми переходами. В десятый день они

взошли на одну из высочайших гор Башкирии, называемую Ярындыком, и хотели расположиться ночевать на вершине оной, как у подошвы увидели обширное озеро, в котором, словно в зеркале, гляделись все окрестности. С одной стороны бесчисленные стада овец и табуны лошадей паслись на роскошных лугах и с высоты казались пчелами, порхающими над морем радужных цветов; с другой из чащи прелестной рощи, как будто насаженной рукою человека на равной покатости, выходил дым. Это был верный признак жилища кочующего народа. Сколь ни хотелось казкам скорее попасть в жилье человеческое, но было бы безрассудно и даже дерзко при увеличивающейся темноте вечера пуститься с крутой, высокой горы, изрытой бездонными пропастями. Казалось, Провидение сжалилось над странниками, подав им неожиданно способ выполнить их желание и вместе с тем доставив случай увидеть великолепнейшее зрелище. Вдруг загорелось озеро разноцветными огнями, пламя легкими метеорами слетало с берегов, дабы свободнее виться и играть над поверхностью тихих вод. Самые глу-

бокие рвы и ущелья, самые непроницаемые дубравы и леса, покрывавшие исполинскую гору, озарились ярким светом и привели в испуг стаи нетопырей и хищных зверей, находивших тут безмятежное убежище.

Всякий другой был бы поражен сим феноменом, но казаки, отгадав, что это не что иное, как обыкновенный способ кочующих народов утучнять свои луга, поспешили воспользоваться мимолетным заревом, дабы поскорее спуститься с горы. При свете огня они легко отличили целый аул, разбросанный между деревьями, в самом живописном виде; но они крайне удивились, не нашедши живой души ни в одной из десяти кибиток, составлявших оный. Ермак думал, что жители со страху разбежались при виде многочисленной его дружины, и Кольцо, знавший совершенно по-татарски, собрался уже идти в лес отыскивать их и уговаривать возвратиться, как все услышали странный гул из кибитки, стоявшей несколько в отдалении. Все кинулись к ней: у кибитки подняты были нижние по́лы, а потому можно было видеть все, что ни происходило внутри ее. Она наполни-

на была людьми, большими и малыми, мужчинами и женщинами, которые с таким подострастием глядели на что-то, кружившееся посередине с необычайной скоростью, что не заметили их прихода. Когда круги сего вертящегося существа стали тише, слабее, то сперва обозначилось человеческое лицо, потом появилась человеческая фигура, и наконец, из всего этого ясно можно было отличить старика с седой бородой, одетого в широкий кафтан, крепко подпоясанный так, что полы одного при быстром кружении образовывали горизонтальную плоскость, из коей торчало зеленое пятно, составлявшее вершину острой чалмы его. Наконец, сей удивительный старик упал на землю, и несколько башкирцев, по-видимому из старейшин, кинулись к нему с благословением. Долго не произносил он ни одного слова, наконец воскликнул: «Алла! Ишь Аллах! Един пророк Магомет на небе, един царь Кучум на земле. Неверующие да погибнут яко прах. Смотрите, уже табуны их во власти неверных, юрты их разграблены, рассеяны, жены и дети увлечены в неволю. Смотрите, вон спускаются враги с гор, яко весен-

ний поток все ниспровергающий...»

Весьма естественно, что слова сии показались пророчеством, когда образумившиеся башкирцы увидели себя окруженными множеством людей воинственной наружности. Сначала, казалось, оставались они в недоумении, во сне или наяву сие видят? Но скоро вой и стенания женщин, плач детей, подобострастие мужчин, которые все поверглись на землю, как будто испрашивая помилования, доказывали, что они действительно приняли казаков за неприятелей и не прежде вышли из сего положения, как когда Ермак, подозвав к себе нескольких аксакалов (седовласых старцев), уверил, что они пришли друзьями, а не врагами и никакого им зла не причинят.

Между тем и пророк очнулся.

– Что это за сумасшедший? – спросил Ермак у Кольца.

– Это один из ревностных поборников ислама, называемых дервишами, – отвечал он.

– Эти сумасброды, слышал я от Грозы, более самой храбрости Кучума содействовали распространению его власти в Сибири.

Башкирцы, видя, что ни дома их не горят,

ни жен их не тащат в неволю, ободрились, стали по одному расходиться по жилищам своим, и вскорости в кибитке не осталось никого, кроме хозяина Султана Уса-Ушина, который был старшиной аула. Ермак приказал ему похлопотать об угощении его дружины наилучшим образом.

Вскоре перед каждой кибиткой затрещали дубовые костры, и завертелись на деревянных вертелах жирные бараны. Гостеприимные номады вытащили из жилищ своих все, что только имели для утоления жажды и голода гостей своих: приносили полные меха кумыса[39] и арьяна[40], и казаки, хотя морщились от неприятного запаха сего степного напитка, но, распознав его опьянелость, опоражничивали турсуки[41] не хуже самих хозяев.

Во все сие время Ермак не спускал глаз с дервиша, который соблюдал глубокое молчание и бормотал молитвы, перебирая четки.

– Скажи, верный служитель Корана, – спросил атаман, сев подле него к огню, – скажи, по какому откровению или праву отклоняешь ты сей народ от подданства царю белому?

– По праву правоверного, которое честнее твоего права, – отвечал угрюмо дервиш.

Ответ сей задел за живое Ермака и Кольцо, они взглянулись, и тогда, как второй готов был вспыхнуть от гнева, первый с хладнокровием возразил:

– Ты ошибаешься, эти добрые люди не обижены царем московским, их клятве верят, им не грозит постыдная смерть, они не вынуждены защищать жизнь и честь...

– Знаю, атаман, все обиды, все оскорбления и несправедливости, тебе сделанные; но за это молят правоверные о тебе великого Аллаха.

– Почему ты меня знаешь? – спросил с удивлением Ермак.

– В Азове все тебя знают, все о тебе говорят.

– Что же говорят? – спросил Ермак с возрастающим любопытством.

– Благодарят тебя, а более твоего товарища, который изменил вам, без чего вряд ли московцам одолеть вас.

Атаманы опять взглянулись, и Кольцо невольно бросил взгляд на Мещеряка, который, желая отклонить от себя намек, спросил

с величайшей дерзостью об имени изменника.

– Забыл, – отвечал дервиш, – кажись, он из татар.

Но в это время перебил Ермак речь его с умыслом или от нетерпения вопросом:

– Не был ли ты в Раздорах?

– Поздно хватился, – заметил со злой усмешкой мусульманин, – скоро запустеет и место, где было ненавистное гнездо ваше. Казаки, которые остались в живых и не разбежались, преданы в неволю. Азовский рынок два базара битком набит был невольницами и ребятишками; всех расхватали, так что старый атаман не застал уже своей дочери, которую приезжал было выкупать...

Из сих последних слов дервиша атаманы ясно увидели, что дело шло о Луковке и Велике, невесте бедного Грозы.

– Куда девалась эта девушка? – спросил Кольцо.

– Не упомяну, – отвечал дервиш, – купили ли ее для гарема крымского хана или сибирского царя. О! Она будет блаженствовать как гурия в Фирдевсе и, право, стоит того по кра-

соте своей. В гареме святого пророка Магомета не было краше ее между шестьюстами одалисками...

– Подумай хорошенько, любезный, авось вспомнишь, кому она наверное продана, – спросил с приметным участием Ермак.

– Кажется, Кучуму, – отвечал недоверчиво мусульманин. – У бухарца Нургали, который торговал ее для сибирского царя, больше денег, чем у армянина Лазаря. Он заплатил два мешка да десять кусков ханзы и пять сусью и тотчас же отправил ее в крытой арбе в Астрахань.

– Вот тебе вдвое, вот тебе втрое, дам более, – сказал с чувством Ермак, – купи себе коня, двух, трех, скачи день и ночь, догони несчастную и выкупи...

– Вижу, атаман, что ты очень сострадателен к пригожим гуриям, – заметил лукаво дервиш, – я с радостью выполнил бы твою волю, только теперь уж поздно: бухары давно за Мангишлаком.

– Ах! Как бы мне хотелось оказать эту услугу нашему храброму товарищу! И как же иначе можно доказать дружбу, как не пособием в

напастях сердечных? – продолжал атаман со вздохом. – Я готов отдать дервишу все, что ни имею, лишь бы обрадовать Грозу...

– Нет, атаман, – сказал дервиш, возвыся голос, – ты не так богат, чтобы дать более царя сибирского. Серебру и золоту у него счету нет, а есть один только способ получить пленницу из самого гарема его и все, что вы ни пожелаете.

– Говори! – вскричали в один голос оба атамана.

– Звезда ваша заблестит ярче дневного светила, мрак жизни вашей ниспадет как черное покрывало полуночи, когда восходит на небе светлая луна...

– Говори скорее! – вскричал атаман Кольцо в нетерпении.

– Что вы теперь, куда приклоните головы свои? Царь московский, а с ним и Бог русский отвергли вас...

– Довольно, мы без тебя знаем, что делать, – сказал сердито Ермак.

– На родине ожидает вас позорная смерть, – продолжал дервиш, не внимая словам Ермака, – родные и ближние отреклись от вас;

своими руками выдадут вас паше русскому, приведут вас на торговую казнь... Падете ли от меча или с мечом в руках – ад примет души ваши... Признайте великого пророка и наместника его – царя Кучума, – и мир воссияет для вас светом радости, царь сибирский прольет на вас все свои щедроты, за дверьми гроба ожидают вас объятия вечно юных гурий – на лоне роскоши и безмятежного блаженства...

– Дервиш, – сказал Ермак с важностью, – прощаю тебе слова твои и помышления: ты исполняешь обет свой и долг, но ты не знаешь казаков, не знаешь, что ничто на свете не в состоянии поколебать казака в его вере, – он не изменит Христу Спасителю ни в счастье, ни в несчастье, не отречется от него ни ради всех благ мира, ни ради мук ада! Казак верует не прелестям чувственным, а блаженству душевному...

Хотел ли Ермак окончить скорее разговор о столь важном предмете с незнакомым ему человеком или по каким другим причинам, только велел дервишу удалиться. Надобно заметить, что дервиш сей принадлежал к секте

Мевлева, знатнейшей на Востоке, настоятель которой, или шейк, происходивший по прямой линии от Джелладина, один только имеет право опоясывать турецкого султана османовой саблей в день вступления его на престол оттоманский. Тридцать два монашеских ордена, старавшиеся превзойти друг друга странностью обрядов и неистовствами, возвещали магометанство в Азии, обещая изнеженным обитателям Востока невоображаемые блаженства и наслаждения в зеленеющих садах Фирдевса, на лоне вечно юных гуррий; и начальное основание сих обществ, возникших в Турции, наподобие китайских бонз, индийских календеров и персидских дебуесов, приписывают Джелладину. С тех пор эти странствующие поборники ислама, обошедшие Азию, проникли, наконец, за железный хребет Урала, и в самое короткое время священные капища Рача должны были уступить место мечетям Магомета, и только на одних неприступных снегах Сибири открыто курились еще жертвенники идолопоклонства.

Глава девятая

Козни Мещеряка. – Встреча Ермака с Грозною. – Страдания Грозы в плену у башкирцев. – Шаман-спаситель. – Брязга возвращается из великой Перми. – Дары Строгановых. – Злые умыслы Мещеряка.

Уже более месяца гостил Ермак со своей дружиной у добрых, странноприимных башкирцев; их беззаботность и довольство представляли пленительную картину патриархальной жизни праотцов рода человеческого. Эта беззаботность сообщилась, казалось, всем казакам: они, казалось, были довольны своим положением; только Ермак при всей скрытности обнажал иногда скуку от бездействия и незнания будущности. Наконец, он решился отправить атамана Кольцо к подземелью – узнать о судьбе оставленных там на страже казаков и наведаться, не посещали ли его московцы?

Ермак, оставшись один с Мещеряком, сначала удалялся его сообщества, ибо сердце его

не лежало к этому товарищу, но вкрадчивость, хитрость и наглость сего последнего скоро так сблизили их, что Ермак стал час от часу более находить удовольствия в его беседе, стал более верить его невинности, нежели неприязни к нему атамана Кольца, и преданности его к правому делу: так называл Мещеряк сопротивление Ермака воле Иоанна. Пользуясь отсутствием Кольца, он начал смелее приводить в действие свои коварные замыслы, перевел к себе в кибитку своего наперсника Самуся, дабы при помощи его успешнее расставить сети доверчивости Ермака.

Однажды в полночь, слыша, что Самусь спит, подобно ему, сном злодея, то есть ворочается с боку на бок, он подозвал его к себе и сказал:

– Наконец мне пришло в голову, как поймаешь на удочку атамана, только ты не подгадь.

– Научи, – отвечал Самусь, – а то сам ведаешь, умею ли справлять по твоим наказам.

– Слушай же: уже на восходе солнца возьми с собою Чабана, да и пойдите на озеро к го-

ре удить рыбу. Атаман повадился гулять в ту сторону. Как увидите, что я стану его подводить к вам поближе, то вы и разболтайте погромче про бывшее побоище в Раздорах. Я уже толковал Чабану, что ему говорить, а ты только показывай недоверчивость к его речам.

– Хорошо, старое я все помню; но признаюсь, что не сумею, как вывернуть поискуснее твой побег от стрельцов, если дойдет до того речь.

– Это всего легче! Ермак совершенно уверен, что я нарочно завел москалей в леса и горы для того, чтобы лучше от них вырваться и его остеречь. Отцу родному не поверишь, ха, ха, ха! что я вел их на него и от того только не наткнул, что сам сбился с дороги. Сказать правду, брат, радехонек был, что утащил ноги, а то чуть проклятый опричник не вздернул меня на осину, даром что я помогал ему в Раздорах морочить Луковку и дурачить весь Дон, а Мурашкину указал все завалы и притоны казацкие...

До самого утра продолжали они разговаривать и, едва показалось красное солнышко,

принялись выполнять свои замыслы. Мещеряк взял фузею и пошел на охоту. Найдя Ермака в задумчивости на берегу озера, он весьма искусно разбил его думы и подвел к любимому его разговору.

– Право, Ермак Тимофеевич, если б ты послушал рассказы Иоанновых воинов, – сказал Мещеряк, – то, верно бы, решился истребовать своим мечом прощение не только себе, но и Донскому Войску...

– Кажется, после того урока, который дали нам москали в Раздорах, – отвечал Ермак с усмешкой, – подобное предприятие было бы безумно.

– Воля твоя, а я с тобою не согласен. Тебя одолели не силою, а изменою. У нас не было единодушия. Если б на азовской дороге Гроза сторожил татар, а не Велику, а храбрый Кольцо не обольстился ласковыми словами воеводы и подкрепил тебя вовремя на затоне, то дело бы обернулось иначе: сами московцы сознаются.

– Ты и московцы твои, – заметил сердито Ермак, – весьма ошибочно толкуете нашу невзгоду. Гроза не прозевал, а прогнал татар,

несмотря на то, что они были вдесятеро его многочисленнее; а Кольцо опоздал не от того, что польстился на предложение воеводы, ставшего соблазнить его, а потому, что должен был пробиться сквозь сильный отряд москалей, которых Смага пропустил ему в тыл.

– Да что ты не говори, Ермак Тимофеевич, а дело было не так! Грозу одолели татары, когда он кинулся на выручку к Велике, которую они схватили с его провожатыми на переправе, а Кольцо, не в укор будь ему сказано, подался было на обещание Мурашкина, да побоялся есаула Самуся.

– Это вздор, совершенная клевета! И про тебя мало ли что толкуют.

– Желал бы, право, знать, что про меня говорят? – спросил Мещеряк с притворной беспечностью.

– Да вот что: будто ты нарочно передался москалям, что ты им указал все наши засады, что ты хотел убить Грозу и мало ли еще что?

Если б Ермак мог видеть сердце Мещеряка, то легко прочел бы в нем радость при открытии столь искусным образом всех против

него обвинений; ибо хитрец знал, что явный враг не столь страшен, как тайный, и что коварством и лестью успевают оправдываться самые злодеи в глазах недоверчивых судей и обращать подозрение на своих противников.

– И верно, все это говорит честный твой Кольцо, – заметил Мещеряк со злобным смехом. – Ага! Боится, чтоб на него не пало подозрения... А вряд ли и Гроза не по его милости пострадал?

– Что ты хочешь сказать?

– Ты, вижу, крепко предупрежден против меня, Ермак Тимофеевич, а потому напрасный труд разуберять тебя. Но признайся, слышал ли от меня хоть одно слово про Кольцо и Грозу? И теперь не сказал бы, да к слову пришлось... Заметил ли ты, что Кольцо всегда от меня удалялся, да и Гроза, если б не расчел удобнее пробраться в Астрахань или другой московский город, чем скитаться с тобою по подземельям и лесам, – проворчал Мещеряк, как будто сквозь зубы, – постарался бы от меня отделаться. Вишь, в московском стане болтали, пожалуй верь слухам, что наши-де атамань, встретясь на сражении, повздорили

между собою, корили друг друга изменниками, трусами.

– Ложь, совершенная ложь, и по тому одному, что Кольцо никогда не выходит из себя.

– Конечно, и рыба ищет себе глубже, то человеку не грех пошарить, где лучше, – сказал со смехом Мещеряк. – А вернее всего спросил бы ты Чабана: он много слышал правды в московском стане.

– Не хочу и спрашивать, зачем обижать храбрых атаманов.

– Воля твоя, а Чабан открыл бы тебе глаза...

– Я ему не поверю, хоть бы он разбожился. Его клятва не стоит одного слова Кольца и Грозы.

– Кольцо чай не советовал тебе, как я, идти на Москву?

– Без сомнения.

– Я это знал... Он получил прощение Иоанна и не с мечом в руках... Ха, ха, ха! А нам, Ермак Тимофеевич, боюсь, остается один этот способ выпутаться из беды. Право, пожалей, что меня не послушал; право, тебе стоит показаться с твоею дружиной на Волге...

– Ты ошибаешься...

– Нет, Ермак Тимофеевич, не ошибаюсь. Я довольно слышал от самих воевод московских, что Иоанн только тебя одного боится и невесть как обрадовался, когда узнал, что князь Курбский убежал к ляхам, а не на Дон. Слава твоя гремит повсюду. А всякому терпению бывает конец.

В столь жарком разговоре Мецерьак неприметно привел Ермака к такому месту, откуда, полагал, слова его соумышленников могли быть явственно услышаны, а для вернейшего успеха оставил его под предлогом, что не хочет потерять лучшего времени для охоты при восходе солнечном. Ермак был также рад остаться один, чтобы поразмыслить об их разговоре, и, найдя место весьма уединенным, сел под тень столетнего ясеня.

Действуя всегда открыто и прямо, не любя ни подсматривать за чужими поступками, ни подслушивать чужих речей, он долго пропустил мимо ушей доходившие до него слова двух казаков, беспечно удивших рыбу в озере; но имена Кольца и Грозы, часто повторяемые в их разговоре, обратили невольно его внимание. Может быть, Ермак надеялся узнать что-

нибудь новое о своем друге, которого отсутствие крайне его беспокоило и огорчало.

– Воля твоя, братенек, – говорил коварный Самусь, – а меня вера неймет, чтобы храбрый атаман Кольцо мог до того забыться...

– То, право, чудо, но я своими глазами видел, как он хватил ножом Грозу. После покался, да уж поздно. Слышно, они помирились и свалили всю вину на Мещеряка. Вишь, думали, что он не вернется из плена. Как-то они теперь поладят?

– Экое диво! Кольцо и сам Гроза, коли не покажется ему у москалей и он вернется к нам, будут беречься Мещеряка и его не тронут, а он не посмеет на них донести.

– Думаешь, и обманут так атамана нашего? Нет, брат, Ермак Тимофеевич себе на уме, насквозь видит человека, даром что смотрит в землю.

Ермак, услышав шаги проходившего поблизости человека, вскочил со своего места и пошел в противную сторону. Ему стыдно было не только свидетеля, но и самого себя. Однако, по удивительной странности, он встретился с тем, с кем бы всего менее хотел, имен-

но с Мещеряком, возвращавшимся, по словам его, в аул, чтобы переменить огниво, а правду сказать, желавшим нетерпеливо видеть действие своего умысла.

Может быть, он успел бы открыть впечатление, которое сделал на душу Ермака коварный его умысел, если б слышавшиеся вдали слабые стоны не разрушили всех его планов. Ермак, всегда готовый на помощь ближнему и на защиту бессилия, вернулся и скороыми шагами пошел туда, откуда раздавались сии плачевные звуки. Тщетно Мещеряк старался остановить его или уговорить обождать, пока он кликнет несколько человек на подмогу. Ермак не хотел дожидаться, и Мещеряк видел себя вынужденным за ним следовать, несмотря на непонятное к тому отвращение. К счастью, Ермак, оглянувшись назад, увидел множество казаков своих, выбежавших из кибиток, и какое-то необыкновенное движение в ауле. Он хотел воротиться, но, раздумав, послал туда Мещеряка – узнать причину оного, а сам продолжал путь свой.

Ермак уже без успеха собирался в аул, куда призывало его также любопытство, как по-

вторенный стон подстрекнул его углубиться далее в лес. Мудрено изобразить восхищение атамана нашего, когда, пройдя несколько шагов, он нашел под навислым сокером Грозу в крепком сне. Боясь прервать его сладкое отдохновение, которое, по-видимому, ему было необходимо, он сел подле него. Впалые щеки, желтое, бледное лицо показывали крайнее его изнеможение. Он рассуждал, каким чудом мог Гроза здесь очутиться, и один, как заметил вдали странную фигуру, к нему приближавшуюся. К счастью, он скоро узнал в этом чучеле шамана Уркунду, который, также узнав Ермака, пал на землю и, подняв голову вверх, страшно исковеркал свою рожу – в доказательство своего удивления и радости. Чувство сие было не в меньшей степени у Грозы, когда он, открыв глаза, увидел перед собою Ермака. Он не верил своему счастью, был в восхищении, но вдруг принял пасмурный вид, когда атаман открыл ему причину, побудившую его оставить подземелье. Гроза хотел было рассказать ему разговор Мещеряка с русским воеводой, им подслушанный; но, побоясь, что Мещеряк успел и оному дать

столь же хитрый оборот в свою пользу, как самому предательству, оставил до того времени, пока не найдет удобнейшего случая обнажить злодея, и начал удовлетворять любопытство Ермака насчет своих приключений.

Читатель, без сомнения, вспомнит, что Гроза упал без чувств на песчаной степи после изнурительного странствования в продолжение целой ночи по горам и лесам.

— Когда же я очнулся от чрезвычайной тряски, — продолжал он, — то нашел себя в странном положении: я привязан был к лошади, которая с быстротою птицы мчалась за каким-то всадником. Кричать я не мог, да и он меня не слышал бы; оставалось терпеливо переносить всевозможные муки, голод и жажду, мучившие меня до крайности. При закате солнышка мучитель мой остановился близ большой реки, снял меня с лошади и, не развязывая рук, кинул на землю. Потом всунул мне в рот сухую лепешку, но о воде я напрасно его умолял дать хоть капельку, он не внимал моим просьбам. К счастью, невдалеке я заметил потное место. Прикатившись к оному, с жадностью я сосал мокрую траву и грязь

и скоро впал опять в беспамятство. Это было, конечно, моим счастьем, ибо я не чувствовал тех бесчеловечий, кои употреблял мой мучитель для приведения меня в чувство, полагая, что я притворяюсь. Я ужаснулся, когда, раскрыв глаза, взглянул на себя. Я был весь избит, изувечен и кинут в самый грязный угол кибитки вместе с собаками. Каждый день я умирал с голоду; но это невольное воздержание с соседством с добрыми животными, без сомнения, много содействовало к моему исцелению. В неделю я так поправился, что мог уже ходить. Тогда хозяин мой, призвав меня к себе, сказал: «Гяур! Мне давно требовалось пастуха для моих стад, я нарочно выезжал за десять дней, чтобы достать тебя. Ты мне стоишь больших трудов и опасностей, зато, если будешь прилежен, я стану хорошо кормить тебя и одевать; но за первое нерадение сдеру кожу с ног твоих, за второе – обрежу уши и нос, а за третье – вытяну у тебя жилы. Пуще всего, гяур, не вздумай бежать! Знай, что все покушения твои будут напрасны, а наказание ужасно».

Ты согласишься, Ермак Тимофеевич, что

Гроза не утрастился таких угроз и не далее как через четыре дня решился доказать оное на самом деле. Хотя со мной мало разговаривали домашние, но из некоторых слов и намеков узнал я, что хозяин мой, Ак-Кусюк, был старшина башкирского аула, кочующего на меже с Киргиз-Кайсацкой степью, в десяти днях доброго пути от Волги. Должно думать, что из недоверчивости ко мне он поручил пасти табуны с лошадьми наемному татарину и нарочно распустил слух, что уезжает из аула на несколько дней, дабы испытать меня. Ночью, как все улеглись в ауле, я выбрался тихонько из моей кибитки и пустился по звездам на запад. Всю ночь я бежал не останавливаясь и присел только на восходе солнца, когда полагал, что прежде полудня доберусь до гор и лесов, кои уже синелись в глазах моих. С прежней неутомимостью я шел и все утро, но леса и горы не приближались – так отдаленность обманчива в степи. Но вот и они уже были близки, ночью я мог отдохнуть в безопасности, как слышу сзади себя шум наподобие бурана; удваиваю шага свои, а гул становится все ближе и ближе. Наконец, яв-

ственно могу распознать конский топот. Что делать, как спастись? Придумал прилечь в высокий бурьян, авось буря пронесется мимо; но не тут-то было: два ужасных наездника на скакали прямо на меня, и когда я готовился дорого продать свою свободу, кинувшись на первого с небольшим ножом, который я только мог достать в кибитке, вдруг почувствовал прекращение своего дыхания. Другой башкирец проворно накинул мне на шею мертвую петлю с длинной своей пики и потащил меня за собою полумертвым. Когда я очнулся, то лежал связанным в прежнем ауле своем. Скоро вошли в кибитку два башкирца зверского вида; с ними приблизился ко мне хозяин мой и, не сказав ни слова, не произнеся ни одного упрека, поднял меня за ноги вверх, а другие два товарища его принялись бить меня по подошвам жидкими ремнями. Кровь лилась рекою, а они не переставали, и до того секли, пока не осталось ни одного лоскутка кожи не только на пятках, но и на пальцах и у меня потемнело в глазах от нестерпимой боли. Мучители не удовольствовались сим ужасным истязанием, нет! Они втерли в подошвы мел-

кие конские волосы, так что, когда ноги мои и поджили, я не мог долго приступать на них, а ползал на коленях и навек бы остался калеккой и невольником, если бы этот благодетельный человек, – указывая на шамана, – не явился ангелом-хранителем для освобождения и исцеления меня.

Долго рассказывать тебе, Ермак Тимофеевич, про мои страдания, каюсь, прости Господи грехам моим, я собирался сам наложить на себя руки, как однажды, когда я пригнал стадо свое со степи, увидел толпу башкирцев, бежавших к высокому кургану, который считался заколдованным. Не знаю, почему и я, равнодушный до того ко всему, меня окружавшему, поплелся кое-как за другими следом, и каково же было мое удивление, когда я узнал в шамане нашего приятеля Уркунду. Он совершал жертвоприношение, как мне сказала старушка, для открытия вора, уведшего уже с месяц у соседа нашего Култубая любимую его лошадь. Сие заставило меня внимательнее смотреть на все его действия, и я увидел, как Уркунду руками, дымящимися кровью, вырвал из трепещущей жертвы сердце

через прорезанное против него отверстие и, смотря на его биение, принимал странные телодвижения и пел отвратительным голосом призывания дьявола Хасево-шаляндугу. Потом, отрезав кусок от сердца и обмакнув его в горячую еще кровь овцы, принесенной в жертву, проглотил его, а остальное кинул в пылающий перед ним костер. После сего, к общему всех удивлению и ужасу, он проворно вскочил в середину черного дыма, от того происшедшего, и грозным голосом вскричал: «Шайтан! Ты свое дело сделал, я знаю вора, и завтра, Култубай, найдешь своего коня на старом месте». И действительно, когда на другой день Култубай вышел из своей кибитки, то нашел лошадь свою привязанной у входа.

Этот успех обратил к шаману общую доверенность башкирцев, сопряженную с немалым страхом. Все просили шамана поворожить: один – воротится ли сын его с баранты (разбоя)? Другой – что родит ему жена, сына или дочь? Третий – долго ли ему жить и прочее; но Уркунду объявил всем решительно, что шайтан отказывается служить ему, доколе поганый христианин останется в ауле и не

кинут будет в чертову яму, где будут стеречь его три дня три шайтана.

Я этого ничего не знал и преспокойно пас свое стадо в степи, как подъезжает ко мне мой хозяин с тремя башкирцами и, приказав сесть скорее за себя на лошадь, скачет во всю прыть. Отъехав верст двадцать пять, мы остановились, и они сунули меня в узкую глубокую яму, которую завалили огромным камнем. Видно, башкирцы думали, что шайтаны станут и кормить христианина, что не оставили со мною ничего для поддержания моего существования. Я положил, что меня хотят уморить с голоду и боялся более мучений, чем смерти. Хотя я привык уже довольствоваться весьма малым, но на другие сутки голод, в особенности жажда, начали меня мучить, и я несколько раз пытался отвалить камень, чтобы освежиться хоть одной каплей росы, но не мог даже пошевелить его. Вдруг слышу, что камень мой начинает колебаться. Я не знал, радоваться или печалиться, как знакомый дикий голос шамана велел мне поскорее вылезать. Несмотря на слабость свою, я не заставил себя долго дожидаться, и, лишь

только вылез на чистый воздух, Уркунду дал мне напиться из полного турсука кумысу, что вдруг подкрепило мои силы. Невдалеке мы нашли четырех взнузданных лошадей. «Садись скорее верхом, – сказал шаман, – и держи крепче заводную лошадь». С сим словом он пустился как стрела.

Целую ночь скакали мы без отдыха, наутро, освежась кумысом и пересев на новых лошадей, поскакали далее. С величайшим усилием усталые кони довели нас к вечеру до реки, поросшей высоким тростником. Уркунду приказал мне тотчас лечь, чтобы подкрепиться сном. Разумеется, что я не стал себя просить, не знаю, долго ли я спал, только было темно, когда он разбудил меня и повел в тростник. Когда добрались мы до берега, то я увидел плот, весьма искусно сделанный из камыша. Мы тотчас на него сели и пустились по течению реки. Нас несло с ужасной быстротой, и это подало мне случай удивляться величайшей легкости, с какой управлял нашей утлой посудиною мой проводник, а более того сверхъестественным его силам. Пове-ришь ли, что, несмотря что две ночи не смы-

кал он глаз с глазом и беспрестанно был в трудах, – казался бодрым и неутомимым. В целый день он не ответил ни на один вопрос мой и переменил суровость свою впервые, когда мы перед закатом солнца пристали к густому лесу. Но и здесь спаситель мой не предался отдыху: с рассветом дня он отправился за целебными травами и стал меня лечить. Можешь представить, сколь медленно было наше путешествие, ибо, несмотря на чувствительное облегчение от его лекарств и желание удалиться от опасности, мы в неделю, думаю, не перешли более пятидесяти верст, и не знаю, к зиме дотащились ли бы до подземелья. Сегодня ноги мои совершенно отказались служить мне, и я упросил шамана отдохнуть здесь хоть несколько дней, как Господь услышал мои стенания и положил конец моим мучениям.

Тут друзья снова обнялись и повторили взаимную радость. Ермак признался, что не знал, к чему приписать его отсутствие, и начинал уже терять надежду видеть его в живых! В избытке благодарности шаману он просил его сказать ему, чем он может пока-

зять ему свою признательность за спасение друга?

Шаман, приняв по-прежнему суровый вид, отвечал: «Жизнь за жизнь», и атаманы насилу могли уговорить его удовлетворить их любопытство о чудесном открытии им похищения Грозы и его спасении.

Почитая то и другое делом самым обыкновенным, Уркунду лаконически и довольно грубо пересказал сие событие следующими словами.

Не нашедши на берегу Камы потребных трав для составления крепительных соков для Грозы и душистых кореньев для курений при совершении жертвоприношений, он удалился на большое расстояние на полдень. Шатаясь по лесу, к удивлению своему, он напал на свежие следы человека. Это увлекло его еще далее в степь, и вскорости он нашел Грозу, лежавшего без чувств на песке. Не в состоянии бывши привести его в память, шаман пошел принести свежей воды из ручья, который находился довольно в далеком расстоянии от того места, близ лесу. Возвращаясь с оною, ему показалось, что он услышал кон-

ский топот в той стороне, где оставил больного, но подумал, что ошибся, ибо никого не видел, когда мог различить предметы глазами. Можно представить себе после сего отчаяние его, когда он не нашел Грозу, а заметил следы конских копыт вокруг того места, где лежал он. Шаман догадался, что его похитил какой-нибудь блуждающий башкирец, и, поклявшись найти его и освободить, пошел по следам его. Тонкость зрения и сметливость скоро довели его до аула, где действительно находился Гроза. К счастью, жители оного не совершенно отпали от язычества и более по названию, чем по усердию, были магометане. Шаману не стоило большого труда выведать все, что хотел он, от байгуша[42], коего кибитка, как говорится, небом покрытая, полем огороженная, стояла в некотором расстоянии от прочих, а умилоствление шамана о возвращении ему пропавшей овцы, которую Уркунду заметил по бляению в Чертовой яме, когда проходил мимо нее, было поводом, что и Кутлубай прибегнул к нему же для отыскания своей пропажи. Остается сказать, как искусно достал он лошадей и какие взял меры для без-

опасности.

Первой ворожбою его по изгнанию христианина из аула было об успехе предполагаемого набега на одного киргизского султана, отогнавшего их табун прошлой зимой. Призванный им шайтан объявил через уста своего служителя, что для совершенного успеха повелевает ему четыре ночи ездить на четырех лошадях вокруг аула, дабы вогнать силу и мужество не только во всадников, но и в коней, что в это время все жители от мала до велика не должны показывать носу из кибиток своих до самого восхода солнца, иначе пропадут и с ним. Разумеется, что он не щадил ни кривляний, ни диких криков, ни смрадной черноты дыма – для возбуждения слепой покорности воле шайтана. Сему немало содействовали еще ужасные рассказы шамана о видениях, представлявшихся ему в первую ночь, которую он исправно провел на коне, и явления, чудившиеся многим суеверным старухам. Другую ночь, как мы видели, он употребил для освобождения Грозы.

В ауле ожидала Ермака другая неменьшая радость: он нашел там Брызгу и Кольцо, кото-

рые шли уже к нему навстречу.

Самые благоприятные вести были наградой за столь долгое терпение и бездействие. Умные Строгановы приняли с радостью предложение Ермака, честили его посла и прислали в подарок ему соболью шубу, другим атаманам, то есть Кольцу, Грозе и Пану, – по лисьей, а всей дружине – по песцу на шапку и по гривне денег. Все радовались, обольщались надеждою, один Мещеряк считал себя обиженным и с пособием лукавого Самуся, своего достойного наперсника, исподтишка старался дать иной, превратный вид успеху и последствиям сего предприятия. Одних пугал неизвестностью отдаленного пути, других – мстительностью Иоанна, который нарочно велел Строгановым заманить их к себе для того, чтобы погубить, и тому подобное. Шайка легковерных увеличивалась более и более, так что к вечеру Мещеряк надеялся уже иметь решительный перевес в кругу, назначенном на следующее утро с восходом солнца.

Глава десятая

**Буря. – Совещание злодеев. – Зажига-
тельство. – Неудача. – Круг. – Речь Ер-
мака к дружине. – Воззвание Строгановых
к казакам. – Нерешимость дружины. –
Притворство Мещеряка. – Казаки убежде-
ны Ермаком идти на Кучума. – Счастли-
вое предзнаменование. – Предсказание ша-
мана.**

В продолжение целой ночи свирепствова-
ла ужасная буря; но перекааты грома менее
беспокоили Ермака, чем отдаленные думы.
Что касается до успеха будущего круга, то он
уверен был, что если не сила его велеречия,
то сила истины убедит всех последовать за
ним на великое предприятие. Совершенно
противные чувства волновали душу и не да-
ли покою Мещеряку. Он изобретал способы,
как бы тайно разделить дружину, надеясь
сделаться главою противной стороны. Подоб-
но борьбе стихий небесных, необузданные
страсти честолюбия и мщения бушевали в его

сердце. Ему сделалось душно в кибитке башкирской, и он вышел на воздух. Оглушительные раскаты грома, огненные молнии и порывистый вой ветра ответствовали внутренней его буре. С каким-то особенным наслаждением глядел он на пылающее небо. Неожиданное появление Грозы разрушило многие его надежды и замыслы. К тому же он встретился с ним так неприязненно, взглянул на него так подозрительно, как будто отгадывал его намерения. Надобно было освободиться от столь опасного врага и соперника.

Полный сими мыслями, он возвратился в кибитку и, разбудив бережно Самуся, повел его на конец рощи, дабы шум деревьев не мешал им разговаривать тихо.

– Самусь, – сказал Мещеряк, – заметил ли ты, как встретил меня этот башкирский ясырь? Надо от него отделаться!

– Надо, очень надо! – отвечал Самусь. – Тебе, видно, не гребшилось, спал как крот, а я кое-что подслушал.

– Говори скорее.

– Гроза хочет обвинить тебя перед целым кругом.

– Для чего же ты прежде мне этого не сказал?

– А зачем? Чем бы ты помог?

– Как чем? Я бы тотчас закрыл ему рот на веки.

– И это надо умеючи. За ним глядит колдун, словно домовой.

– Что ж – и его с ним вместе.

– Ты совок, да не ловок. Не диво зарезать и пятерых сонных, а нужно свести концы с концами. Я придумал лучше тебя.

– Не мучь, скажи!..

– Ты войди потихоньку в кибитку, да и угомони их, а я мигом запалю ее. Только стукни, смотри, кистенем... Если и не сгорят, то подумают, что убило волею Божьей: по эдакой грозе и не диво.

– Славно! Ай да Самусь, молодец! Только скажи поскорее, что они, проклятые, обо мне говорили?

– Гроза, видишь, перед всей дружиною хочет тебя изобличить в измене, в убийстве, когда ты пырнул его ножом в одежде московского стрельца, как наводил опричника на Луковкин дом.

– Ха, ха, ха! На это, любезный, – прервал Мещеряк, – у меня готовы и отговорки и доказательства. Но все-таки лучше ему зажать рот.

– Злодеи! – раздался голос при треске ужасного грома, и Мещеряк с единомышленником своим вздрогнули, как будто кто ни есть произнес их собственный приговор.

– Что ты слышал? – спросил Мещеряк.

– Будто чей-то голос, но, видно, нам помстилось – никого не видеть.

И закоренелые злодеи пустились выполнять свой адский умысел.

Уже кибитка охватила огнем, а Мещеряк не выходил из нее вон: это удивило и обеспокоило его товарища; он кинулся к нему на помощь и что же увидел при первом шаге в кибитку: храбрый Мещеряк лежал на земле, а Султан стоял над ним с разинутой пастью. Верная собака готовилась вступить в отчаянный бой с двумя убийцами, но внезапно кинула и первую свою жертву, как будто предавая ее в руки своего хозяина, который в ту минуту показался у входа. Мещеряк, опомнясь от страха, выбежал из кибитки, куда

пробился уже огонь, и закричал:

– Убери своего пса, пока оба вы целы, проклятый, чуть не съел!

– И худо сделал, что не съел, – отвечал шаман.

– Шутки не у места, господин леший, а лучше бы спасал своего товарища, чай он дрыхнет, зарывшись в новую-то шубу.

– Боги спасли его от убийц: он давно ушел к атаману.

Между тем Самусь показывал вид, что трудился над потушением пожара. Мещеряк скоро к нему присоединился, а потому прибежавшие казаки не только не могли подумать, чтобы они были зажигателями, но даже хвалили их за усердие. Пожар не имел дальнейших последствий, и только один Султан сделался жертвою злобы и мести злодеев, которые над ним отомстили свою неудачу. В минуты общего смятения Самусь изыскал случай, не быв никем примеченный, поразить двумя смертными ударами бедное животное, а потом при помощи Мещеряка столь же скрытно бросил его на пожарище. Уркунду, найдя на другой день обгорелое туловище

Султана, оплакал его как наилучшего своего друга и поклялся отомстить его убийцам.

После полуночи погода совершенно переменилась, настало прекраснейшее утро, и при самом восхождении солнца курган, назначенный для собрания круга, покрылся казачками. Скоро показался и Ермак; говор, уподоблявшийся жужжанию пчел, умолк, и все стали к нему толпиться ближе. Никогда лицо Ермака не было светлее и веселее. Он поклонился на все четыре стороны и заговорил:

– Нам, храбрые товарищи, предстоит два пути: выберем выгоднейший, достойнейший нас! Первый – соединиться с могучим царем сибирским Кучумом и при его помощи, выгнав москалей из великой Перми, завладеть их богатствами и поместьями. Другой – принять предложение именитых людей Строгановых, построивших на берегах Чусовой и Сылвы укрепления и остроги, вести войну с изменником Кучумом для освобождения первобытных жителей югорских; свергнуть с себя опалу делами честными, заслугами государственными, переменить имя смелых на имя добрых воинов отечества, примириться с

Богом и Русью. Я, со своей стороны, избираю последнее, – сказал он, прослезившись. – Выслушайте грамоту Максима Яковлевича и Никиты Григорьевича Строгановых и решите.

Тут он развернул небольшой столбец и прочел:

– «Храбрые донские воины! Во имя Пресвятая, живоначалныя Троицы, обще нами исповедуемой, зовем вас в благословенную страну нашу оборонять великую Пермь и восточный край христианства. Мы имеем крепости и земли, но мало дружины, имеем жалованную царскую грамоту на землю неприятельскую, но не имеем силы завладеть оною. Пойдемте с мечом и огнем за Каменный Пояс и покорим золотое царство и нечистивого Кучума...»

– Идем в великую Пермь! – закричало несколько голосов, но Ермак, заметя, что голос сей был не общий, сказал без всякого негодования и гнева:

– Если из вас находятся таковые, которые не согласны со мною, пусть скажут свое мнение, пусть представят свои доводы и опровержения – я первый соглашусь с ними, коли

убедят меня.

Мещеряк, ободренный краткостью Ермака, с бесстыдством выступил на сцену и, поклонясь также на все стороны, сказал:

– Мы все уверены, что Ермак Тимофеевич поведет нас туда, где лучше; но да позволит представить, что многие из дружины боятся пуститься в столь отдаленный край, где, слышно, ночи бывают по месяцу, где звери и птицы от стужи на лету мерзнут. Больно оставить родину, страшно лечь костями в снегу студеном! Другие толкуют, что честнее служить царю Кучуму, даром что он басурманский, чем Строгановым. И где торговым людям воевать царя сильного и храброго? Лучше бы им класть на счетах барыши, чем водить рать. Ты боишься царя московского оттого, что худо знаешь положение дел его...

– Веди на Иоанна, умрем за родину! – раздалось в дружине.

– Я вижу, – перебил Ермак с возрастающим жаром, – что те, которые желают брани против Иоанна, худо знают москалей. Русский никогда не поднимет руки на своего царя; он вытерпит от него все несправедливо-

сти, все обиды и жестокости, веруя, что злой царь есть бич, ниспосланный Всевышним в наказание народу, и никакая земная власть его судить не может; что помазанник Божий одному Богу отдает отчет в волоске, несправедливо сорванном им с головы последнего из рабов своих. А потому, поверьте, что Иоанн, несмотря на то, что упивается кровью своих подданных, мучит их, терзает для потехи своей, не уважает ни добродетелей, ни заслуг, ни доблестей, – тверже сидит на престоле, чем турецкий султан после каждого набега казаков на Азов. Поверьте, что к нам пристанут одни воры и разбойники... Пора, братцы, оставить ремесло, противное христианству, – произнес Ермак с чувствительностью и со слезами на глазах, – ремесло, не терпимое ни в каком государстве, и если хотим искать опасностей, то поищем не бесславных... Награды и почести, полученные от признательности царя и отечества, прочнее, благороднее...

– Остановитесь, остановитесь! Идем с тобою в Пермь! – закричали казаки. Истина слов Ермака тронула, проникла в сердца гру-

бые, но еще не лишённые утрызений совести.

Мещеряк, видя неудачу свою, первый сорвал с головы своей шапку и, кинув ее вверх, закричал:

– Ура! Ермак Тимофеевич, веди нас в великую Пермь, на полночь, на край света!

Вся дружина единодушно последовала примеру хитрого Мещеряка: шапки взлетели вверх, и раздалось громкое, радостное:

– Ура! В великую Пермь! На Кучума!

В эту самую минуту упало к ногам Ермака нечто огромное. Гроза и Кольцо схватились уже за мечи, подозревая Мещеряка в новой измене, как внезапное появление шамана обратило на него общее внимание. Уркунду с незаметной доселе в нем важностью и достоинством подошел к Ермаку и голосом пророческим с расстановкою сказал:

– Иди, Ермак, иди на полуночь! Тебя призывают боги отцов моих отмстить нечистивцу, поругавшемуся над чистым их служением, заменившему жертвы, им приятные, бессмысленным учением Корана. Смотри, у ног твоих лежит орел, поймавший лукавого зверя полуночных лесов – черную лисицу. Так ты

именем царя московского победишь черного Кучума и всех завистников; и если боги ниспошлют тебе мудрость для избежания сетей измены, то будешь свидетелем своей славы...

Произнеся последние слова сии, шаман искал, казалось, взорами Мещеряка, но он, как будто по предчувствию, скрылся между тем в толпе народу.

Событие сие принято было казаками за счастливое предзнаменование, ибо никто не заметил, как шаман пустил стрелу в орла, долго парившего над курганом со своей добычей. Во весь день леса и горы вторили торжественное «ура!» и восклицания: «На Кучума! На Кучума!»

Часть вторая

Глава первая

Взгляд на Орел-городок. – Любопытное предание. – Великолепие палат Строганова. – Его богатство и могущество. – Прелестная дочь Максима Яковлевича. – Лифляндский рыцарь. – Безрассудная любовь.

Рука времени изменила наружный вид и многих сибирских пустынь, не менее населеннейшей части России. Кто бы, например, увидя небольшую каменную церковь новейшей архитектуры, правильную слободку, состоящую из бедных хижин, населенных двумястами камских лоцманов, обширные огороды, снабжающие Усолье и Дедюхино поваренными овощами, – подумал, что это место достопамятной столицы Строгановых – Орла-городка, иначе Каргеданом называвшегося, в стенах коего составлено было великое пред-

приятие – завоевания Сибири, из стен коего Ермак двинулся на сей бессмертный подвиг! Но таков закон природы: не выходя из России, найдем убедительные доказательства, что все произведенное рукою смертного, как бы оно огромно, великолепно ни было, дряхлеет, исчезает с лица земли, превращается в тлен, в ничтожество, подобно самому творцу оно! Одно имя, одна слава переживают бытие человека и его творения. Посмотрите, едва кучи камней и колючие тернии указывают теперь страннику о существовании Танаиса, Ольвии, Болгар, а история их перейдет в позднейшие потомства! Мудрено ли после сего, что в Орле-городке осталось мало предметов, напоминающих о его прежнем величии, и только Евангелие, показываемое в церкви, писанное Марьей Яковлевной, супругой именитого человека Григория Дмитриевича, да жемчужные оплечья у других риз, низанные также ее рукою, составляют воспоминание о столице Строгановых, обладателях земель, равнявшихся пространством своим Франции совокупно с Испанией!

Есть предание, что на месте, занимаемом

теперь в Орле-городке храмом Господним, возвышались три огромных дуба, на коих, как Соловей-разбойник, свил себе гнездо огромный орел, бывший ужасом окрестностей. В самом Дедюхине, отстоящем отсюда в пятнадцать верстах, матери должны были сторожить детей своих с бдительностью зоркой наседки, берегущей птенцов от хищничества ястреба. При малейшей неосторожности или удалении ребенка от жилья налетал, или, лучше сказать, ниспадал, как камень с неба, свирепый царь птиц и уносил в мощных когтях своих бедного младенца, несмотря на вопли и стенания выбегавших для защиты его жителей, на тучи стрел, пускаемых ему вслед. Первые его не трогали, вторые как будто отскакивали. Тщетно старались найти его жилище, а справедливее, кажется, боялись открыть оное, ибо между туземцами сохранялся какой-то суеверный страх и благоговение к пернатому хищнику, который питался будто одним человеческим мясом. Страх сей, вероятно, перешел и к русским селенцам Дедюхина, где Строгановы устроили богатые варницы. Однажды это случилось на глазах само-

го Аники, приехавшего из Сольвычегодска взглянуть на свои камские заведения. Напрасно уговаривают его оставить намерение идти в преследование своего неприятеля, напрасно пугают его разными ужасами, изобретенными пугливым воображением язычества: Аника с пищалью в руках и в сопровождении верного своего слуги Провора тотчас же отправился за похитителем по направлению его полета. Они следили его, несмотря что шли частым лесом, коими покрыты были иногда берега Камы. Орел, плавая с добычей своей над вершинами дерев, вел их за собой, как будто с умыслом. Но лес делался час от часу мрачнее, непроходимее: свидетели мироздания – косматые ели и пихты – так друженственно обнимались между собою, что не оставляли почти ни малейшей скважины. С большим затруднением путешественники наши продвигались вперед. Но зачем идти далее? Предмет, ими преследуемый, давно уже скрылся от них, время уже клонилось к вечеру. Аника был в раздумье. Вдруг слух его поражается необычным карканьем ворон, и он видит стаю сих плотоядных птиц, порхаю-

щую вокруг купы высоких дубов. И что же представилось глазам его? В гнездо, устроенное на вершине сих исполинов, принес орел добычу свою и, сев над нею с разинутым от усталости огромным клювом своим, как будто с презрением бросал взоры на шумных подданных своих, жаждавших поживиться остатками его добычи, подобно тому, как волки и шакалы тешатся костями, оставляемыми им великодушным властелином степей африканских после победы слона и носорога! Мгновение, и кровожадный царь камских лесов лежал низверженным у ног Аники: пуля поразила его прямо в грудь.

Усердный Провор показал удивительное проворство в снятии ребенка из орлиного гнезда. Хотя раны, нанесенные несчастному когтями орла, были глубоки и он не показывал ни малейших признаков жизни, но опытный в лечении Аника не отчаивался в его исцелении, приписывая его бесчувственность испугу. И действительно! В скорости от одного действия холодной воды ребенок очнулся, и не прошло месяца, как он совершенно исцелился от язв своих. Аника Федорович, полю-

бив дитятю, чудесно им спасенного, не расставался с ним более. В память сего происшествия к имени Дениса придано было ему прозвание Орел, и Орел имел счастье впоследствии времени оказать своему спасителю такие услуги, что расквитался совершенно за его благодеяния. Одним словом, Орел был правой рукой умного Аники Федоровича во всех делах его, во всех предприятиях, а на старости лет, во время описываемой нами эпохи, был скорее старинного семейства Строгановых, чем слугою.

Аника Федорович сначала, как водилось по-старому в православной России, в знак благодарности Господу Богу за столь явную к себе милость соорудил на месте трех дубов церковь, а потом, мало-помалу любя это место, а может быть, найдя его способнее других для наблюдения за коммерческими сношениями, увеличивавшимися беспрестанно по Каме и Волге, поставил небольшой дом для своего жительствова, а потом и совсем здесь поселился. Правду сказать, что поражение чудного орла живым огнем, о коем мало еще имели понятия, немало содействовало к уве-

личению той поверхности и власти, подобной самодержцу, которую приобрел он умом своим и характером над всеми окрестными народами. Они считали его выше человека и питали неограниченное подобострашие и даже боязнь.

Это же происшествие дало название Орла-городка и самому месту, хотя впоследствии старались переменить его на Каргедан.

Прошло с полвека от времени первоначального основания Орла-городка, уже не было на свете знаменитого его основателя Аники Федоровича, но потомки его имели в нем постоянное пребывание, и Каргедан представлял средоточие жизни и деятельности всего Сибирского края. Начнем с описания стены, коей обнесена была сия грозная крепость. Не подумайте, чтобы стена сия была каменная, или сделана по образцу новейшей защиты, или, по крайней мере, усилена земляным валом или глубоким рвом. Нет! Она состояла просто из высокого палисада с заостренными концами, надолбами и рогатками и с рубленными в лапу клетками или башнями, возвышавшимися по всем углам или завор-

там; а как их было шесть, то и башен считалось столько же. Каждая из сих последних снабжена была пищалью и двумя затинными самопалами или фузеями, которые, грозно выставляя свои заржавленные жерла из бойниц, приводили в трепет целые народы, хотя правду сказать, страшнее были рассказы, переливавшиеся из уст в уста от Студеного океана до моря Хвалынского, о чудесах живого огня, мечущего смерть за двадцать верст, чем самое их действие. Можно было опасаться, что при первом заряде большая часть сих страшных орудий не выдержала бы залпа и разлетелась по кустам: в таком младенчестве находилась артиллерия города Орла, несмотря что Размысл, к ней приставленный, был из немчин.

Ворот в крепости было не более двух, да и то только одни восточные, то есть от реки отворялись, другие же, с противоположной стороны, всегда содержались запертыми, равно как и подлазы завалены были камнями и всякой нечистотою. Прямо против первых ворот находилась пристань, то есть наколочено в берег несколько свай, за которые притяги-

вались суда, приходившие из Дедюхина и с Волги, ибо как вверх, так и вниз по Каме не было другого пути, кроме речного.

Если крепость Каргедан не могла похвалиться исправностью своей артиллерии, то гарнизон ее отличался примерной дисциплиной. Он состоял из ста человек разной нации: немцев, литовцев, поляков, русских, выкупленных у ногайцев, увозивших с собою своих пленных или получавших их в награду от русского царя за содействие в войнах его с Ливонией и божьими дворянами. Быв искуплены Строгановыми из самой мучительной неволи и содержимы в довольстве, немцы служили им ревностно, одни из благодарности, другие – надеясь выслужить свою свободу и возвращение в отечество. Начальником или капитаном сей храброй дружины был рыцарь фон Рек, завладевший вкрадчивым умом своим и приятной наружностью доверенностью Максима Яковлевича. Но, несмотря на неограниченную к нему любовь главы семейства Строгановых, Денис Орел считался еще хозяином, по нынешнему комендантом, крепости и имел непосредственный надзор за

самой стражей. Денно и ночью у речных ворот стояли часовые, а сверх того три раза в ночь ходил обзор вокруг крепости. Бдительный, осторожный Денис с неумолимой строгостью наблюдал за сим порядком и нередко навлекал тем на себя ропот беспечной молодежи.

Взглянем теперь во внутренность Каргеда-на. Против деревянной церкви, окруженной обширной висячей папертью и покрытой чешуйчатой кровлей в три намета, стояли боярские хоромы. Они были также деревянные, как и все прочее строение, исключая казенку, выстроенную из кирпича, в которой хранились господские сокровища. Казенка эта была в несколько ярусов, с узкими галереями, сообщающимися между собой крутыми лестницами. На средней из них привешено было к претолстой балке железное било, а у нижней бегали по канату злые собаки. Стоило бросить взор во внутренность сих кладовых, чтобы получить понятие о богатстве Строгановых, и понять, как частные люди могли предпринять завоевание Сибири на собственном своем иждивии. Нижняя кладовая была напол-

нена золотыми корабельниками, серебряными талерами и заплесневелыми ворохами медных денег и мелких копеечек. Во втором и третьем ярусе стояли вдоль стен и посередине в два ряда высокие сундуки с драгоценными собольими, лисьими, песцовыми и прочими мехами, половинками золотой парчи, балдахина, камки и других шелковых персидских и индийских тканей; по углам в деревянных кадях, обитых железными обручами, насыпан был жемчуг. Эта казенка стояла посреди красного двора и насупротив окон господской опочивальни. Сзади ее тянулся ряд клетей и сушил с разными хозяйственными запасами, которых количество не менее показывало богатство и предусмотрительность Строгановых. Под амбарами устроены были глубокие погреба для хранения чанов и бочек с разного рода медами. Ближе к господским хоромам видно было несколько обширных изб. Одни из них заняты были поварнею, которая служила сборным местом для многочисленной дворни именитого человека, а прочие – людскими, в коих обедало и жило более двухсот человек с их семействами. К странности того

века можно было заметить, что господа мало думали о спокойствии и удобствах своих домочадцев, несмотря на то, что они служили им усердно и верно, потому уголок на печи подле трубы считался роскошью для обитателей людской и давался, обыкновенно, старейшим или больным.

Между сими избами возвышались обширные ворота, ведущие на красный двор. Чтобы получить о них достаточное понятие, стоит взглянуть на подобные ворота, уцелевшие в селе Коломенском от пышного дворца царя Алексея Михайловича, представляющие странное соединение вкуса фламандского с татарским. За амбарами отгорожено было высоким частоколом небольшое пространство, усаженное черемухами, рябинами, кустами черной и красной смородины и полевой малины. Это называлось садом, куда в жаркую погоду вносились скамьи, и именитый человек проводил с отцом Варлаамом несколько часов в благочестивой беседе за кружкой искрившегося меда.

Разнообразие и узорность многих отделений, составлявших боярские палаты, заклю-

чали в себе нечто величественное. Сколько симметрии и согласия необходимы в строениях правильной архитектуры, столько, напротив, беспорядок и пестрота придают красоты в зданиях сего рода. Здесь подле большого окошка, расписанного киноварью с золотом, примечалась волоковая скважина за железной решеткой. Там длинные висячие переходы и чудные терема с чешуйчатым куполом; крутые лестницы к высоким светелкам, освещенным кружочками из слюды; наконец, огромные крыльца с витыми столбами и узорчатыми перекладинами! Вот краткое изображение палат именитого человека, Максима Яковлевича Строганова, коим вряд ли и в белокаменной Москве были равные пространством и великолепием.

Счетная изба была на красных сенях с левой руки. Несмотря на обширность дел и учетов, мало тратилось здесь бумаги и перьев, а все производилось на счетах[43]. Только несколько столбцов с итогами лежало на дне глубокого сундука, запиравшегося висячим замком, и все присутствие конторы ограничивалось дьяком и подьячим. Против счет-

ной избы отличалась широкая дверь с чехлом из красного сукна. Это был вход во внутренние комнаты господские, состоявшие из двух горниц: приемной и опочивальней. Если исключить драгоценные иконы, украшавшие обе передние стены, и богатые ковры персидские, покрывавшие стол и лавки первой горницы, то она не представляла ничего замечательного. Занавески из красного сукна отделяли ее от второй, где стояла высокая дубовая кровать с множеством разноцветных подушек. Третья дверь из сеней, прямо с крыльца, вела в большую светлицу, выстроенную отдельно от прочих, со светлыми окошками с трех сторон. Она определена была для праздничных пиров и угощений. Здесь также кроме огромного шкафа со множеством серебряной вызолоченной посуды, чар, кубков, кандей, ковшей царского жалованья, стоп и бокалов, осыпанных крупным жемчугом, алмазами и изумрудами, не было ничего любопытного. Зато пусть воображение читателя рисует себе сколько можно роскошнее картину восточного великолепия и таинственности во внутренностях пестрых теремов и высоких

светелок, кои, как гаремы правоверных, неприступны были для самого любопытства. Пусть воображение, богатое идеалами совершенств, представляет себе обительницу сих таинственных жилищ под самыми пленительными видами красоты: оно не достигнет до истины ни в том ни в другом случае. Максим Яковлевич, любя с нежностью, доходившей до слабости, единственную дочь свою, Татьяну, и желая вознаградить скуку затворничества, которому обрекались тогда в России богатые и знатные девицы по жестокому закону приличия и ложному понятию о скромности до самой минуты своего замужества, не щадил ничего для украшения ее теремов и светелок. Изразцовые печи с лежанками, вывезенные из Москвы, заморские узенькие зеркала, серебряные умывальники с длинными горлышками в азиатском вкусе, парчовые подушки, драгоценные ковры, раззолоченные решетки у переходов и окошек, наконец, стаи нянюшек, мамушек, горничных, дур, карлиц даны были к услугам и увеселению прекрасной Татьяны. Но веселили ли они прелестную Татьяну? Достаточны ли

они были для составления ее счастья, могли ли заменить ей прочие радости? Это осталось бы доселе тайной, если б догадливый фон Рек, как опытный рыцарь прекрасного пола, не вывел противного заключения и каких-то догадок о жалком состоянии сердца красавицы, из самого ничтожного, по-видимому, обстоятельства.

Однажды на закате солнца он присел к крепостной стене и предался мечтам о бывалом, навсегда исчезнувшем для него мире радостей и счастья, предался мечтам о милой родине, о родных красавицах Эстонии, томных, белокурых... Дикость противоположного берега Камы усугубляла мрачность его воображения, которому ничего не представлялось отрадного, утешительного в будущем, не представлялось даже случая к победе достойного врага или неопытного сердца, чем наравне гордились храбрые рыцари меча. По мере того как померк дневной свет, распространялась тишина, когда, казалось, успокоились самые кузнечики от дневных забот своих, – одна только грудь юного рыцаря волновалась более и более. Вдруг повеял с берега

ветерок, и ему послышался напев приятного женского голоса. Какой случай для романтического приключения! И романтический рыцарь, заметив, что звуки исходили из терема, возвышавшегося над крепостной стеной, осторожно взобрался сколько возможно выше на частокол и превратился в слух.

Чувство, с каким пела невидимка, убеждало, что слова исходили прямо из сердца, были историей ее ретивого, и, хотя слезы несколько раз прерывали томный голос, рыцарь не проронил ни одного словечка. Красавица пела:

*Река быстрая,
Серебристая,
На твою струю
Уронила бы
Я слезу мою.*

*Понеси волна
Слезу горькую,
Безотрадную
На сторонушку
Отдаленную.*

Когда в час тоски

Он стоит у реки,
Призадумавшись,
Пригорюнившись,
И коня поит:

Ты всплеснись пред ним,
Волна, жемчугом;
Ты рассыпья же
Все бурмитскими
Пред ним зернами.

Отскочи одно
Кверху зернышко,
Упади ему
На белую грудь,
Ретивое где!

Нет! не сердце там
Неретивое;
Лед студеный в нем,
Камень твердый то
И безжалостный.

Замерла волна,
Перед молодцем
Разбежавшись.
Разбилось зерно,
В грудь ударившись.

*Лучше мне волну
Не испытывать,
Лучше мне тоску
Одной ведати,
С ней в могилу лечь.*

От того ли, что фон Реку захотелось выучить заунывную песенку, которую пел прекрасный, нежный голосок ежедневно при закате солнца, или он сделался исправнее в своей должности, только не проходило дня, чтобы он в сумерках не выходил из крепости для обзора часовых и не стоял по нескольку часов как вкопанный у подножия высокого терема под прикрытием частокола. «Ах! я дал бы половину жизни, – думал он часто, – чтобы взглянуть хоть раз на несчастную певицу, чтобы утешить ее, разделить с нею грусть ее, тоску, чтобы поплакать на груди ее!» И после многих покушений обратить на себя внимание невидимки также романтически, ему пришла на ум следующая мысль: он подошел к окошку сколь можно ближе со своей цитрой, на которой играл с отличным искусством, и, когда красавица кончила свою песню, Рек повторил ее слово в слово, аккомпа-

нируя себе на своем инструменте. Говорят, что музыка нисколько не уступала выразительности слов, но, к сожалению, она не была столь долговечна, как сама песня, которая уцелела в закамских преданиях и повторяется доселе молодыми поселянками на вечерних посиделках.

Рек ласкал себя надеждой, что серенада его увенчается романтическим приключением, что растворятся непроницаемые до сего решетки терема и он увидит божественную певицу. Но ожидания его не сбылись: тишина в тереме подала ему мысль, что его не слышали. «Быть может, – утешал он себя, – невидимка оставила свое окошко тотчас по окончании своей песни». Если сначала сия неудача показалась только обидною для рыцарского самолюбия, то он приуныл не на шутку, увидев, что серенада его была услышана и принята не так, как ожидал он. Тщетно приходил после этого рыцарь каждый день к терему при закате солнца и оставался там до полуночи, он более не слышал певицу. Не было никакого средства проникнуть в столь мучительную тайну: женская половина была так удалена

от мужской, что прислуга боярышни редко сходила даже в поварню.

Рыцарь наш давно уже ходил повеся голову. Затруднение и таинственность, как и во всех делах, подстрекали его самолюбие и распаляли его воображение. Ему больно было отказать от мечты, обещавшей столько приятностей его романтическому сердцу.

Одним утром, когда, сидя на нижней галерее ближайшего сушила, он перебирал вполголоса все знакомые ему немецкие баллады, пособляя себе аккордами цитры, Рек немало удивился, заметя невдалеке Анисью, любимую карлицу боярышни. Рыцарь до сего не удостаивал внимания сие безобразное творение. Но тут, как сметливый немец, умеющий все обращать в свою пользу, вздумал попытаться, не может ли употребить ее в свою выгоду?

– Здравствуй, прекрасная Анисья Карповна, – сказал он ласково малорослой «красавице», – к чему такая спесь: хоть бы одним глазком взглянула?

Карлица, не ожидавшая подобного приветствия от прекраснейшего мужчины в целом

городе, хотя и нехристь, остановилась в удивлении и, желая, вероятно, улыбнуться с особенной приятностью, прежалко исковеркала свою толстую рожу, разрумяненную, разбеленную, так что самая улыбка бывших временщиков при уверении в дружбе или обещании протекции не бывала столь смешна и отвратительна.

– Куда это летала спозаранку, моя лебедочка? – продолжал Рек.

– К Денису Васильевичу, – проворчала карлица охриплым голосом.

– Чай, старик не сумел ни в чем отказать такой посланнице? – заметил рыцарь с коварной улыбкой.

– Как бы не так! Нет, проклятый кащей и слушать не хотел, чуть не проводил меня клюкою...

– И видно, что выжил из лет. Кабы я был на его месте, то в воду бы кинулся для таких миленьких глазок...

– А он, проклятый, с места не шевелится, не только для меня, да и для боярышни.

– Для боярышни наш брат все сделает из повиновения, а для такой горничной, как

прекрасная Анисья, – из удовольствия.

Анисья не первая из девиц, которые принимают сладкие слова мужчины за истину, которые не примечают своих недостатков, которые, наконец, хотя зеркало докладывает, что некрасивы, утешаются мыслью, что милы, привлекательны. Говорят даже, что сие ослепление к себе было тогда еще заметнее в тех несчастных, на коих природа клала какую-нибудь печать отвержения или негодования. Будто они, вопреки законам строгого уединения прекрасного пола, старались выказывать свои прелести, встречаться с мужчинами и наряжаться в богатые сарафаны и телогрейки. Карлица так была очарована приветствиями рыцаря, что забыла, казалось, о своей обязанности скорее воротиться с ответом к боярышне. Рек это понял и хотел заставить Анисью выболтать все тайны терема, как непредвиденное появление Дениса Орла разрушило его замыслы.

– Что ты, негодница, остановилась тут, – закричал Денис грозным голосом, стуча своей длинной палкой, – вот я проучу тебя по-свойски!

И карлица, едва успев кинуть умильный взгляд на рыцаря, бросилась бежать во все ноги.

– О чем вы болтали? – спросил Орел с веселым видом.

– Просто ни о чем, я побалагурил с красавицей, – отвечал Рек.

– Видно, ты не отстал еще, и побывав в пределе у ногайцев, от рыцарской привычки увиваться около всякого сарафана. А пора бы остепениться, пора подумать о душе и кинуть бесовские потехи.

– И, дедушка, неужели ты не бывал молод?

– То так, дитяtko, но мы и в молодости боялись греха.

– Какой же тут грех смотреть на красных девушек?

– А такой, что он от запрещенного плода, и пока таинство церковное не благословит тебя на обладание девицею, до тех пор не должно смотреть на нее. От чего же ваша братья, неверующие, засматриваются на красавиц, делаются полоумными и погибают? Право, не худо бы тебе, Франц Францыч, потолковать о православии с отцом Абрамом или игумном

Варлаамом. Ты молодец смысленный, Максим Яковлевич тебя жалует. Подумай-ка, худого не будет, – промолвил Денис со значительной улыбкой и потащился в хоромы барские, а рыцарь остался в большом раздумье.

Глава вторая

К*заки у Строганова. – Ситскому угрожает опасность. – Коварные замыслы подьячего Ласки. – Беседа Строганова с Ермаком Тимофеевичем.*

Уже несколько месяцев в Орле-городке заметно было большое движение. Бесперывное беганье из палат в людские, толпы на красном дворе и на погосте новых лиц и нарядов, шумный говор днем и ночью показывали, что в крепости произошло что-то необыкновенное, чрезвычайное.

С восхождением солнца в счетной избе сидел уже на деревянном стуле дьяка с высокой спинкой седовласый Денис Васильевич Орел и, проворно бегая пальцами по черным шарикам счетов, словно Фильд по фортепьянным

клавишам, часто качал головой. Наконец он взглянул исподлобья на дверь, медленно растворявшуюся со скрипом, и, заметя лысину подъячего Ласки, который как будто что-то разглядывал с робостью или осторожностью в избе, опять уткнул глаза свои в счеты. Уже Ласка давно сидел на скамье своей, а Денис не обращал на него внимания; наконец, вероятно, потеряв терпение, подъячий полез в сундук и, кажется, без всякой нужды, ибо шарил в нем довольно долго, запер, ничего из него не вынув. По крайней мере, он успел в главном: шум замка и бряк пробоя заставили угрюмого дьяка взглянуть на трудолюбивого своего подчиненного.

– Что ты тут, мошенник, ворочаешься? – закричал сурово Денис на подъячего Ласку.

– Ничего, ваша милость, ничего, – отвечал сей последний с низкими поклонами. – Так я по приказу твоей милости собираюсь снять списочек с донесения о пелымской битве.

– Кажись, я велел тебе приготовить его еще с вечера. Где ж ты прображничал всю ночь, чай с Мещеряком?

– Напраслина, Денис Васильевич, напрас-

лина! Матвей Федорыч – пречестной господин. Ему бы, право, вести и рать-то в Сибирь, дело было бы вернее...

– Не наше дело судить про это, лучше отвейчай, отчего у тебя руки трясутся, как в лихо-манке? Пьяница! уж и так стал писать по-зырянски, а не по-русски.

– Запишешь и по-тарабарски, батюшка Денис Васильевич, как пятые сутки – день и ночь – пера из рук не выпускал... Воля твоя, а право, не знаю, как служить лучше?

– Не тебе бы говорить, не мне бы слушать, мошенник, о твоём усердии. Давно бы я прогнал тебя на соляные варницы, кабы башка-то твоя не была так умна. Да покажи же, что ты сделал в эти, по-твоему, пятеры сутки?..

– Как что! А не списал ли я для Ермака Тимофеевича все грамоты, жалованные нашим отцам-государям, и не свел ли итога со всех отпусков из подвалов, сушил и кладовых незванным гостям нашим?

– Велика работа! Прежде бывало и на день нечего бы тебе делать.

– То-то и беда, батюшка Денис Васильевич,

что государь наш, Максим Яковлевич, не всегда различает людей: иной в час услужит больше, чем другой в неделю, а милость-то все одна и та же.

– Ну, что нам калякать о пустом, скажи-ка лучше, что твои приятели, казаки, поговаривают?

– Ты ведаешь, – отвечал недоверчиво Ласка, – что я с ними не якшаюсь.

– Зачем же ты живмя живешь в избе у Мещеряка?

– Ведь он, Денис Васильевич, другого десятка человек. Он не буйан и не обидчик, как другие; например, атаман Гроза...

– И учит басурманить[44], – продолжал Денис, смягча голос. – Ведь твой Мещеряк не без языка и не без глаз.

– Правда, Денис Васильевич, он все видит, все знает, да вишь, все идет у них не по его. В угодность твою мы пытаемся с ним уговаривать казаков, чтобы не противились воле Максима Яковлевича, работали бы прилежнее в лесу. И если б не Матвей Федорович, то давно бы ослушались. Мы-де пришли, толкуют буйаны, рубить нехристей, а не сосны и

лиственницы...

– Да что бы они стали кушать, чем бы пропитал государь Максим Яковлевич такую ораву? – вскричал Денис. – Ты знаешь, легко ли доставать хлеб из Нижнего?

– То так батюшка, да, вишь, удалец-то, старый наш знакомец, что морочит всех нас под кафтаном покойника Грозы, мутит их.

– Что ты хочешь сказать? – спросил дьяк, приметно встревоженный последними словами злобного Ласки.

– Так, ничего, Денис Васильевич, я только шепнул атаману Мещеряку да есаулу Самусю, что молодец-то этот, не опальный ли Ситский, который ушел от нас назад тому года с четыре?

– Ты просто врешь – неужто у всех нас глаза хуже твоих, да мы его не узнали.

– А я так узнал и не ошибся: он, точно он. Не годится молокососу, да притом и опальному, подымать нос перед пожилыми людьми. Он и шапки не гнет, встретясь когда с нашим братом – старым слугой государя Максима Яковлевича, и Мещеряка в ус не ставит, даром, что тот на Дону был старше самого Ерма-

ка Тимофеевича. Не помогут ему ни приятель его колдун Уркунду, ни покровитель атаман Кольцо: даст бог, согнем в дугу...

Беспокойство, замеченное на лице сурового дьяка при начале разговора о Ситском, увеличивалось час от часу более. Наконец, при последних угрозах Ласки он вскочил со своего стула и, приказав ему никуда не отлучаться, вышел проворно вон.

– Эге-ге! – заметил подьячий, смотря подозрительно вслед старику. – Он что-нибудь затеял недоброе. Сбегаю-ка посоветоваться с Матвеем Федоровичем.

Денису Васильевичу стоило перейти широкие сени и растворить двери, обитые красным сукном, чтобы очутиться в светлице Максима Яковлевича. Не найдя его в приемной горнице, он заглянул за занавеску, коею, как мы видели, отделялась опочивальня именитого человека. Максим Яковлевич отправлял утреннюю свою молитву: он стоял на коленях пред образом Спасителя и с усердием читал благодарственную молитву Господу Богу за осеяние светом дня сего. На цыпочках потихоньку отошел Орел к окошку и, закинув

руки за спину, устремил взоры свои на двор. Он оставался в том бесчувственном положении, в коем, смотря во все глаза, ничего не видишь, а потому во всякое другое время смешная сцена, как прокрадывался по забору подьячий в избу Мещеряка, обратила бы его внимание. Теперь же промелькнула она как призрак. Легкий удар по плечу вывел его из остоленения; он обернулся и, увидав перед собой Максима Яковлевича, низко ему поклонился.

Максим Яковлевич был одет в черное бархатное полукафтанье, подбитое драгоценными соболями. Он был мужчина лет пятидесяти, среднего роста; небольшая русая борода не скрывала благообразия и приятной выразительности лица полного, нежного. Голубые глаза его, хотя не блистали огнем, но исполнены были ума и сердечной доброты. Приветливость была на устах его; так что Максима Яковлевича можно было включить в небольшое число людей, которые вежливостью и лаской не страшатся утратить своего величия или поверхности. Он постигал тайну великих людей – действовать любовью на своих под-

чиненных. Правду сказать, эта истина дошла и до нас, и теперь простота и обходительность отличают незаимствованное достоинство вельможи; спесь и чванство обличают незаконность его возвышения!

– Что ты призадумался, Васильич? – спросил ласково Орла именитый человек.

– Обо многом нужно утруждать тебя, отца-государя, – отвечал он с поклоном.

– Говори, ты знаешь, что я люблю с тобой беседовать.

– Велика милость, отец-государь, да, вишь, я-то ее не стою и принес свою повинную голову...

– Наперед прощаю тебя, – промолвил Строганов с улыбкой.

– Беда, да и только!

– Постараемся ее исправить. Скажи скорее, в чем дело?

– Поведаю тебе, батюшка Максим Яковлевич, что я обманул тебя в первый и последний раз.

– Признаюсь, Васильич, я не знал, что ты умеешь кривить душой.

– Не говори уж, батюшка, попутал грех.

Помнишь ли ты, как приезжал опричник с царской грамотой о выдаче ему молодого князя Ситского, что приводил в Чердынь стрелецкую дружину? Признаюсь, отец-государь, я скрыл его и выслал на Дон под именем казака Грозы, пропавшего без вести в Пелыме.

– Что ж тут преступного?

– Царь Иван Васильевич прогневался на тебя, но скоро смиловался. Боюсь, чтоб гнев его царский не пал теперь на тебя пуще прежнего, когда донесут, что он у нас.

– Какая нужда! Старайся только, опальный, чтоб его не узнали.

– То-то и беда, отец-государь, что его узнал подьячий Ласка, а он ужас как зол и болтлив, молва может дойти до воеводы царского в Чердынь.

– За меня не бойся, Васильич, отделаемся как-нибудь от опалы царской, старайся только спасти молодца. Скажу признательно, что я сам к нему давно уже признался, несмотря на его бороду и казацкие ухватки.

– Как же прикажешь поступить с ним?

– Подумай сам, а мне кажется всего лучше услать его поскорее в чувовские городки. Ужо

поговорю с Ермаком Тимофеевичем.

Но Ермак Тимофеевич был легок на помине: он внезапно вошел в светлицу, перекрестясь трижды, почтительно поклонился Строганову, а Максим Яковлевич, ласково поцеловавшись с атаманом, просил его садиться в переднем углу.

Ермак был задумчив: молча занял он предложенное ему место, ожидая как бы вопроса. Строганов также молчал, как бы стараясь отгадать причину его посещения.

Сметливый Денис вывел их из затруднения. Приблизившись к атаману, он сказал ему, кланяясь в пояс:

– Бог нанес тебя, батюшка Ермак Тимофеевич, как привелось нам думать думу великую.

– Радуюсь, когда могу быть полезен словом или делом Максиму Яковлевичу, – отвечал Ермак.

– Я хотел спросить твоего совета, Ермак Тимофеевич, как спасти твоего молодца – Грозу, от великой напасти, – сказал Строганов. – Его признали за опального князя Ситского, которого по царскому велению обязаны мы

представить чердынскому воеводе. Злые люди могут довести до сведения Перепелицына...

– Дивлюсь, не хочу верить, – возразил Ермак с приметным негодованием, – чтоб Строганов мог страшиться Иоанна? Нет! я слишком знаю Максима Яковлевича, чтоб Ситскому бояться в Орле-городке, нет! ты его не выдашь.

– Благодарствую за доброе мнение. Мне любо слышать его от Ермака, но вспомни, что в делах общественных пуще всего осторожность, дабы малое обстоятельство не было преградой великим предприятиям. Ты сам знаешь подозрительный нрав Иоанна.

– Неужели Ситский не искупил своей опалы славными делами? Забудем о поражении Мурзы Бегулия, где он был моей правой рукой. Скажем царским воеводам, что Ситский указал казакам путь в пустыни камские, что без него, может быть, Ермак повел бы свою храбрую дружину в другие страны, для другой цели; наконец, скажем, что Ситский есть украшение донской вольницы!

– Такие мысли достойны предводителя

храброй дружины, но подумаем, Ермак Тимофеевич, нет ли еще способа соединить возвышенность чувств и достойную гордость человека с законами... Не можно ли, не раздражая Иоанна, спасти Ситского?

– В таком случае тебе придется таить от царя и обо мне, и о Кольце, и о всех других атаманах, которых головы оценены им, или выдать нас живьем в руки Перепелицына, – присовокупил Ермак с ядовитой насмешкой.

При всей кротости и снисходительности Максима Яковлевича заметно было, что укоризна Ермака крепко его тронула. Но, как муж благоразумный, дальновидный, он спешил только укротить пылкость Ермака, которая могла иметь неприятные последствия; а потому, взяв дружелюбно Ермака за руку, сказал со свойственной ему тихостью:

– Я уверен, дорогой атаман, что ты обидел Строганова, не желая того; обидел в жару приязни к своему любимцу. А в доказательство, что и я умею уважать и любить, пошлю тотчас же просить его сегодня со всеми атаманами, начиная с храброго вождя их, кушать хлеба-соли у моей именинницы.

Таковая снисходительность достаточно была, чтобы пробудить всякого другого, не только Ермака, старавшегося управлять своей неукротимостью. Он почувствовал во всей силе превосходство над собой Строганова как человека государственного, и кинулся к нему в объятия.

Денис прослезился, видя согласие двух великих мужей.

– Мне бы хотелось показать тебе список с донесения моего царю, – сказал Строганов, – об усмирении нами вогуличей, но оставим дела до другого дня.

Глава третья

Забавы Строгановых. – Хвастливый карло. – Влюбчивая дура. – Противоположность братьев Строгановых. – Пир у именницы. – Заздравный кубок. – Тайна любви открыта.

Описывать трапезу именитого человека, сколь, впрочем, ни отличалась она огромными осетрами и мерными камскими стерлядями, которые едва укладывались на длинных серебряных лодках, разносимых вокруг стола дюжими прислужниками в парчовых рубахах, – значило бы повторять давно сказанное об изобилии и приуготовлении яств на царских и боярских обедах. Вслушаемся лучше в разговоры собеседников и в шутки карлов и шутов, которые тешили гостей и шутили, доколе сии последние сами не поразговорились за пятой круговой чарой.

Всех более забавлял головастик карло Горыныч, одетый в богатое боярское платье и высокую кунью шапку. Ему подчинены были

все другие карлы и карлицы, дураки и дуры, и поистине нельзя было видеть без смеху чванство и спесь сего пигмея. Максима Яковлевича, Никиту Григорьевича, даже игумена Варлаама он называл полуименами. Всего же смешнее казалось в нем то, что он гордился тем, что рожден был вогулом, а не русским. К несчастью бедняка, в тот жалкий век русские не стыдились быть русскими, титул или имя иноземца не доставляло в России права на ум, ученость и любовь к отечеству! Горыныч посажен был в углублении, сделанном в изразцовой печи, где он казался более куклой, нежели человеком. Оттуда-то он насылал свои грозные повеления своим подчиненным, часто непокорным, мятежным. В особенности дура Феколка, безобразнейшее и грубейшее в мире творение, оказывалась послушной своему повелителю и к досаде его лаяла собакой, когда приказывал он ей мяукать кошкой. Горыныч топал ногами, грозился разразить дуру, которая и теперь, вместо того чтобы подать ему кружку с медом, поднесла ее рыцарю Реку, сказав ему:

– Ну-ка, нехристь, побренчи на своей бала-

лайке, а мы с Аниской попляшем, да и Топот Кирюшка покувыркается...

– Уже после обеда, – отвечал фон Рек, сидевший между Ситским и Мещеряком.

– Врешь, обманешь, собака!

Анисья, равнодушная к рыцарю, вступилась за своего любезного и вскричала:

– Как ты смеешь, дура, ругать честного господина, знаешь ли, что он с тобой сделает?

– А что, а что?

– То, что обернет тебя в дедушку Федота, как ономеднись сам обернулся в него и напугал боярышню...

Заметно было, что фон Рек изменился несколько в лице при этом слове и взглянул на Максима Яковлевича, как будто боясь, чтоб он не вслушался в сказанное карлицей. Но успокоился, увидя, что тот был занят новыми выходками Горыныча, снятого уже с печки. А скоро и спор карлицы с душой, кончившийся дракой, обратился в общий смех. Горыныч рядил и судил о бывшем походе на вогуличей и остяков, приходивших грабить строгановские селения на Сылве и Чусовой. Он рассказывал о подвигах своих и наставле-

ниях, данных им начальникам рати ее таким самохвальством, с такой дерзостью, что сам Ермак помирал со смеху. Однако из сей забавы породился разговор, могущий дать понятие о семейном несогласии Строгановых.

– Ну-ка, Горыныч, расскажи, как ты поймал мурзу Бегулия? – спросил Максим Яковлевич с улыбкой.

– Силен, проклятый, – отвечал карло с самодовольствием, – да не увернулся от меня. Думал, что наскочил на Микиткиных холопов, не тут-то было, и лежит теперь в клетке со скрученными руками.

– Правду сказать, – заметил Ермак, – мурза славно дрался.

– Как я велел пустить в поганых-то живым огнем, – продолжал Горыныч, – то они и спятились, а мы и учили их крошить. Ха, ха, ха! Пугнул я порядком и Микиткиных трусов, долго меня не забудут.

– Что он хочет сказать? – спросил Строганов с любопытством, обращаясь к атаманам.

– Без сомнения, то, – отвечал Ермак, – что воины Никиты Григорьевича, устрасясь превосходства неприятеля, дрогнули, но атаман

Гроза их удержал, постращав несколькими выстрелами из пиццали им в тыл.

– Не верь ему, Максимушка, не верь, – воскликнул Горыныч, – я закричал на них, так они и оробели.

– Напрасно, – заметил Строганов, – этот случай может навлечь нам большие хлопоты. Брат Никита Григорьич обрадуется этому, чтобы впредь не высылать никакой помощи против общих неприятелей наших.

– Спроси у Грозы, – сказал с непритворным торжеством Мешеряк, – что и я ему не потакал палить в своих.

– Я точно не послушался его речей, – отвечал смело Гроза, – и не раскаиваюсь. Если б я не велел выстрелить в трусов, то они побежали бы при первом появления мурзы с горы, смяли бы нас, а тем дали бы неприятелю случай подавить нас своим многолюдством. Ты сам знаешь. Максим Яковлевич, что у Бегулия было более семи сотен, а нас только две сотни.

– В войне это дозволительно, – заметил рыцарь фон Рек.

Игумен Варлаам, смотревший долго с

неудовольствием на немца, пользовавшегося доверенностью благочестивого Строганова, а тем более еще оскорбленный обязанностью сидеть за одним столом с иноверцем, перекрестился и сказал:

– Воля твоя, Максим Яковлевич, а я не благословляю поступка твоих казаков с воинами Никиты Григорьевича, хотя и принужденного. Стрелять в своих братьев воспрещено Святым Писанием, и, если Никита Григорьевич принесет жалобу царю Иоанну Васильевичу, то ты останешься в виноватых. Апостол Павел глаголет: «Дондеже время имамы, да делаем благо ко всем, паче же присным в вере», а святой апостол Петр научает: «Не воздающе зло за зло и же недосаждения за досаждение».

– Святой отец, – возразил Гроза, – вспомни слова того же апостола Петра: «Яко тако есть воля Божия, благодворящим обуздovati безумных человек невежество и трус».

Игумен, хотя раздражен был неожиданным ответом молодого казака, но расчел благоразумнее замолчать, а дальновидный хозяин, чтобы совершенно прекратить сей разговор, выпустил опять на сцену дур и дураков.

Горыныч опять вступил на поприще и морил всех своим бесстыдством. По его словам, все хорошее сделал он, присоветовал он; но, увы! с такими правами, на право делового, государственного человека, он был у Строганова только шутом! Видно, с дерзостью и самохвальством и тогда нельзя было на православной Руси занимать других мест. Влюбчивая Аниска не скрывала предпочтения своего к красивому рыцарю и, во изъявление любви своей, беспрестанно подбегала к нему и хохотала прямо в лицо. Наконец, Кирюшка Топот, юродивый с рыжей склоченной бородой, привел медвежонка, одетого под пару с Горынычем. Их заставили плясать под песни дур, и эта потеха продолжалась бы долее, если б Максим Яковлевич не приказал перестать, прогневавшись за то, что Кирюшка, когда одобрял или кричал на медведя своего, называл его именем Никиты Григорьича. Надобно признаться, что Никита Григорьич служил разительной противоположностью с Максимом Яковлевичем. От того, несмотря на все снисхождение и кротость последнего, они не могли вместе ужиться, и Никита избрал Чу-

совую местом своего пребывания, содержа также большую дворню и даже ратных людей. «Ну-ка Микитушка, поворачивайся да не отворачивайся», – кричал юродивый во все горло, и смех вторился не только в светлице, но и в сенях, набитых челядинцами, которые из растворенных дверей с подобострастием смотрели на пирующих господ своих. «Эк, батяка рявкнул, словно дедюхинский князек гаркнул». Подобные остроты, отпускаемые Кирюшкой, вывели хозяина из терпения: он приказал выгнать его с медведем и грозился велеть высечь, если не перестанет вперед так дурачиться. «Коли сечь, так сечь всех нас: и Дениску, и Ласку, и ключника Пафнутьича, – кричал юродивый, оставляя лениво светлицу. – Они все кличут Мишку Микиткой...»

– Напраслина, государь батюшка, – возразил подьячий Ласка тоненьким голоском из толпы челядинцев, – сущая напраслина! Не повернется холопий язык мой на такое содомство.

Неожиданная выходка сия заставила всех улыбнуться, кроме атамана Мещеряка, который обнаружил тем свою кротость с этим ис-

чадием крамолы и зависти.

Между тем поставлен был перед хозяином золотой заздравный кубок и серебряная ендова с романею, в коей плавал небольшой ковш из того же металла, осыпанный изумрудами. Вдруг растворилась боковая дверь, и показалась толпа женщин; они остановились у притолки, а к столу приблизилась одна именинница. Красота ее несказанно увеличивалась румянцем стыдливости, которым, как алой зарей, подернулось ее снежное лицо. С поникшими глазами Татьяна поклонилась в пояс отцу и с подобострастием, не смея взглянуть, ожидала его приказаний.

Говорят, один только Ласка оставался равнодушным при виде стольких прелестей. Ермак оставил свою угрюмость, возрастающую обыкновенно при встрече всякой молодой женщины, причем будто некие тайные воспоминания точили пуще его душу, и улыбнулся. Верный, пламенный Владимир, казалось, забыл предмет своей страсти, никогда его дотеле не оставлявшей, и устремил глаза свои на красавицу. Все с нетерпением ожидали развязки появления Татьяны и еще более удивив-

лись, когда Максим Яковлевич приказал ей подносить гостям заздравный кубок. По закону приличия она должна была принять от каждого с поздравлением поцелуй, держа обеими руками поднос с полным кубком. Все кончилось бы своим порядком, чинно и тихо, если бы прекрасная подносица не уронила подноса и не разлила кубка с вином, когда в свою очередь приблизился к ней Владимир Гроза. Все ахнули, особливо возгласы ужаса и страха сильно слышались между старушками и женщинами, сопровождавшими Татьяну. Это дало ей время прийти в себя, так, что замешательство ее отнесли к естественному беспокойству по случаю неприятного происшествия. Только Мещеряк и Рек не вдались в обман: один – из зависти, сторожившей каждый шаг, каждое слово и взор Грозы; другой – из ревности, глаза которой не менее зорки и ошибочны. Рыцарь заметил, как Татьяна переменялась в лице, как жизнь вспыхнула в ее глазах, как затрепетала полная грудь ее, несмотря на непроницаемую душегрейку, когда подходил к ней Владимир. О нет! поднос выпал из рук красавицы не случайно, не по

неосторожности: бедная Татьяна! тебя подстергли, тебя отгадали любовь и зависть, и рыцарь понял теперь смысл первоначальной печальной песенки, понял, о ком втайне тужило нежное сердце затворницы!

Максим Яковлевич, быв выше предрассудков своего времени и нисколько не подозревая Татьяну в равнодушии к Грозе, относил чистосердечно сие приключение к случайности и, чтобы разогнать беспокойство милой своей дочери, которая между тем удалась к дверям, приказал позвать песельников и вместе с тем просил Река потешить ее своими песнями. Рыцарь с радостью согласился выполнить желание хозяина: когда принесли его цитру, он пропел томную балладу с таким чувством и приятностью, что разжалобил даже твердые сердца атаманов.

– Как же ты складно слагаешь песенки! – сказал Максим Яковлевич.

– Я только переложил слова с немецкого, – отвечал Рек.

– Правда, – заметил Гроза, – рыцарь поет хитрее нашей братьи, но что-то сладкие слова немецких песен не доходят так близко к серд-

цу русскому.

– Он и с русскими управляется не хуже, – промолвил Мещеряк с коварной улыбкой, – я плачу каждый раз, как он распевает по ночам, словно соловей, какую-то заунывную песенку.

Рыцарь без затруднения согласился выполнить желание Мещеряка, ласкаясь надеждой увидеть впечатление, какое произведет эта песня на прекрасную Татьяну. Но он не допел еще половины, как дура Феколка закричала во все горло:

– Цыц, проклятый нехристь! Не ты сложил эту песню, а наша боярышня; ты, знать, подслушал, как распевала она ее, бывало, в моленной по ночам, сидя у окошечка.

Максим Яковлевич невольно обратил взоры на Татьяну и, полагая прочесть на бледном лице ее и в потупленных глазах подтверждение слов Феколки, дал знать, чтобы она возвратилась со свитою в свой терем, а скоро распустил и всех гостей своих.

Может быть, сие приключение разрешило ему причину пролитого кубка с вином, а говорят, было даже причиной скорейшего отправ-

ления Ермака в поход.

Глава четвертая

Снаряжение казаков в поход. – Частные беседы. – Ошибка. – Честолюбивые виды Строганова. – Новое коварство Мещеряка.

Какая деятельность, какая жизнь кипела на берегах Камы! Этому подобное можно разве видеть на верфях нью-йоркских, где целые флоты спускаются почти ежедневно на быстрые струи Гудзоновой реки (Nord Pijer), где тысячи рук заняты строением морских палат и крепостей! Луговая низменность, начиная от Орла-городка до самого почти Дедюхина, покрыта была длинными ладьями с острыми носами, как у стерлядей, все почти одной меры – шести сажен в длину, с лавками посередине и небольшой палубой на корме. Низкие мачты заставляли полагать, что они утверждены на судах не для парусов, а для бичевника. Люди, как муравьи, кипели над ними. Одни стучали топорами; другие, привязывая

канаты к верхушкам мачт, распевали веселые песни; третьи возили смолу, четвертые устанавливали семипядные пищали и легкие самопалы. Телеги скрипели под тяжестью мешков и кадок с мукой, крупой и маслом. Кольцо весом принимал зелье и осторожно укладывал его под палубы[45].

День был жаркий, несмотря на последние числа августа месяца, а потому прохлада, ощущаемая в тереме, где беседовали вдвоем Ермак Тимофеевич с Максимом Яковлевичем, имела особенную приятность. Вопреки обыновению, Строганов выбрал на сей раз дочернюю светелку, из которой, как мы видели выше, два решетчатых окошка обращены были на реку, вероятно, дабы иметь в виду сию прекрасную картину. И поистине зрелище деятельности на берегах пустынной Камы представлялось отсюда еще прелестнее, поразительнее. Давно уже они беседовали между собой. Стало смеркаться: уже светлая тень белой пеленой подернула окрестные пустыни, уже прибрежные гиганты, за минуту тянувшиеся бесконечной полосой по зеленому лугу, бежали как будто вспять, становились пиг-

месями по мере того, как катился вверх молодой месяц по лазури безоблачного эфира, – а они все беседовали.

– Ты видишь, Ермак Тимофеевич, – говорил Максим Яковлевич, – что еще по первой грамоте, жалованной деду нашему в тысяча пятьсот пятьдесят восьмом году, по коей нам отданы во владение все земли, лежащие вниз по Каме от земли Пермской до реки Сылвы и берега Чусовой до ее вершины, мы имеем право принимать к себе всяких людей вольных. А последней грамотой, полученной от царя Иоанна Васильевича на имя отца моего в тысяча пятьсот семьдесят четвертом году, коей распространены наши владения до самого Каменного хребта, мы можем укрепляться на берегах Тобола и вести войну с Кучумом.

– Тут нет никакого сомнения, – отвечал Ермак, – и я советую тебе отложить всякий страх. Иоанн сам разрешил тебе идти с огнем и мечом за Каменный Пояс.

– Я этого не боюсь, но желал лишь знать твое мнение: не дать ли знать чердынскому наместнику о нашем предприятии? Нечего

таить перед тобой: воевода Перепелицын человек недобрый и, пожалуй, перетолкует в худую сторону наше доброе дело.

– Нет, Максим Яковлевич, лучше помолчать до времени, хуже будет, как не велят идти.

– Мы не послушаем.

– Тогда подадим сами законный предлог представить нас ослушниками. Напротив, будет поздно крамольничать, когда мы делами честными привяжем злые языки завистников. При Божьей помощи и с твоим пособием я ожидаю совершенного успеха.

Долго еще проговорили между собой главные виновники завоевания Сибири накануне рокового дня похода. «Но что это за люди, пробирающиеся по берегу реки в близлежащую дубраву? Шаги их нетверды, даже тусклая тень, стелющаяся от них по мягкой мураве, кажется дрожащей, трепещущей. Уже они близки, чтобы скрыться в темноте рощи, как яркий луч месяца, вырвавшегося из черной тучи, обличил в двоих из них атамана Мещеряка и подьячего Ласку. Но зачем они идут в лес и в такое время? Кажется, эти оба молод-

да равнодушны к прелестям светлой осенней ночи, сердца их свободны от нежных ощущений, кои люди чувствительные любят переливать в душу другого при свете томной луны? Они люди толковые, но лукавые, и неужели, как хищные враны, бегут в мрачность леса совещаться о каком-нибудь умысле? Жаль, что некому их подслушать», – так или почти так рассуждал старик Денис, дожидаясь на галерее выхода из светлицы Ермака Тимофеевича и от скуки и нетерпения глаза в ту сторону.

Вот, наконец, вышел от Строганова и Ермак Тимофеевич. Денис, не теряя ни минуты, почти вбежал к своему господину и, оглядев с осторожностью вокруг себя, начал говорить вполголоса:

– Я твою волю выполнил, государь Максим Яковлевич, но боюсь сказать правду.

– Говори смело.

– Да то-то, что и у меня самого язык не поворачивается. А молодец, чем более узнаю его, тем больше мне по душе.

– Мне самому он всегда нравился. Признаюсь, что и в первый раз, когда он был здесь

под настоящим своим именем, я прочил его в женихи Танюше, оттого и давал им способы видаться.

– Да и накликал себе беду на шею.

– Какую беду, старинушка?

– А вот какую: знай, что Гроза, или князь Ситский, – как прикажешь назвать – гадает не о Татьяне Максимовне, а о другой, какой-то казачке. Он спит и видит одну ее и проклялся на другой не жениться.

– Поверь, что эту блажь он выкинет из головы, – заметил Строганов со значительной улыбкой, – если узнает о счастье, о котором он не смеет и думать. Где ему найти невесту богаче и краше нашей Танюши?

– Добавь, батюшка, – и добрее и милостивее ее, – сказал старик со слезами. – Да, видно, нечистый стал ныне сильнее прежнего; по его наваждению молодежь ныне вздумала любить. Прежде не смели этого подумать, не только выговорить. Уж не Божье ли это наказание на детей за грехи отцов их? Кабы послушал ты, Максим Яковлевич, какую дичь порет Владимир, когда заговорит про свою любезную! Жаль, что боярышня к нему, прокля-

тому, привязалась.

– Но она благоразумна и, без сомнения, опомнится, когда узнает, что Владимир любит другую. Я думаю, что это послужит лучше всего к ее послушанию.

– Дай-ка бог, чтоб по-твоему сделалось, а я слышал, что недуг этот скорее иссушит, чем отстанет от девушки.

– Пустое, он переходчив, – заметил Строганов с некоторой рассеянностью и, подумав несколько, продолжал: – Скажу тебе, Васильич, как старинному другу нашего дома, что с тех пор, как говорили мы с тобой, я предпринял другое для счастья Танюши. Новый предмет, мною избранный, достойнее...

– Да, батюшка, Максим Яковлевич, уж нечего сказать, Татьяна Максимовна по разуму и красоте достойна быть царицею.

– А почему бы и не быть царицею? – сказал Строганов с чувством гордости, до сего в нем не замечаемой.

Денис выпучил на него глаза в недоумении.

– Да, Васильич, если Богу будет угодно, я избрал в женихи Танюше человека необык-

новенного, великого, знаменитого не родом и племенем, а духом и разумом.

– Христос с тобой, неужто изволишь говорить о немецком рыцаре? Правда, он хитер на выдумки и красив на лицо, говорят даже, будто он чуть не князь в Лифляндах, да воля твоя, государь, он не стоит волоска нашей боярышни.

– Ты смешон мне, Васильич, с твоим рыцарем. Неужели ты не знаешь никого его превосходнее?

– Ума не приложу, батюшка... Уж не царь ли, Иоанн Васильевич, жалует тебя своей царской милостью, берет за себя Татьяну Максимовну?

– Он уж и так женат не то на пятой, не то на шестой.

– Или шлет к нам царевича или удельного...

– Сохрани бог! Пожалуй, пришлет Басманова или Скуратова в женихи. Довольно того, что и в Москве знатнейших и богатейших боярских девиц перевыдал за своих опричных...

Раздавшийся ружейный выстрел в столь позднее время прервал разговор. Строганов и

Денис встревожились, но каждый по разным догадкам: Строганов, заметив в сумерках Грозу, удалившегося далеко от крепости, вообразил, что на него сделал нападение какой-нибудь дикий зверь и он отпяливается; Орлу, напротив, прежде всего пришли на ум Мещеряк и Ласка, коих он видел за несколько часов до сего пробиравшимися подозрительно в лес.

Выстрел произвел всеобщую тревогу: народ бежал на место, откуда он раздался, но ничего и никого не мог найти там. Скрывшийся месяц увеличивал темноту ночи, так что не было возможности производить поиск. Собирались вернуться в город, как из лесу показалась черная тень. Она шла прямо на шум, и вскорости узнали в ней Грозу, который решил недоумение, объявив, что стрелял по трем человекам, не хотевшим откликнуться, когда проходил он мимо крайних лодок, и побжавшим от него в лес.

Между тем принесли пуки зажженной лучины, и Владимир повел народ за буерак, скрывавший лодки. Здесь, к большому для всех ужасу, нашли костер, составленный из

разных горючих веществ, который стоило только зажечь, чтобы охватило огнем весь флот. Ласка и Мещеряк искреннее всех ужасались сему злодеянию и открыли даже веревку, натертую селитрой, которая проведена была к самому пороху. Сие последнее казалось тем удивительнее, что часовой, который приставлен был в ночное время к сим ладьям, не видел никого, кто бы приблизился к ним хоть издали.

Максим Яковлевич крайне беспокоился сим приключением, а Орла вдобавок к тому мучило еще любопытство – узнать о новом женихе, о котором не успел выведать за проклятым выстрелом.

Глава пятая

Казаки отправляются в поход. –
Устройство рати. – Правда в душе. –
Молебствие. – Знамена. – Счастливая пе-
ремена для рыцаря.

Первое сентября 1581 года замечено было в Орловских летописях (если таковые существовали) днем величайшего события. И подлинно, оно представило зрелище, какому подобного вряд ли когда будет на берегах Камы, несмотря на то, что и в сем краю удаленной России непрерывно увеличивается народонаселение, строятся города и села, умножаются заводы и золотые прииски, несмотря на то, что не только Строганов, но и сам Ермак не предполагали успехов, коими увенчались предприимчивость и любовь к отечеству первого, храбрость, разум и великий дух второго.

При первых лучах красного солнышка, весело выкатившегося из-за черного бора, Ермак вывел свою дружину из крепости и выстроил по сотням, на которые она была разде-

лена. Сотни делились на половины, а те на десятки, и как те, так и другие имели своих начальников: атаманов, есаулов, сотников и десятников. И хотя храбрая дружина, готовящаяся завоевать беспредельную Сибирь, покорить целые народы, в ней обитавшие, едва состояла из девятисот воинов, но бодрый вид, крепость мышц, широкие плечи и вместе легкий стан каждого представляли купу атлетов бесстрашных, непобедимых, готовых лететь на всякую опасность, перенести всякую крайность, превозмочь всякую преграду. Собственно казаки составляли восемь сотен под начальством Кольца, Пана, Грозы, Мещеряка, Михайлова, есаулов Брязги и Самуся. Девятая, состоявшая из немцев, поляков, литовцев и подобного сброда ногайских пленников, была поручена знакомому нам рыцарю фон Реку. Все они одеты были в новые кафтаны серого сукна и снабжены добрыми фузеями и острыми мечами. Веселость и хохот, раздававшиеся в рядах дружины, доказывали не только всеобщее согласие, но пламенное желание как можно скорее пуститься в сей трудный поход. Достаточно подслушать старого приятеля на-

шего Грицко Коржа, чтобы убедиться в том. Шутками его, подобно прибауткам нынешних солдат-балагуров, которые всего вернее изображают дух, понятия и расположение войска, Ермак весьма искусно умел пользоваться, употребляя их нередко для управления и воспламенения своей дружины. Он и теперь сквозь пальцы смотрел на беспорядок казаков и не мешал им подбегать из других сотен в сотни Грозы, где находился забавник. Особливо кинулись они к нему при виде Горыныча, полагая, что тут будет большая потеха, и не обманулись. Корж будто ненароком загородил ему дорогу. Спесивый карло толкнул его изо всей куриной мочи, и Грицко, которого, судя по исполинскому росту и крепости, не сдвинула бы чувашская скала, если б вздумала тронуться со своего места, повалился как сноп к ногам Горыныча.

– Знай наших! – воскликнул карло с самодовольствием.

– Раздайтесь, братцы, шире, давайте дорогу просторнее строгановскому богатырю! – кричал Грицко с земли. – Пожалуй, он передавит всех нас, как червяков, выползших на белый

свет из навозной кучи.

Казаки раздались, но поставили на пути Горыныча крест-накрест пики свои, так что он должен был перелезть или перепрыгнуть через каждую из них.

– Буяны, головорезы, – пищал разгневанный карло. – Да, слава богу, недолго вам разбойничать: наши сибиряки уймут хоть не вас.

– Ну, полно пугать-то, змей Горыныч, – отвечал Грицко без малейшей улыбки.

– Скоро узнаете нашу братью вогулов.

– Уф! страшно! Мороз по коже подирает от одних слов твоих! Да не померяться ли нам наперед? – сказал Грицко, обращаясь к казакам. – Будем ведать по нему, сколько нужно нашей братьи на одного вогула. – Он кивнул головой, и Горыныч уже летал по воздуху: шесть молодых казаков бросали его вверх на широком кафтане, а прочие помирали со смеху.

Владимир равнодушно смотрел на сие позорище и даже улыбался, доколе раздавались угрозы и брань воздушного путешественника, но когда сей последний стал жалобно

упрашивать своих мучителей, чтобы его освободили, то он приказал им перестать. Горыныч, почувствовав себя на ногах и под покровительством сильного, принял прежний спесивый вид и с презрением сказал:

– Ну что, собаки, взяли? Десятеро насилу с одним сладили. А еще затеяли воевать Сибирь. Да станет ли у вас и смысла на что доброе? Строганов не чета вам, а живет вогульским умом-разумом.

– Насмотрелись, насмотрелись, Горынушка! И подлинно, без земляка твоего, Ласки, ничто у вас не делается, и мы бы далеко были за Каменным Поясом, – заметил Грицко с язвительной усмешкой.

– А кто ж вас поведет и туда, как не он? – пропищал карло и пустился бежать так, что Владимир, вслушавшись в последние слова, не успел сделать ему никакого вопроса. В то же время показались из ворот крепости Строганов с игуменом в сопровождении многочисленного причта.

На бугре, смотревшемся почти отвесно в быструю реку, приуготовлено было место для отправления молебствия с водоосвящением.

Хотя в те времена, даже в столице, церковные обряды не представляли того великолепия, с коим ныне славится имя Божие во всех концах православной России: утварь редко бывала из серебра, а большей частью деревянная или из олова. Штофы или парчи не всегда украшали рамена служителей алтаря. Холстина, а много бумажная выбойка заменяли их, а потому богатая риза с жемчужными оплечьями, которую воздел на себя игумен Варлаам, глазетовые стихари на двух других священниках и на дьяконе, а шелковые – на церковниках; наконец, белая властительская шапка, которую вместе с набедренниками и палицею испросил от патриарха Аника Строганов для настоятеля Пыскорского монастыря (основанного им в 1560 году в возблагодарение за первые жалованные ему грамоты царем Иоанном Васильевичем), ослепили всех изумлением. Вокруг деревянного стола, покрытого также матерчатой пеленой, на коей лежали позлащенное Евангелие, таковой же крест и возвышалась огромная купель с водой, развевалось шесть новых знамен на высоких древках. На ближайшем из них напи-

сан был по зеленому штофу лик Иисуса, а на другом – в голубом поле святой Николай Чудотворец. Сверх того все четыре стороны первого покрыты были следующими изречениями: «Аще на брани узриши кони и всадники множайшыя тебе, да не убоиши их, яко Господь Бог с тобою. И поженут от вас пять сто, и сто вас поженет тьмы, а падут врази ваша пред вами мечом». А на другом по голубому полю начертаны были известные слова из акафиста: «Радуйся, Николае, от мятежи и брани соблюдайя; радуйся от уз и пленения освобождайя, радуйся, яко тобою лютые смерти избегаем, радуйся телес здравие и душ спасение».

В числе прочих знамен замечательнее всех по величине своей и красоте письма было черное, на коем изображался ад более чем в тысячи фигурах. Говорят, что кроме грехов, поименованных в заповедях Господних, художник замысловато представил многие другие, согласно понятиям того века[46]; как-то: неблагодарность, себялюбие (эгоизм), презрение к старшим и властям. И прибавляют: будто греховодники сии, вытеснившие ныне чис-

лом своим целый ад на картине, умещались тогда в небольшом уголке преисподней. Надпись состояла из двух изречений Апокалипсиса: «Побеждающему дам сести со мною на престоле моем и побежани не имать вредитися от смерти вторые».

По окончании молебствия с коленопреклонением Ермак сам взял чашу и понес ее к ладьям. Игумен, окропив их святой водой, возвратился к знаменам и, совершив с ними подобный обряд, вручил их начальникам дружин по старшинству с приличными поучениями. Наконец, он осенил всех крестным знаменем. Тогда Максим Яковлевич, подойдя к Ермаку Тимофеевичу и обняв его с непритворной искренностью, сказал с чувством:

– В лице твоём, Ермак Тимофеевич, я обнимаю всю твою храбрую дружину и благодарствую за гощение. Не ведаю, показалась ли вам моя хлеб-соль, по крайней мере, я предлагал ее с усердием. Гладкие поля, превращенные мощной рукой вашей из непроходимых лесов, будут свидетельствовать грядущим столетиям о вашем трудолюбии, будут служить примером для воинов в мирное время.

Тут он дал знать старому Орлу, и тот открыл из-под покрывала икону в жемчужном убрусе. Строганов, перекрестясь, приложился к ней и, передавая ее Ермаку, продолжал:

– Напутствую вас, дорогие гости, святым ликом вашего заступника. Под сенью его, с обетом доблести и целомудрия, идите очистить землю Сибирскую и выгнать безбожного султана Кучума.

Ермак с благоговением принял святую икону из рук Строганова, низко ему поклонился и ответствовал:

– Не тебе, Максим Яковлевич, а нам подобает благодарствовать за твои к нам щедроты. Ты укрыл наши головы, снарядил нас одеждой и обувью, наделил в дальний путь оружием и хлебом. Нет! ты сделал более: ты показал разбойникам путь к спасению душ их и голов, ты сделал из них граждан отечества, верных слуг царя православного! Идем с верой на великое дело для славы и пользы матушки России.

– Идем, идем! – раздалось как громовым ударом в воздухе и, к величайшей неожиданности, повторилось эхом от залпа из всех пу-

шек и пищалей, находившихся в ладьях.

Между тем накрыли длинные столы по гладкому берегу, выкатили из подвалов несколько бочек крепкого меда, и храбрая дружина беспечно предалась веселью трапезы.

Все ликовали, кроме Ермака, Грозы и рыцаря Река. Первый был занят окончательными распоряжениями для изготовления в поход, беседуя часто с Максимом Яковлевичем и толкуя нередко с Лаской, который был дан им в проводники за Каменный Пояс как самый знающий все пути, к нему ведущие, ибо Ласка был из числа тех смельчаков, коих посылали Строгановы в Сибирь для мены товаров, и притом был родом вогул. Гроза не мог разделять общего веселья потому, что с удалением в неизвестный край, для неизвестного предприятия терял последнюю надежду услышать когда-либо о своей Велике, для отыскания которой давно уже отправился его неизменный друг Уркунду. Ему также страх не нравилось назначение Ласки в проводники: какое-то черное предчувствие грызло его ретивое.

Фон Рек под влиянием Мещеряка, не пред-

видевший ничего доброго в сем походе, неохотно расставался с предметом своей пламенной, хотя безнадежной, любви. Зоркий глаз его, несмотря на чащину решетки, давно заметил женскую фигуру, стоявшую в окошке терема, обращенного к стороне Камы. «Может быть, – думал иногда он, – я тот счастливец, которого провожают», – но, вспомнив происшествие с бокалом, терял надежду и более еще хотел бы восторжествовать над счастливым соперником. Можно вообразить после сего его восхищение, когда Ермак Тимофеевич, подойдя к нему, обратился с сей речью:

– Не нужно толковать тебе, рыцарь, что Максим Яковлевич, отпуская с нами всю свою силу, имеет надобность найти не только личную храбрость, но ум и прозорливость в начальнике небольшой дружины, которая останется с ним для защиты его и всех его заведений от внезапного набега неприятелей. Мы все признаем в тебе сии необходимые качества, а потому по воле его присудили оставить тебя здесь для охранения его. Надеемся, что ты не откажешься от сего важного и полезного назначения.

Сколь ни согласно было с собственным желанием рыцаря таковое предложение, но лукавый немец согласился не прежде на оное, как высказав отчаяние, что не будет разделять с храбрыми завоевателями Сибири знаменитых трудов и опасностей. Итак, желание его исполнилось, он не будет иметь перед глазами счастливого соперника, он может заставить забыть его, может найти случай понравиться... Сборная дружина его была отдана тотчас же есаулу Брызге, которого атаман отличал перед всеми другими.

Скоро при звуке труб воинских и радостного «ура!» флотилия отвалила от берега и стройно покатила по быстрым струям широкой Камы.

Глава шестая

Трудное плавание по реке Силве. – Отдохновение. – Прибытие шамана. – Печальное известие о Велике. – Бегство подъячего Ласки. – Возвращение казаков в Чусовую. – Бедствия на сей реке. – Трудности при достижении Серебрянки. – Изобретение Ермака перебираться через мели. – Заливье. – Кукуй.

Чусовая, хотя и при устье не теряет быстроты своей, но глубина воды позволяет здесь идти на гребле, а от того плавание наших аргонавтов было довольно успешно до самой Силвы. В сей последней реке мели останавливали часто их усилия. Несмотря на то, в десять дней они поднялись так далеко вверх, что река сделалась почти неспособной к судоходству и должно было полагать близко ее вершину. К удивлению и досаде всех, проводник уговаривал идти далее.

В один день, претерпев большие бедствия от мелководья и ненастья, они остановились

ночевать у подошвы тенистой рощи, как будто насаженной по зеленому лугу. За ней, шагах в ста, возвышался крутой берег, но он не преграждал совершенно зрения вдаль. Через две широкие расщелины можно было видеть восхитительную долину, расстилающуюся за ним на необозримое пространство. Расщелины сии, или глубокие овраги, образовали между собой мыс вроде замка отдельного, неприступного. На нем разложен был яркий костер, огненные искры высоко поднимались из него в поднебесье, подобно раскаленным камням, летающим из жерла огнедышащей горы, и при ночной темноте казались метеорами, распространявшими около себя кровавое зарево на дальнейшее расстояние. Окруженный атаманами Ермак сидел спиной к огню, едва слушал рассуждения Ласки о дальнейшем пути и скорой возможности перейти в черные реки, то есть в те, которые обращены на восток, отчего плавание, быв по течению вод, делается несравненно легче. Но если б Ермак обернулся к свету, то легко бы можно было заметить на нахмуренном челе его следы неудовольствия и досады, которые увеличи-

чивались при каждом слове Ласки. Но вот атаман встает со своего места, вглядывается вдаль и, подозвав к себе Грозу, шепчет ему что-то на ухо. Сей последний удаляется, а Мещеряк с Лаской обмениваются взорами. Ермак и после сего не спускает глаз с черной точки, замеченной им на реке. Точка эта придвигалась более и более, увеличивалась, и наконец зоркий глаз атамана ясно отличил в ней челнок с человеком, борющимся против стремления реки. Скоро усмотрел его и сторожевой казак, стоявший у пристани, и, окликнув три раза без ответа, прикладывался уже выпалить, как подоспевший Гроза удержал его от того. Вскоре до слуха Ермака, не менее чуткого, долетел какой-то несвязный гул; вскоре замелькали по всему стану какие-то тени, и сами костры, разложенные по берегу в разных видах и направлениях, как будто зашевелились. Наконец из литовской дружины прибегает посланец с вестью, что схватили переметчика, но казак, присланный вслед за ним от Грозы, принес известие, что он ведет шамана Уркунду. Ермак приметно обрадовался сей неожиданности и немало удивился, ко-

гда, обернувшись к костру, чтобы разделить радость со своими собеседниками, никого не нашел там более. Кольцо, как узнали впоследствии, кинулся при первой вести навстречу нежданному гостю, а Мещеряк с Лаской, как говорит предание, пошли в противную сторону.

Уркунду изъявил нелицемерные знаки радости при свидании со старыми друзьями своими, несмотря на то, что Ермак прочел в лице его какую-то особенную угрюмость. После нескольких вопросов он готовился отпустить его на покой, желая и сам по случаю позднего вечера отдохнуть для завтрашних новых трудов, но шаман, схватя его за руку, сказал со свойственной ему грубостью:

– Я полагал тебя разумнее...

– Спасибо, – отвечал Ермак, – за что такая милость?

– За то, что Ермака обманули как филина.

– Кто? Чем? Говори скорее.

– Пора спать, а завтра, когда первые лучи дневного светила просветят твой разум, я скажу тебе и докажу. Ты согласишься.

Напрасно Ермак упрашивал и требовал,

чтобы Уркунду не медлил более своим открытием: шаман объявил, что этого он ни за что не сделает сегодня, что это было бы противно воле его богов... Атаман, зная его дикий нрав, вынужденным нашелся согласиться на столь странное, непонятное упорство, притом и до восхождения солнца оставалось только несколько часов.

Поступил ли Уркунду по закону своей шаманской веры, которой действительно запрещалось предпринимать всякое важное дело по захождении солнца, – это увидим впоследствии, а теперь заметим только то, что он не был столь неумолим в удовлетворении любопытства Грозы, хотя и сей последний не мог вырвать ни полсловечка о судьбе своей Великой, доколе шаман не уселся на оленью кожу и не уткнул своей рожи в самый огонь.

– Не мучь меня долее, друг Уркунду, – сказал наконец Владимир, снедаемый любопытством и страхом, – скажи, ради бога, где Велика, здорова ли она, любит ли меня?

– Многого хочешь вдруг, приятель, – отвечал хладнокровно шаман, – будь доволен, когда узнаешь, что я нашел Велику еле живую.

– А теперь? – перебил его Владимир.

– Теперь? Встала на ноги, но остались одни кости да кожа. Ты бы не узнал и не влюбил ее...

– Нет, Уркунду, – воскликнул Гроза, – я полюбил ее еще более, если только можно любить более...

Чувство, с каким произнес Владимир сии последние слова, проникло в душу дикого шамана, тронуло от природы его доброе сердце, и он без дальнейших вопросов удовлетворил вполне его нетерпение, рассказав, как нашел ее в киргизском ауле при смерти и какими хитростями заставил Нургали уступить свою невольницу. Жадный бухарец, купивший Велику для гарема сибирского царя Кучума, побоялся, что со смертью ее лишится не только воображаемых барышей, но и собственных своих денег, а потому Уркунду, взявшись пользоваться ее, усугублял ежедневно опасения корыстолюбивого торговца насчет продолжительной и неизлечимой ее болезни, так что Гали радовался в душе мысли, что обманул шамана, когда уговорил его купить Велику за половинную цену, уверяя, что ему более того

дадут за нее на Дону, если он отвезет ее к родственникам.

Целебные травы и надежда возвратиться на родину скоро воскресили умиравшую девушку и дали ей сверхъестественные силы к перенесению трудного и продолжительного странствования.

– Мы выбрались уже было в лес и считали себя в безопасности, – продолжал Уркунду, – ан не тут-то было: наскочили на нас разбойники. Их было четверо, и между ними Нургали и дервиш. Что мне было делать с ними?

– Как! Ты не защищался? – спросил сердито Гроза.

– Вестимо, – отвечал хладнокровно шаман.

– Трус! Ты ответишь мне своей головой! – вскричал в неистовстве Гроза.

– Полно беситься-то, – перебил его с тихостью Уркунду. – Посмотрел бы я, как бы и ты с твоей храбростью отстоял любезную свою от четырех злодеев. Дервиш уговорил, вишь, Нургали отнять у меня Велику, уверив, что я его обманул и повез сам ее к Кучуму.

– Где же теперь Велика? – спросил с нетер-

пением Гроза.

– Чай, в гареме у царя сибирского.

– И ты говоришь равнодушно?

– А как же? И тебе советую не плакать, а молиться Богу. При его помощи мы отыщем у Кучума Велику и со всеми его женами.

– Слабое утешение, – сказал со вздохом Владимир. – Зачем же ты не преследовал разбойников?

– Затем, что хочется еще послужить тебе. Дервишу больно хотелось уходить меня, да спасибо киргизцы ему не потакнули, однако запретили мне показываться в их аулах, если хочу еще пожить на белом свете. А они, бачка, слово свое держат поглаже вас, казаков...

Чтобы умерить несколько грусть Грозы, шаман во всю ночь рассказывал ему подробности, касающиеся до его любезной, и делал планы для ее освобождения. Со всем тем ночь сия показалась бесконечной для отчаянного любовника.

Не менее длинна и утомительна была она и для Ермака Тимофеевича, не смыкавшего глаз с глазом. С восторгом он встретил первые лучи восходящего солнца, а с ними вместе

предстал перед ним Уркунду, верный своему обещанию. Никто не слышал их разговора, только можно полагать, что шаман доказал ясно предводителю храброй дружины, что он заведен в Силву или обманом, или глупостью проводника, ибо тотчас же отдан был приказ готовиться к обратному походу. Ласку нигде не могли найти. Мещеряк первый принес известие, что он скрылся, лишь только услышал о прибытии шамана; и как он подозревал его в сем умысле, то нарочно спрятал его кису, которую и отдал Ермаку. Неприятели, или, лучше сказать, все те, которые знали настоящую цену Мещеряку, удивлялись его изворотливости и старались отгадать причину сей измены; но Ермак принял это знаком его усердия к общей пользе. В особенности он утвердился в сей мысли, когда в суме нашли письмо Ласки к Перепелицыну, где предатель с наглостью возмущал воеводу против казаков и Максима Яковлевича, и клеветал на опального князя Ситского, коего они укрывают от правосудия царского. На других лоскутках от разодранного письма разобрали, что он извещал кого-то о выводе вскорости всей

рати из Каргедана и других городков...

Побег Ласки не оставил никакого сомнения в справедливости сказания шамана, и казаки с радостью пустились в обратный путь. Быстрое течение Силвы облегчило сплав их до Чусовой, но здесь их встретили всякого рода затруднения и бедствия. Уже более недели днём и ночью лил проливной дождик, резкий ветер вырывал весла из сильных рук гребцов, с упорством оспаривавших стремление реки, которая, как будто для вящего утомления дерзновенных, осмелившихся не уважать ее быстроту, с ревом катила по хребту своему камни им навстречу. «Стой!» – раздалось на первой лодке и громко откликнулось в утесах берегов, которые во многих местах столь низко нависли над водой, что представляли ворота, едва оставлявшие место для прохода под собой мелким ладьям. Можно представить, сколь трудны и опасны были такие проходы, ибо волны, вырыв себе свободный ход под берегом, устремлялись туда всем своим напором, оставляя всю ширину реки почти лишенной воды. Только изредка перепрыгивали там струи, укрывшиеся от общего

порыва, по изрытому и безобразному граниту, образуя пенящиеся каскады или крутящиеся водовороты.

– Видно, опять наткнулись на чертов омут, – сказал Чабан, утирая со лба крупные капли пота. – Когда-то Бог пронесет нас через них?

– Скоро соскучимся, – заметил Корж. – Еще другого ряда мозолей не наклеил себе на руки, а уж и плачешься. Подожди-ка, сударчик, узнаешь, что это были цветки, а ягодки впереди.

– Коли ты не шутишь, Грицко, то придется хоть бежать или кинуться в воду.

– Чего доброго?.. – примолвил Самусь, начальствовавший сей четвертой лодкой. – Ермак, ничего не видя, поднял голову выше Пискуна, который одним плевком вчера чуть всех нас не перетопил.

– Эко диво, братцы, этот проклятый камешек! – продолжал Корж. – Вода так и пищит, так и скачет вокруг его белым ключом, а миновать нельзя – уселся как медведь на самой середине.

– Говорят, что впереди еще около десятка

таковых медвежат. Есть чем позабавиться.

– То-то и забава, коли со лба каплет кровь вместо пота! – сказал забавник, улыбаясь.

Между тем передовые лодки, на которых находился предводитель с шаманом, открыли себе путь и дали знать, чтобы все прочие проходили между третьей и четвертой скалами, перегородившими реку.

– Утри слезы-то, – закричал Корж Чабану, – вот тебе и каравайчики, свеженькие, тепленькие, так и отрезал бы краюшечку, да и в рот, а коли охота придет запить лакомый кусочек, то позевай только...

– Тебе все шутки, – ворчал Чабан, – а мне, право, не до них.

И в самом деле, нельзя было найти ближайшего сходства, как с караваями, в пяти шарообразных камнях, возвышавшихся посреди реки. Только один из них отличался от прочих своим видом, и остроумный Корж не упустил и ему сделать самого верного уподобления. Несмотря на величайшую опасность, которая угрожала лодке, когда на баграх они перебирались по белому гребню, кипевшему под навесом сего камня, он закричал робкому

Чабану, дрожавшему от страха:

– Смотри берешь, не задень молодца-то, он того и смотрит, чтобы дать тебе плюху, вишь, размахнул руками, словно бьется на кулачки.

История умалчивает, не с тех ли пор один из мултянских камней называется Бойцом; по крайней мере, можно полагать, что он мало изменился, ибо и теперь почитается самой опасной скалой для судоходства по Чусовой, и теперь гранитный исполин сей кажется размахивающим руками от ужасного колебания лодки, проходящей под его грозной десницей. Тем более при порывах сильного ветра оптический обман сей должен был показаться Чабану правдоподобным.

Таким образом в продолжение двенадцати дней поднялась флотилия Ермакова вверх по Чусовой до устья Серебрянки, преодолевая величайшие трудности и опасности; таким образом прошли они благополучно многие подводные камни, о которые нередко и теперь разбиваются суда во время весеннего сплава, хотя нет пловца, который бы не принял мер осторожности, приближаясь к Чатовой Уде, Соколу, Гребешкам, Бражке, Шилу, Носку, Во-

легову камню, Горчаку, Разбойнику, Мултыню, Пискуну и прочим.

При устье Серебрянки Ермак велел остановиться и как будто нарочно избрал для того самое приятное и удобное место. Дикая берега Чусовой, возвышающиеся подобно крепостным стенам, хотя и представляли разнообразные, часто поразительные картины, но, не позволяя глазу блуждать за пределами твердыни своей, скоро утомляли зрение и воображение. Напротив того, берега Серебрянки слились тут ровными покатостями, осененными в разных местах кедровыми рощами, из-за коих рифейские гиганты выказывали гордо чело свое.

Отдохнув два дня, казаки пустились далее по Серебрянке. Здесь представились нашим странникам нового рода затруднения: река во многих местах была так мелка, что при всех усилиях невозможно было тащить лодки вверх. Сначала прорывали на мелях каналы или проходы; но как мели сии делались час от часу чаще, то изобретательный ум Ермака придумал новое средство, которое совершенно удалось и облегчило плавание. Он прика-

зал шить несколько парусов вместе и, прикрепив к одной стороне тяжелые камни, а по бокам длинные жерди, запружал ими реку во всю ширину ее, подобно плотинам, и, когда прибылой водой снимались суда с мели, он повторял этот способ при другой. Только ежедневно увеличивающийся холод делал сию работу нестерпимой. Свыше сил человеческих было бороться со студеной водой, стоя в ней несколько часов по пояс. Много оказалось больных, особенно между немцами; слышался всеобщий ропот.

Кажется, и предводитель выбирал только удобное место для стоянки, ибо едва он заметил на правом берегу высокий мыс, подобный тому, который описали мы на Силве, то и приказал остановиться. Скоро пронесся слух, что Ермак намерен провести здесь зиму, дабы в продолжение сего времени разведать самому легчайший путь за хребет Урала. Продовольствия оставалось еще на несколько месяцев; к тому же Уркунду удостоверил его, что кочующие в окрестностях народы в состоянии достаточно снабдить дружину его всеми жизненными потребностями, да и рыбная и

звериная охота в привольном здешнем краю могла содействовать к их безбедному содержанию. Ермак, не теряя времени, приступил к исполнению своего намерения.

Хотя мыс со стороны реки был весьма крут и почти неприступен, а с других двух ограждался глубокими оврагами, в одном из коих струилась небольшая речка, Кукуем прозванная по непрерывному стоку вод своих, походившему на крик кукушки, совсем тем Ермак приказал обнести его высоким, частым тыном. На другой же день раздался в прибрежных дубравах незнакомый дотоле стук топов, и маститые кедры и лиственницы, посмеивавшиеся несколько веков усилиям разрушительных стихий, были в одно мгновение повержены и увлечены далеко от своей родины. Ах! Сколь часто судьба играет подобно сему и существами чувствительными, сколь часто, отрывая от пепелищ, от всего милого, бросает их в море страстей и бедствий – для видов общей пользы.

Казачьи работы так дружно, так успешно, что не более как в две недели поспела грозная крепость, а морозы застали уже переселенцев

наших в теплых избах и юртах. С лодок перенесены были в новую крепость не только все снасти и скарб, но пушки, знамена; первые расставлены были по углам острога, а вторые помещены вместо хоругвей в часовне, которая выстроена была вместе с крепостью. В скорости, как бы по мановению волшебного жезла, дикая скала, на которой, может быть, от создания света не была нога человеческая, принял вид города, коего следы не изгладились еще веками, доселе место сие известно под именем Ермакова городища, а казаками называлось Кукуем.

Глава седьмая

Отправление Грозы в Орел-городок. – Успехи рыцаря в любви. – Приключения Грозы на лыжах. – Северное сияние. – Осада пельмцами Орла-городка. – Избавление. – Похищение. – Смерть рыцаря.

Ермаку весьма хотелось подать о себе весточку Строгановым, но он долго не знал, как приступить к тому. Ему жалко было подвергнуть каждого из атаманов и казаков тем трудностям и опасностям, которые сопряжены были с сим путешествием по снежным степям и сугробам, без малейшего приюта от лютости стихий, без малейшей надежды в помощи в случае голода, кроме своей пицали. К тому еще Ермак не надеялся, чтобы казаки в состоянии были пройти на лыжах столь большое пространство, ибо для того требовался большой навык. А потому он некоторым образом обрадовался, когда Гроза добровольно вызвался на сие предприятие. Грозе необходимо было рассеяние в его грустном положении, а

потому друг его Уркунду присоветовал ему предложить себя для сей посылки, взявшись быть его проводником.

При доброй воле нет ничего невозможного, к счастью и, в характере русского человека есть – ни от чего не отказываться, ни от чего не приходить в отчаяние. Тотчас поспели лыжи, и казаки, коих нашлось до пятидесяти охотников с Грозой, хотя сначала и позатрудились в управлении сими сибирскими конями, но вскоре дело пошло на лад, и через несколько дней уже ни один казак не отставал от Уркунду, который считался отличным ходоком на лыжах.

Теперь взглянем, что делалось в Каргеда-не. Фон Рек занял там первое место и до такой степени вкрался в доверенность добродушного Максима Яковлевича, что сделался его лучшим другом и советником. Уже он, сопутствуя часто Максиму Яковлевичу в сокровенности теремов, надеялся если не приобрести сердце неприступной Татьяны, то приучить ее к себе, сделаться ей необходимым. Тем более мог он ласкаться в успехе своих намерений, что и добрый старик Орел совершенно в

него вверился, особенно когда заметил, что рыцарь стал ходить в церковь часто, не пропускал ни обедни, ни заутрени. Набожный Денис радовался, что советами своими спасет душу рыцаря от мук адских, ласкаясь надеждой, что по настоянию его он скоро переменит басурманскую веру свою на русскую, православную, а творя беспрестанно земные поклоны, не видал, что рыцарь никогда не крестился и более пялил глаза в левую сторону к паперти, где стояла Татьяна, чем на святые иконы.

Владимир с твердостью перенес все трудности пути, подавая везде пример к преодолению оных. Уркунду, как опытный сибиряк, избегал крутостей, на которые весьма трудно взбираться равномерно и спускаться на лыжах. К счастью, увеличивающиеся ежедневно морозы облегчали их путешествие: они летели по снежным рыхлым сугробам, как по крепкому гладкому льду: леса, доли мелькали перед ними как привидения.

– Право, важная выдумка, эти лыжи, – сказал один казак, подбежав на них к атаману Грозе. – Ухищряет же Бог человека!

— Да, земляк, без них и житья не было бы людям в полуночной стране.

Едва Гроза выговорил слова сии, как увидели, будто в подтверждение оных, забавную борьбу одного казака с ужасным медведем. Донец, пробегая близ одной колоды, заметил под нею зверя: он не выдержал, чтобы не пырнуть его рогатиной, которую употребляют все путешествующие на лыжах вместо палки; но хотя удар был силен и меток, однако недостаточен, чтобы нанести смертную рану мощному зверю, а только привел его в ярость. Медведь выскочил из берлоги и пустился в преследование своего неприятеля, но, утопая в рыхлом снегу, не мог никак догнать казака, который, чтобы утомить его, нарочно заводил его в глубокие рвы и наконец, отбежав от него на несколько шагов, выстрелил из пищаля, чем и довершил победу.

По приметам шамана недалеко находился и Орел-городок. К рассвету на другой день должны были достичь до него или решаться бежать ночью при свете северного сияния, горевшего, как нарочно, самыми яркими, разноцветными огнями. Тысячи метеоров рассы-

пались в воздушных пустынях яхонтовыми и алмазными блестками и освещали тьму небесную. Разумеется, что все согласились сделать последнее усилие, несмотря на резкий ветер, дувший с северо-запада прямо им в лицо и захватывающий дух. Вдруг шаман дал знак, чтобы остановились, и, подойдя к Грозе, сказал:

– Атаман! Не слышишь ли ты какого шума со стороны крепости?

– Нет, – отвечал Гроза.

– Ну, так я слышу, и слышу голоса моей братьи. Подожди, я сбегаю поближе и принесу вам «язык».

Как ни горел Владимир нетерпением, но по обязанности начальника не пренебрегать никакой осторожностью вынужденным нашелся воздержать свой порыв. Впрочем, не прошло и часу, как Уркунду возвратился. Заметно было какое-то беспокойство и особенная поспешность, с которыми отыскал он Грозу.

– Ну, – сказал он, – я правду тебе говорил.

– Что такое? – спросил атаман.

– То, что в Орле нездорово.

– Оканчивай скорее! – вскричал, потеряв терпение, Гроза.

– Я кончу, а чтоб там не прежде меня кончили.

– Не мучь, ради бога...

– Нечего терять время. Если мы не спасем, то Каргедан будет взят и разграблен пелынцами.

– Возможно ли?

– Да! Я чуть сам в темени не попался им в лапы. Спасибо, упала звездочка с неба, и я увидел, что вокруг города чернеется как муравейник. Вот я прислонился за дерево и вперил глаза. Они примолкли, а это знак, что скоро кинутся на крепость... Чу! Как завыли! Пора и нам за дело. Мы нападём на них как снег на голову. Приготовьте фузеи!

Между тем молодая луна показала светлые рога свои; предметы стали явственнее. Уральцы наши летели как на крыльях. Рев и вой осаждающих увеличивался более и более, слышались плач и рыдания осажденных. Подойдя к берегу, казаки наши остановились под закрытием леса, который здесь доходил до самой реки. Гроза тотчас сделал свои рас-

поражения. С двадцатью отборнейшими положил напасть на середину, где варвары напирали всеми силами, дабы выломить ворота, остальных тридцать казаков разделил на две половины: одной назначил идти в обход к западным воротам, предполагая, что неприятель не упустит сделать нападения и на сию часть крепости, как менее других защищаемую, а другой приказал показываться в разных местах, пробегая по-за деревьями после каждого залпа, дабы ввести варваров в заблуждение насчет многолюдства.

Сказано – сделано. Железные ворота крепости начали уступать усилиям, как вдруг грянувший позади гром, поразивший нескольких самых отважнейших из варваров, привел их в страх. Они оставались еще в недоумении, как новый подобный удар с другой стороны поразил их столь же неожиданно и убийственно, а в то же время налетел Гроза с отважными товарищами своими. Пелымцы дрогнули и обратились в бегство.

Весьма было бы неблагоприятно преследовать их, ибо они могли скоро прийти в себя от панического страха и открыть малолюдство

неприятеля, а потому Гроза велел сделать по беглецам только несколько залпов из пищалей, а сам возвратился к крепостным воротам. Но он немало удивился, найдя их по-прежнему заваленными и не получая ни малейшего ответа на окрик свой, между тем как внутри слышался звук сечи и голоса отчаяния. Гроза, не теряя времени, кинулся со своими казаками к задним воротам. Несмотря на запальчивость свою, он заметил, однако, несколько нарт, запряженных оленями, которые спускались под гору с быстротой молнии. Атаман отправил тотчас за ними в погоню четверых надежных молодцев на лыжах, а сам с прочими поспешил в крепость. В это самое мгновение отправленные им в обход пятнадцать казаков приближались с другой стороны, так что они вместе вошли в ворота, но с первым шагом были ослеплены заревом пожара. Слабые дружины осаждавших оказывали малое сопротивление. Вогулы и остяки с диким воем рыскали по всему городу, забирая пленных и имущество; одна казенка благодаря крепким железным затворам своим сопротивлялась еще их усилиям, как появление

Грозы изменило в одну минуту участь войны, в одну минуту дикари были истреблены или прогнаны. Пламя, охватившее церковь и палаты, было потушено, и осажденные ожили от страха. Но, к величайшему всех отчаянию и печали, не показывался ни Максим Яковлевич, ни старик Денис, равно и кинувшийся в терема Гроза не нашел там Татьяны. Не знали, на что подумать, как вылезшая из печи карлица Аниска объявила, что в то время, как вогулы ворвались в город, прибежал к ним подьячий Ласка и именем Максима Яковлевича приказал боярышне за собой следовать, а им запретил и носу показывать. Вслед за сим нашли и Максима Яковлевича в погребе с завязанными крепко назад руками. К счастью, не успели еще объявить ему об утрате его дочери, как вбежавший Уркунду принес радостную весть о возвращении ее. По необыкновенной сметливости своей он пустился в погоню за беглецами прежде, чем Гроза отправил за ними четверых казаков, несмотря на то, что он едва мог догнать задние санки, и то оттого, что один из оленей, в них запряженных, споткнувшись, упал. Но

Уркунду не только не сладил бы со злодеем, защищавшим свою добычу, но сделался бы жертвой его искусства владеть мечом, если бы не подоспели скоро четверо казаков, посланных Грозой в догоню за беглецами.

– Ба! – вскричал один из казаков. – Да этот зверек знакомого десятка; нет, братцы, его не взять живьем, вишь, он бьется насмерть; грех умереть от его руки, а лучше его самого потешить. – Он взвел курок, прицелился, и разбойник повалился без чувств.

К общему удивлению, узнали в нем рыцаря Река, а в нартах, которые он оспаривал с таким ожесточением, нашли дочь Максима Яковлевича, без памяти лежавшую в них с привязанными руками.

Первым чувством именитого человека было принести возблагодарение Господу Богу за чудесное спасение себя и своего семейства. Между тем и прекрасная Татьяна пришла в себя, а когда отдохнул и бедный старик Денис от страха и побоев, то все пришло в обыкновенный порядок и водворилось даже веселье в домочадцах.

После сего рассказывал Строганов, что с

неделю назад явился к нему неожиданно Ласка с доносом на Ермака Тимофеевича, жалуюсь, что будто он, не слушаясь его, пошел бог знает зачем в Силву и, выбрав там неприступное место, выстроил крепость. Мало ли что говорил злодей, желая возбудить его недоверие или неприязненность к атаману, даже намекал, что сей последний вряд ли не имеет в голове намерения соединиться с Кучумом и напасть на великую Пермь; что из усердия к своему благодетелю пренебрег он опасностью и пришел донести ему обо всем этом. Если сии наветы не имели влияния на умного Строганова и только привели в страх слабого старика, то подействовали на шаткий и изменчивый дух рыцаря.

Должно полагать, что хитрый Ласка, дабы поколебать его более в верности, подал ему или, по крайней мере, подкрепил его в мысли о похищении прекрасной Татьяны, обнадежив в сильной защите Перепелицына. Иначе, конечно, пленник не решился бы на такой гнусный поступок неблагодарности и романтизма, хотя, правду сказать, не раз пускался он на подвиги влюбленного рыцаря, как-то:

переодевания и тому подобное, чтобы встретить взор своей любезной, – подвиги, уважаемые в Германии, но неизвестные тогда не только в дикой Перми, даже и в Москве белокаменной.

– А проклятый изменник Ласка, – сказал Денис, – все добивался у меня ключей от казенки. Не дам, сказал я ему начисто, хоть убей, и Бог сподобил меня перенести муки, которые выдумывал злодей, чтобы заставить меня признаться, где они спрятаны.

– Я защищал с верными слугами моими вход в терем Танюши, – присовокупил Максим Яковлевич, – и при помощи Божьей мы отстояли бы его, положив на месте более десяти басурманов, если б коварный Рек не схватил меня сзади и, связав руки, не кинул в погреб.

Право избавителя сблизило еще более Грозу со Строгановым, и, увы! раздуло пламя любви безнадежной в сердце прекрасной его дочери. Бывали минуты, что Максим Яковлевич, отгадывая ее чувства, решался отказаться от честолюбивых своих замыслов на Ермачка Тимофеевича, бывали минуты, что и роб-

кая, скромная Татьяна готова была признать-
ся в своей страсти доброму отцу своему, и вер-
ный Владимир желал бы, чтобы сердце его
было свободно, дабы он мог составить счастье
прелестной Татьяны.

Глава восьмая

***Строгость Ермака Тимофеевича к своим
Сподчиненным. – Устройство дружины.
– Прибытие в Чердынь Аничкова. – Нереш-
имость его объявить Строганову гроз-
ную царскую грамоту. – Ненависть воево-
ды Перепелицына к Строганову.***

Можно с достоверностью полагать, что
убеждение в покровительстве Неба целомуд-
рию и воздержанию было началом всех ры-
царских общин, а вместе с тем заключало в
себе неоспоримую истину; ибо, естественно,
от умеренности мужают и укрепляются силы
физические, а от чистоты нравов и укроще-
ния страстей возвышается самый дух челове-
ка. И Ермак, желая сделаться достойным Хри-
стовым воином, выполнял с точностью все за-

поведи Господни и обязанности православной веры, требуя того же и от своей дружины. Малейшее отступление от сих правил взыскивалось с неусыпной строгостью; а как в терпении, кротости и нелицемерной набожности вождь подавал собой пример, то самые строптивые из дружины не смели роптать и подвергались безусловно определяемым для них наказаниям. Эта строгость была необходима для удержания в подчиненности и порядке вольницы, составленной из людей буйных, мятежных, привыкших к свободе и самовольству. Потому тем удивительнее было найти в Кукуе тишину и благочиние монастырское, а просторную часовню, в которой отправлялась ежедневно Божественная служба тремя священниками и монахом, согласившимися сопутствовать Ермаку, видеть всегда наполненной богомольцами. Умеренность и великодушные крепко подтверждались казацким отрядом, отправляемым к соседственным вогулам и остякам за припасами. Ермак, имея в виду обращение язычников в христианскую веру, нередко посылал с ними священников, но старания их были, кажется,

тщетны: дикие сильно держались своего шаманства и никак не хотели с ним расстаться.

Весьма естественно, что каков бы ни был раздел собственности, приобретенной великими трудами, с гостями незванными, но не мог нравиться и кочующему народу, а потому к концу зимы казаки нашли все пустыни оставленными жителями и вынуждены были сами отыскивать запасы рыбы и медвежьего мяса, которые дикари обыкновенно сохраняют в кучах или ямах по берегам рек. Смышленность, свойственная русскому человеку, и при сем случае научила казаков легкому способу отыскивать сии житницы. Они находили их собаками, которым нарочно для того не давали по несколько дней есть; голод изощрял и без того тонкое обоняние животных, так что ни толщина льда, коим обыкновенно сибиряки прикрывают свои запасы от хищничества волков, ни глубина оврагов не спасли их от прозорливости казаков, и воины Ермаковы возвращались всегда в Кукуй с богатыми грузами жизненных припасов, расплавиваясь иногда только отмороженными носами и ушами. Совсем другой прием оказан был

им по другую сторону Рифея. Из партии, которую отправил Ермак на Тагил для разведки, едва спаслись два человека, чтобы возвестить о гибели своих товарищей: один мурза напал на них неожиданно при реке Нейве с кучей татар и вогуличей и побил всех до единого.

Кроме сей неудачи, жизнь казаков в Кукуе текла довольно спокойно и одинаково. Совершенно противное происходило в Каргедане. Там беспокойства и огорчения как будто сменяли одно другое, навеваясь большей частью из Чердыни, так что скромный, кроткий Максим Яковлевич вынужденным нашелся заметить Перепелицыну, что он обязан отчетом в своих поступках одному только царю и умеет защищать себя. Эта решительность укротила на некоторое время воеводу царского, но вскоре после Рождества Христова, почти недель через десять по отражении пелымцев и прогнании их из великой Перми, распространился слух, что в Чердынь приехал от царя новый воевода – судить Строгановых. Хотя слух сей казался новым исчадием злобы Перепелицына, у коего предатель Ласка был в осо-

бенной милости, несмотря на то Максим Яковлевич приостановил отъезд Грозы, который горел нетерпением соединиться с Ермаком, дабы в трудах и опасностях задушить грусть, снедавшую его сердце. Но вот прошло уже более недели, а из Чердыни не было никакой вести. Максим Яковлевич не хотел более останавливать дорогого гостя и отпустил его с благословением, наделив щедро всякими припасами и снарядами. С каким чувством расставалась Татьяна с любимцем души своей, это осталось ее тайной, только домашние заметили, что она час от часу становилась грустнее и мрачнее, что с каждым днем увядала красота ее, как розов цвет!

Слух о присылке в Чердынь грозного воеводы был достоверен: точно в столицу великой Перми прибыл Воин Аничков, один из любимых опричников Иоанновых. Странно было только то, что сей надменный, по-видимому неустрашимый, воевода медлил, как будто от страха, объявить Строганову царскую волю.

Там в это время, в светлице, довольно странной, но ничем не отличающейся от ны-

нешних белых изб крестьянских, ходил мерными шагами взад и вперед тучный мужчина лет сорока, с лысой головой, лукавым взглядом, неприятной наружности. По временам кидал он радостные взоры на раскрытый железный сундук, где сверху множества свертков виден был лубок, завязанный красным шнурком, и восклицал: «Подожди, именитый скряга, выучим тебя уважать царского воеводу, собьем спесь. Рад будешь поделиться последним алтыном, да лих поздно!» Потом, подумав, он продолжал говорить с собой: «Удивительно, непонятно, для чего Аничков медлит показать мне и отвести к нему опальную грамоту? Все завтра да завтра! Уж побойтся ли он головореза Ситского, а теперь-то бы, захватив его, и потешит батюшку царя, или скрывает он от меня какие ни есть тайные повеления? Надобно испытать». Говоря это, толстяк несколько раз останавливался у красного окошка и пытался теплым дыханием своим сделать проталину на крепкой ледяной коре, покрывавшей стекло. Когда удалось ему прочистить там скважинку, то припал он к окошку и долго смотрел в нее, делая по вре-

менам скромные возгласы: «Плут! Мошенник! Предатель! Постой, будешь скоро в моих руках». Проглядел ли он, или Ласка подошел невидимкой, только не успел он отскочить от своего поста и принять обычную свою личину, когда сей последний проговорил уже полное донесение от отъезде Грозы из Каргедана.

– Тем лучше, – отвечал толстый человек, в коем читатель, без сомнения, узнал уже давно чердынского воеводу Перепелицына. – Надобно уведомить Аничкова. – При этом слове он быстро взглянул на Ласку, но старый плут, угадывая мысли воеводы, не показал ни малейшего изменения в лице и отвечал с хладнокровием:

– Воину Михайловичу невелико до этого дело.

– Как невелико? – сказал с сердцем Перепелицын. – Разве не его выжидал он, чтобы ехать в Каргедан?

– Для него все равно, там ли Гроза или нет, а худо то, что допустили его, проклятого, угловорить Строганова всех своих домочадцев, саваров и крестьян перекрестить в ратники. Им роздал он рогатины, мечи и самопалы. По-

думай-ка, теперь не только пелымцы, да сам царь сибирский побоится наскочить на Строганова. Ермак давно подавал ему эту мысль, да поколе я заведовал счетной избой, то все дул в уши старому Денису, чтобы этого не заводить и потому и посему...

– Что ж ты думаешь, разве Строганов посмеет воспротивиться воле царской? Кабы его царское величество приказал мне разделаться с этим бунтовщиком, то...

– То ты сперва бы струсил, – проворчал Ласка вполголоса, глядя в скважину окна.

– Что ты тут бурчишь про себя? – спросил с гневом Перепелицын, как будто вслушавшись в его речи.

– То, – отвечал хладнокровно подьячий, – что к тебе жалует Воин Михайлович.

В эту минуту распахнулась дверь, и туча седого тумана, подобно дыму, вырывающемуся из внутренности зданий, обхваченных огнем, разлилась по полу теплой светлицы. Когда исчез сей вестник тридцатиградусного мороза, то увидели посреди горницы высокого, сухощавого мужчину, с лицом, носящим на себе вывеску пылких страстей. После

обыкновенных приветствий с обеих сторон Аничков сел под образа и спросил хозяина:

– Ну, что у вас новенького, Василий Степанович?

– Кажется, ты, Воин Михайлович, прежде меня узнал про нашу новость, – отвечал Перепелицын, кинув испытующий взгляд на Ласку.

– Ты разумеешь про уход Ситского из Каргедана? Это еще невелика беда, а вот беда, что Максим не дается нам.

– Неужто еще мало, что уговорили его жаловаться царю на своего брата?

– Мало? Нужно рассорить их до того, чтобы они разделились между собою. Пожалеешь, не хотя, что нет там Ласки, он бы это устроил.

– Много милости, батюшка Воин Михайлович, но этому делу и отсюда помочь можно, стоит только уходить старого хрыча Васильича. Он один только умеет еще ладить с Никитой и стращает его какими-то притчами.

– Уходить! Легко сказать, – заметил Перепелицын, – а сделай-ка, так и не разделаешься с Максимом. Строганов за каждого из своих лезет в гору, а за старика доберется, пожалуй,

до самого царя.

– Но если это для пользы службы его царского величества, – сказал Аничков. – Ты сам писал к государю, Василий Степанович, что Максим Строганов замыслил недоброе с беглыми волжскими разбойниками.

– Кажется, ты в том убедился, хоть недолго еще с нами пожил. Грамотки Мещеряка у тебя в руках. Если царь еще милует этих бунтовщиков, по крайней мере, поделом бы отобрать у них управные грамоты и указать ведаться в Чердынь...

– Увидим, а сперва отвезем завтра в Каргедан опальную царскую грамоту. Где она у тебя, Василий Степанович?

– Здесь, – отвечал Перепелицын, подав ему из сундука замеченный выше лубок.

Аничков, вынув из него огромный лист за черной восковой печатью, приказал Ласке читать вслух. Подьячий, прокашлявшись, погладив редкую свою бороду и расправив усы, подобные котиным, почти нараспев, не оставиваясь провозгласил следующее:

– «От царя и великого князя Ивана Васильевича всея Руси, в Чусовую, Максиму Яко-

влеву сыну, да Миките Григорьеву сыну Строгановым, писал к нам из Перми Василий Перепелицын, что послали вы из острогов своих волжских атаманов и казаков Ермака с товарищи воевать вотяки и вогуличей и пелымские и сибирские места сентября в первый день, а в тот же день собрался пелымский князь с сибирскими людьми и с вогуличи приходил войной на наши пермские места, и к городу Чердыни к острогу приступал, и наших людей побили и многие убытки людям починили, и то сделалось вашей изменой, вы вогуличей и вотяков и пелымцов от нашего жалованья отвели, и их задирали, и войной на них приходили, да тем задором с сибирским султаном ссорили нас, а волжских атаманов к себе призвав, воров наняли в свои острога без нашего указа, а те атаманы и казаки перед тою ссорили нас с Ногайской ордой, послов ногайских на Волге на перевозах побивали и ордобазарцев грабили и побивали и нашим людям многие грабежи и убытки чинили и воровали; в которой день к Перми к Чердыне приходили вогуличи сентября в первый день и в тот же день от тебя из острогов

Ермак с товарищи пошли воевать вогуличи, а Перми ничем не пособили, что все сталося вашим воровством и изменою, а только бы вы нам служили, и вы бы тех казаков в те поры в войну не посылали, а послали их и своих людей из своих острогов наши земли пермские оберегать. И мы послали в Пермь Воина Аничкова, и велели тех казаков Ермака с товарищи, взяв, отвезти в Пермь и в усолье Камское, и тут им стоять, всеми разделяся, и из тех мест на пелымского князя зимою на нартах ходить воевать велели есьмя тем всем казакам и пермичам и вятчанам со своими посланники с Воином Аничковым да с Иваном с Глуховым, чтоб вперед воинские люди пелымцы и остяки и вогуличи с сибирскими людьми на наши земли войной не пришли; а велели есьмя тем казакам быть в Перми до вины, и на остяки и на вогуличи ходити с Воином воевать, и их в нашу волю приводить по нашему указу. А вы б, пересылаясь в Чердынь с Васильем Перепелицыным и с Воином Аничковым, посылали от себя воевать вогуличей и остяков, а однолично б естя по сей нашей грамоте казаков всех, кои только к

вам из войны пришли, послали их в Чердынь тотчас и у себя их не держали, а будет для приходу вам в остроге быть нельзя, и вы б у себя оставили немногих людей, человек до ста с которым атаманом, а остальных всех выслали в Чердынь однолично тотчас. А не вышлите из острогов своих в Пермь волжских казаков, атамана Ермака Тимофеева с товарищи, а учнете держать их у себя, и пермских мест не учнете оберегать, и такой вашей изменой, что над пермскими местами учинится от вогуличей, и от пелымцев, и от сибирского султана людей впредь, и нам в том на вас опала положить большая. А атаманов и казаков, которые слушали вас и вам служили, а нашу землю выдали, велим перевешати, и вы б тех казаков допаточно отпустили от себя в Пермь и нашим делом на пелымцы и на вогуличи и на вотяки промышляли по нашему указу, ссылаяся о том с Васильем Перепелицыным и с Воином Аничковым, чтоб дал Бог их извоевать и в нашу волю привести, а Пермской земли и ваших острогов убережь. Писана в Москве лета 7091 ноября 16 дня».

– За чьей скрепою? – спросил Перепелицын, слушавший с величайшей внимательностью.

– Дьяка Андрея Щелкалова, – отвечал Ласка.

Часть третья

Глава первая

Явления, возвещавшие падение Кучумова Царства. – Кучум лишается зрения. – Ужасная тюрьма. – Казаки на Иртыше. – Пышки. – Твердость шамана. – Абалак. – Царица Сумбула. – Велика освобождается из гарема Кучумова.

Страшно ревел Иртыш, ударяя седыми волнами своими, словно железным тараном, в неприступный утес Искера. Грохот и гром, раздававшиеся от сих ударов, умножились еще падением огромных глыб и камней, низвергавшихся с большой высоты в кипящие бездны бездонной реки[47], а брызги, от того происходившие, с визгом подымались к небесам, подобно неукротимым фонтанам. Но далеко они не достигали еще до вершины утеса, на коем мелькали две человеческие тени. Бесстрашные, они спокойно приблизились к

самой оконечности висящего над бездною гранита, как будто для того, чтобы любоваться яростью волн и свирепостью урагана, потрясавших основание, на котором они стояли.

По темноте ночи мудрено бы было угадать, кто эти блуждавшие привидения в ту ужасную минуту и на том ужасном месте, а того еще невозможнее было, от воя стихий, слышать слов их, если б выкатившийся из-за Панина бугра[48] огненным шаром огромный месяц не осветил их кровавым заревом, а оставшая тишина, после промчавшегося вихрем урагана, не подала возможности понять их разговора.

– Видел ли, неверующий, знамения, которые предвещают падение твоего царства? – говорил дикий голос, схожий с говором знакомого нам шамана Уркунду, седому старцу бодрой наружности. – Видел ли, как вода в Иртыше кипела кровью, как Чувашский мыс бросал золотые и серебряные искры? Подождем до полуночи, и в твоих глазах русская собака загрызет белого волка[49].

– Да! Я видел достаточно, чтобы повесить

тебя со всею братиею проклятых колдунов, пугающих робкий народ мой столь глупыми предвестиями, – отвечал угрюмо старец.

– Нет! Кучум, не греси пред богом, вразумляющим тебя своими знамениями. Благодарю его и пользуйся...

– Дерзкий кудесник, – воскликнул Кучум, – я пощажу тебя, чтоб первые лучи солнца осветили твое гнусное тело распяленным на том кресте, который шаманам твоим видится в небеси[50].

– Если бог не совсем на тебя прогневался, то не допустит тебя до сего безумия, – отвечал смело Уркунду.

– Нет! Я дам тебе жизнь, – сказал Кучум с злобным хохотом, как будто обрадуясь счастливой мысли, – но вырву язык, выколю глаза и забью гвоздями уши, чтоб ты донес пославшему тебя гяуру обо всем, что здесь видел и слышал...

– И все это не спасет царства твоего от Божьего наказания, избравшего уже грозных мстителей за кровь братьев моих, невинно пролитую в угодность твоего Магомета.

– Язычник, вещей коршун! – вскричал в

ярости Кучум, и выдернул из-за пояса кинжал свой. Но сколь ни быстро было движение раздраженного хана, но еще скорее увернулся шаман от угрожавшего ему удара, острое оружие покатилося к ногам Кучума, и он, зашатавшись, упал на край пропасти, в которую, конечно б, низвергнулся, если б сильная рука не удержала его.

Между тем красный месяц подернулся черной тучей, как щитом закаленным, и опять завыл полуночный ветер. Уркунду (ибо читатели, без сомнения, отгадали, что не кто иной, как шаман наш, удержал хана от падения в пропасть, забыв свою собственную опасность) не мог постичь причины падения своего противника, а того более удивлен был его продолжительным молчанием, не имея возможности за темнотою прочесть причины оного на лице его.

Удивление его еще увеличилось, когда хан, крепко державший его за руку, спросил:

– Кто мой спаситель?

– Я исполнил закон бессмертного Нумы, – отвечал Уркунду.

– Как? Это ты, проклятый кудесник, вы-

рвавший невидимой силой кинжал из моей руки и накликавший эту несносную темноту, от которой я не вижу твоей рожи?

Но черная туча давно уже пронеслась, и тьма уступила место самому светлому мерцанию полной луны. Когда Уркунду взглянул на Кучума, то яркий луч ночного светила осеребрил его бледное лицо и впалые щеки. Он тотчас догадался, что хан лишился зрения.

Шаману хотелось бы весьма оставить несчастного царя в его недоумении, ибо, зная его бешеный нрав, он предвидел ярость и мщение, которым он предастся в первую минуту уверенности в своем несчастье; но Кучум не выпускал его руку из руки своей, а потому не было возможности освободиться от него, притом шаману известно было, что Кучуму стоило подать малейший знак – и тысячи вооруженных татар явятся к нему на помощь. И так Уркунду решился предаться на волю Провидения, всегда спасавшего его невинность. Но теперь, казалось, оно отступилось, и гибель его была неизбежна, ибо едва Кучум познал свое бедствие, то первой его мыслью было заключение, что шаман обая-

нием напустил на него оное. Приведя себе на память, как хотел он поразить кинжалом дерзкого Уркунду, как тот быстрее молнии увернулся от его удара, как кинжал невольно выпал из его руки и он повергся на землю, — царь не мог более сомневаться в преступлении колдуна и отдал приказ своим телохранителям бросить его в пучину. Мгновение — и бедный Уркунду полетел бы в бездну, из которой за минут до этого у он спас безжалостного судию своего; но Кучум успел еще остановить исполнение своего повеления, переменив оное на заточение кудесника в одну из тех ужасных тюрем, которые и доселе приводят в содрогание любопытствующих видеть развалины Искера. Там показывают несколько ям, похожих на глубокие колодцы, в которые утонченное варварство кидало свои жертвы, дабы увеличить муки несчастных, кои, не имея возможности ни присесть, ни повернуться, должны были стоять на ногах и не могли переменять своего положения.

Тайны гарема скрыли отчаяние царя сибирского, которому хотя поданы были тотчас же все известные тогда способы врачевания,

ничто не помогло.

Призванный наутро на совет дервиш, также нам знакомый, укреплял Кучума в гневе его на Уркунду и изобретал пытки, коими бы можно было добыть признание упрямого волхва.

– Государь, – сказал визирь Таузак, – ты всегда повелеваешь мне говорить правду: да поведаю ее теперь, хотя бы она стоила моей головы...

Кучум дал знак согласия, и визирь продолжал:

– Если б Уркунду имел злое намерение посягнуть на твою драгоценную, для благоденствия Сибири, жизнь, то ему достаточно бы было не удерживать тебя от падения в Иртыш...

– А разве он не знал, – прервал дервиш с запальчивостью, – что никакие чары не вырвали бы его из рук наших...

– Это справедливо, – продолжал с хладнокровием визирь, – но я дерзаю донести великому наместнику пророка, что теперь нет достаточной причины казнить человека, прошедшего с мирными предложениями.

– Мудрый визирь твой, повелитель правоверных, – сказал дервиш с умножающейся злобой в глазах, – конечно, не ведает кудесничества шаманов, и если они искусно напускают язвы на человека и зверей, то почему не известны им знаменья, лишаящие врага своего зрения? Позволь, государь, верному рабу твоему заметить, что для поганых гяуров, которые его подослали, нет ничего святого и твое несчастье, величайшее для всего полуночного света, важнее для них победы. Впрочем, коли шаман умел сделать зло, то сумеет и отворотить оное, нужно только исторгнуть его признание.

Хитрый дервиш знал, что струна самолюбия всего скорее достигала до сердца Кучума, но он не ведал, что рассудок управлял им не менее необузданности первого порыва гнева, кой час оный охлаждался, или мудрый Таузак призываем был для исполнения воли деспота. Таким образом, и теперь, когда визирь остался один с раздраженным царем, он умел мало-помалу довести его до того, что Кучум сознался, что шаман не только не заслуживал наказания, но имел право на его признатель-

ность, а потеря зрения была следствием его гнева, от коего все знахари молили его остерегаться. Преданный визирь униженно представил своему повелителю, что как Уркунду доказал попку им казацкой девушки у бухарца Нургали, то следует наказать насильственный поступок дервиша и возратить шаману его собственность.

– Но посланец подлого казака достоин смерти и за дерзкое предложение свое, – сказал Кучум после некоторого молчания.

– Великий повелитель полуночного мира, – отвечал визирь с низким поклоном, – конечно, войска твои непобедимы, преданность наша к священной особе твоей неограниченна; за железной грудью нашей ты мог бы предаваться спокойно радостям гарема, когда б владыко среднего царства всемогущий богдыхан напал на твои улусы из-за каменной стены своей с ополчением, равняющимся песчинкам дна моря Хвалынского, или Великий Могол двинул на царство твоё слонов своих, как горы Рифейские; не страшны и самые янычары победоносного завоевателя Царьграда, но эта горсть казаков – люди заколдован-

ные, не знающие смерти, они опаснее для твоего величия...

– Эк они тебя напугали, старый мой храбрец, своим стреляющим огнем и громами смертоносными, – прервал его хан с насмешкою. – Но подожди немного: и нам пришлют казанские самопалы.

– Прости, государь, верному рабу твоему, дерзающему донести, что требуется большая хитрость, чтоб кидать огонь из сих дьявольских труб.

– По крайней мере, люди наши не станут их страшиться более и считать казаков непобедимыми, – заметил Кучум.

– Голова моя в твоей руке, – продолжал визирь, низко кланяясь, – но верный раб твой считает долгом представить, что для безопасности твоей державы следовало бы удовлетворить просьбу шамана, дабы вступить с казачками в мирные переговоры.

– Рабский раб, – вскричал с гневом Кучум, – я покажу вам, что, лишась зрения, я не лишился бодрости души и не струшу шайки разбойников.

– Великий пророк да умудрит тебя, повели-

тель правоверных, положить преграду крова-
вому потоку сих ужасных пришлецов, кото-
рых доселе ничто не может удержать. Тебе из-
вестно, государь, сколь тщетны были первые
усилия храброго князя Епанчи: три дня сряду
со своими татарами и вогуличами пускал он
на казаков тучи стрел с высокого берега Туры.
Не остановила их и железная цепь, которую
приказал ты протянуть поперек Тобола...

– Виновен в том есаул, допустивший Ерма-
ку обмануть себя, – прервал его царь. – Из-
менник тратил стрелы и время попусту, стре-
ляли в чучелы, которые Ермак поставил на
плоты свои вместо казаков, а сам, обойдя пре-
дателя лесом, напал на него врасплох. Голова
изменника висит на Чувашском мысу...

– Но думный советник твой, Карача, бился
пять дней на открытом поле и в засадах, с си-
лою вдесятеро более Ермаковой, а не отстоял
ни своих мешков с золотом, ни твоих кадей с
медом.

– Разве тебе не известно, что Маметкул сто-
рожит теперь казаков в крепкой засаде с ве-
ликою ратью? Иртыш не увидит их на бере-
гах своих. Племянник запасся и мешками для

голов поганых гяуров, – прибавил царь с довольной усмешкой.

– Страшусь, повелитель правоверных, – сказал робко визирь, – чтоб эти головы не прибежали сюда на своих ногах и с пищалями в руках.

– Таузак! – воскликнул Кучум с негодованием. – Ты, кажется, из числа тех легковерных тварей, которых напугали волхвы предзнаменованиями о падении моего царства. Завтра же да объявится по всем мечетям и базарам, что глава сих обманщиков, проклятый Уркунду, предан великим пророком в наши руки и понесет достойное наказание за свое коварство. Таузак! – продолжал хан несколько хладнокровнее. – Я собственными глазами уверился, что явления, которые, по словам их, предвещают падение моего царства, не существуют. Ты знаешь, я давно обещал великие награды тому шаману, который бы их мне показал. К счастью, явился от Ермака Уркунду с известной тебе просьбой, и я дал слово ему все выполнить, если он докажет мне справедливость своих волхвований, иначе грозил ему мучительной смертью. Уркунду согласил-

ся: вчера в самую бурную ночь он повел меня без стражи, без свидетелей, на высокую скалу Иртыша. И что же представилось глазам моим? Красный месяц отражал пучину реки кровавым светом, а он уверял меня, что она течет кровью; волны реки ударялись о Чувашский мыс белой пеной, а он заставлял меня принимать их за серебро и золото. Хвала великому Мухаммету, не лишившему меня зрения, доколе я не убедился насчет сего суеверия. Признаюсь, оно начинало грызть мое сердце...

– Государь! Повели и у меня первого отрезать язык за дерзость, но я не смею скрыть, что шаман в твоём и всего мира несчастье обвиняет твою высокую особу...

– Что! Он дерзает еще клеветать на царя сибирского? – воскликнул с гневом Кучум.

– Он клянётся светом и тьмою, огнем и водою, землею и небом, повелитель правоверных, что ты увидел бы все сии знамения в воде, на земле и на небе, если б послушался его и не брал с собою кинжала. Острие булата заключает таинственное привлечение злых шайтанов и отпирает, как ключом, врата ада,

в который заключены они были его заклинаниями для показания тебе тайны судеб. Тьма преисподней пахнула в твои очи, и они закрылись навеки.

В эту минуту взошел поспешно вестник и донес, что казаки, разбив мурзу Атика, завладели его крепким городом.

– Казаки на Иртыше! – воскликнул в испуге визирь.

Кучум грозно подвигся на робкого своего вельможу; но, без сомнения, неожиданная весть о приближении казаков вместе с суеве-рием, утвержденным последним рассказом визиря и чудесностью событий, умили гнев его и расположили к снисходительности. После продолжительного совещания с верховным министром своим он согласился наконец не только с честью отпустить шамана, но и отдать ему прекрасную казачку, за которую Уркунду именем атамана обещал ему безопасность всем его женам, если б судьба войны представила их в руки победителей, и что, как мы видели выше, привело его в крайнее раздражение.

Добрый визирь немедленно отправился к

застенку, дабы как можно скорее изъять бедного шамана из когтей непримиримого врага его дервиша, которому царь, в первом порыве гнева, позволил выпытать у него тайну его исцеления. Хотя истязания, приводящие ныне в содрогание самых жестоких людей, были свойственны и обыкновенны в том веке не только между азиатцами, но и в самой Европе и хотя первому министру царя народов грубых, невежественных, полудиких, более схожих со зверями, чем с людьми, доводилось нередко приводить в исполнение самые кровавые приговоры, – визирь ужаснулся при первом шаге в застенок. Это было изображение в лицах Страшного суда, коими, бывало, расписывались паперти при старинных церквях русских. Тут на пылавшем костре в огромном котле кипела смола, в которой обыкновенно купали узников, в случае, если ни одно из средств, придуманных самим адом, не могло исторгнуть у них признания; когда ни железная кровать, на коей вытягивалось человеческое тело на пол-аршина длиннее обыкновенного, ни тиски, кои, с величайшим искусством захватывая жилы у ног и рук, медлен-

но тянули их в противном направлении, ни стряски (для чего обе руки преступника близ ладоней связывались длинной веревкой и он поднимался воротом к самому потолку за стенка, а потом вдруг опускался, отчего руки его выходили из плеч и он висел в сем мучительном положении), недостаточны были, чтобы заставить несчастного сознаться в преступлении, в котором его обвиняли, или сказать то, что от него требовали. Хладнокровие палачей, не внимавших стенаниям страдальца и равнодушно увеличивавших его муки, уподобляло их жителям преисподней, а дервиш, который со злобной радостью готовил себе продолжительное удовольствие, взирая на множество орудий пытки и надеясь на упрямство Уркунду, превосходил злостью самого Вельзевула. К счастью, визирь застал еще начало первого испытания, которое было бы приступом к дальнейшим истязаниям и состояло, по мнению дервиша, из самого легкого опыта. Уркунду крепко привязан был веревками к деревянному кресту, так что не мог пошевелиться ни одним членом, а в это время забивали ему гвозди под ногти. Кровь ли-

лась ручьями, судорожные движения лица доказывали нестерпимую боль несчастного, однако ни одно слово, ни одна укоризна не изменили твердости его духа. Без сомнения, с тем же равнодушием шаман дал бы вытянуть себе жилы, содрать с себя кожу, сварить в котле, но до последнего издыхания не сказал бы лжи для своего избавления. И если ожесточение его к жизни простиралось до такой степени, что он не изъявил даже большой радости, когда визирь именем царя приказал прекратить пытку, то дервиш взамен того был в отчаянии, что ему не удалось потешиться над своим неприятелем.

Однако улыбка удовольствия блеснула и на лице шамана, когда Таузак объявил ему, что царь соизволяет на его просьбу и приказал выдать ему казачку из своего гарема. В то же время он всунул ему в руку ханский перстень, который служил вместо фирмана знаком безусловного повиновения тому, кто его предъявит, и ключом, растворяющим самые крепкие, таинственные затворы. В особенности это необходимо было в теперешнем случае, ибо сераль царский давно отправлен был

вместе с царицей Сумбулой в Абалак, лежащий на берегу Иртыша, в пяти верстах от Искера вверх реки, со строгим приказанием впускать туда только того, кто покажет сей перстень, который редко сходил с царского пальца.

Шаман, несмотря на распухшие пальцы правой руки своей, тотчас же пустился в Абалак под прикрытием царского евнуха. Кучум не мог избрать места безопаснее для укрытия своего драгоценного залога, как сей высокий утес, укрепленный природой таким образом, что оно могло почесться неприступным без разрушительного действия пушек, коим не могут противиться самые необоримые твердыни. Представьте себе гранитный столб в тридцать сажень вышиной, поставленный над рекою, и столь гладкий, что осаждающий неприятель никакими усилиями или искусством не мог взобраться и до половины оною, а осажденные имели всю возможность поражать его из-за зубцов, которыми окружалась верхняя площадка как амбразурой, устроенной рукой хитрого инженера. Искусство пособило природе только проведением различ-

ных сообщений, обеспечивавших крепость в случае продолжительного обложения оной. Выходы сии были сделаны в трех местах: со стороны Искера, от реки и к дремучему лесу, примыкавшему к самой стене от севера. Малейшее движение неприятеля не укрывалось от осажденных, а они легко могли получать пособие или оставить крепость с той стороны, где неприятель беспечнее или слабее.

Талисман скоро отворил шаману железные врата крепости, но не так скоро довел его до сокровенностей сераля. Выдача одалиски из царского гарема привела в неописанное изумление и волнение всех жителей Абалака, ибо летописи целой династии Кучума, от времен славного Шабан-хана, знаменитого его родоначальника, не представляли подобного примера позора и напасти. Девушка, попавшая раз под надзор евнухов и состарившихся царских наложниц, освобождалась из рук их одной могилой. Правда, хроники сибирского двора повествуют о двух или трех отставных одалисках, коими угодно было хану наградить своих вельмож в знак отличного к ним благоволения!

Но знаете ли, чего я опасаясь более всего? Боюсь, что многие из читательниц моих, хотя бы я поклялся им самим пророком Магомтом, не поверят мне, что сама царица Сумбула искренне старалась удержать Велику в своем гареме и даже предлагала шаману кучи золота и серебра, чтобы он отказался от своего требования. Боже мой! Как бы захлопотались наши жены, если б привелось им снаряжать в дальнюю, невозвратную дорогу своих соперниц. Сколько бы пожертвований сделали они, чтобы поскорее сбыть их с рук долой! Но справедливо говорит пословица: что город, то норов, что деревня, то обычай!

Как бы то ни было, а повеления царя должны быть выполнены. Царица решилась сама объявить бедной Велике, что злой судьбой лишается она счастья быть сто шестнадцатой одалиской великого царя, и, увы! тогда, как сие верховное счастье было уже неотдаленно! Царица полагала, что нужно будет уговаривать и утешать бедную казачку; но сколь велико было ее изумление, когда она не услышала ни воплей отчаяния, ни рыданий, а заметила улыбку радости, которая блеснула на

прелестном лице узницы тогда, как она думала поразить ее ужасным ударом! Сумбула столь оскорбилась низкими чувствами казачки, что приказала немедленно удалить ее с глаз своих.

Велика долго не хотела верить своей свободе; долго слова о избавлении своем считала грезой, ибо она беспрерывно слышала, что никакая человеческая сила не в состоянии исторгнуть ее из-за крепких затворов царского гарема, что ничто не может изменить ее предопределения... Несчастливая решилась положить на себя руки, когда бы жестокие приставы не тронулись ее слезами и мольбами... Близок был час сей: одна только отсылка жен из Искера отдалила оный. Уже каждый день наряжали Велику в новые парчовые платья, каждый день подносили ей на золотых блюдах новые ожерелья, пониски, запястья из крупного индийского жемчуга и драгоценных камней, сундуки ее наполнялись серебряными рукомыльниками, лоханями и ларцами – а она все более и более плакала! Недаром говорится пословица: и через золото слезы льются. Велика осталась теперь без ни-

чего; гневная Сумбула приказала отобрать у нее все ее сокровища, – а она была счастлива, она блаженствовала, как пташка, вырвавшаяся из золотой клетки.

Сколь ни бедна была одежда Велики, в которой отпустили ее из нынешнего заточения, однако Уркунду нашел ее еще слишком богатой и неспособной для путешествия по лесам и болотам и достал ей простое остякское платье; но Велика и под безобразной одеждой остячки была райским существом и в широком меховом мешке, как Душенька в сарафане, – она поразила бы красотой своей всякого, кроме Уркунду, слишком равнодушного к женским прелестям. Вероятно, однако, и он заметил, что опушка из черных соболей, которыми обложена была ее шапка, слишком отражала белизну ее лица, ибо велел ей опустить на глаза занавеску или покрывало, пришиваемое обыкновенно остячками сзади к парке вроде капюшона, а каштановые косы ее, отливавшиеся бархатом, прикрыть суконными полостями. К счастью, шаман не более разумел о прелести женской ножки, иначе он велел бы снять Велике светло-голубые песцо-

вые чулки, которые обрисовывали ножку, выточенную грациями, а обул бы ее в вогульские берестяные лапти.

Читатель видел на опыте необыкновенную сметливость, проворство и усердие шамана, а потому может быть покоен, оставляя Велику под защитою столь опытного путешественника, хотя, правду сказать, им предстояли труды невероятные, опасности чрезвычайные для достижения цели своего путешествия.

Глава вторая

Казаки постятся сорок дней. – Ермак ведет их к засеке. – Кровопролитие. – Опасность. Неожиданная перемена. – Победа. – Бегство Кучума. – Гроза пропал. – Догадки. – Узники. – Торжественный вход победителей в столицу Сибирского царства. – Взгляд в оную. – Сокровища, там найденные. – Необыкновенная роскошь Кучумова гарема. – Непрístupное положение Искера.

Мы видели из предыдущей главы, что Ермак, завладев крепким острогом мурзы Атик, поставил тем самым ногу на Иртыш. Но вот уже с тех пор прошло шесть недель, а он не двигается с места, между тем как Кучум обвел двойным валом свою столицу, собрал войско из всех улусов, выслал племянника Маметкула в поле с многочисленной конницей, а сам с двумя огромными пищалями засел на Чувашском мысу. Казалось непонятным, почему Ермак, доселе предприимчивый, дальновидный, медленностью своей допустил неприятеля принять против себя столь грозные меры, почему он не грянул на Кучума тотчас по взятии Атика, когда непрерывные победы, ниспровержение всех препон, поставленных самой природой, наводили страх на сибирские народы, представляя казаков существами сверхъестественными?

Широкими шагами ходил Ермак по пространной землянке своей в глубокой задумчивости и тихо говорил что-то, как будто беседуя с собственной своей тенью, которая от пылавшего посредине в чувале огня рисовала другое движущееся существо, когда вошел к

нему сторожевой казак и донес, что ночной обход взял двух остяков, пробиравшихся по оврагу.

– Отвесь к Мещеряку, – сказал в рассеянности Ермак и продолжал ходить, углубляясь все более и более в думу. Но мало-помалу стал говорить громче. – Да! Должно их допросить, может быть: это лазутчики: никогда не требовалось более осторожности... Мещеряк добьется толку, хоть будь они каменные. Вот к чему нужны и злодеи... Доселе бы я не верил храброму моему Кольцу, что он совершенный злодей, если бы злые люди не были предателями. Спасибо, право, есаулу Самусю, что открыл мне глаза насчет своего закадычного друга. Я своими собственными ушами слышал, как сей изменник возмущал слабые умы к неповиновению, как уговаривал их воротиться на Дон – когда мы уже стоим на Иртыше! Я мог бы, я должен бы тотчас его повесить, но нет, нужно еще его потерпеть. Злодеи опасны, когда и не знают...

При этом слове раздался звон благовеста.

– Слава богу, – сказал атаман, перекрестясь, – вот и призыв к великому делу.

Когда Ермак вошел в часовню, она уже была полна казаками, с благоговением ожидавшими начатия Божественной службы. После заутрени следовала тотчас обедня, за которой все до единого сподобились святого причастия. Всякий христианин испытал на себе, сколь неисповедимое таинство сие оживляет упавший дух и изнуренные силы телесные. Тяжкое бремя грехов, спадая как камень от сердца, располагает человека к высоким предприятиям. Ермак не упустил воспользоваться сей святой минутой; облобызав всех, он обратил речь:

– Товарищи, друзья, братья! Сорокадневным постом и молитвою восстановим силы наши телесные и душевные, мы тщились возблагодарить Господа за победы, водрузившие знамена наши на берегах Иртыша, за утверждение умов шатких и слабых в истине, что еще не настало время думать нам о возвращении на родину. Нет! братия, мы не возвратимся в Россию с пятном клятвопреступников, смирим Кучума или умрем завидной смертью верных сынов отечества. Теперь настало желанное время: Кучум собрал все силы свои;

мы разобьем не отдельного мурзу, а целое царство. Бог нередко дает победу слабым мимо сильных, да святится имя Его.

Дружина воскликнула «Аминь!» и с первыми лучами солнца устремились к засеке, восклицая: с нами Бог! Неприятель с возвышения осыпал храбрецов стрелами и копьями, но, видя, что это не остановило их, двинул бесчисленную конницу под начальством Маметкула. Ермак знал, что весьма важно выдержать первый натиск татарских наездников, а еще важнее отразить их, когда после сего они молнией рассыпаются и являются неожиданно с тыла и с боков, а потому он изменил строй своего воинства при первом движении Маметкула, который с ужасным ревом, как грозная туча, поднялся с пригорка и неся втоптать в землю горсть дерзких смельчаков. Казаки, бестрепетно допустив его на самое близкое расстояние, встретили дружным залпом. Убийственный удар произвел самое счастливое действие: дикие лошади, устрашенные громом и дымом, поражены были таким страхом, что вышли из повиновения у своих всадников и, закусив удила, по-

мчались с ними назад. Маметкул, казалось, однако ожидал сего бедствия, ибо в то же самое мгновение обскакал неприятеля со свежим многочисленным отрядом, не полагая, что там готов был ему подобный прием. Уже казаки надеялись скоро отразить татарскую конницу, как вдруг из засеки, подобно бурным потокам, хлынули толпы отборных Кучумовых ратников, которые в исступлении кинулись на малочисленных русских витязей с саблями и кинжалами. Тут Ермак показал все знание воинского дела и удивительную распорядительность. Он двигал стройными рядами своих воинов с таким искусством, что в то время, как передние резались, задние успевали заряжать свои пищали и редить густые толпы неприятельские меткими выстрелами. Кровь лилась рекою, люди падали с обеих сторон, и хотя татары теряли вдесятеро более, но новые кучи заменяли убитых, казаки все же слабели. Слепой Кучум, стоя на горе с имамами и муллами, непрерывно высылал из трех проломов свежие войска, поощряя их именем Магомета к спасению правоверных. Ермак именем Бога заклинал свою дружину

умереть, а не уступить варварам. Он еще надеялся удержать победу или, по крайней мере, утомить неприятеля, подобно, как то случилось незадолго до взятия Атика, но, наблюдая орлиным глазом своим малейшие движения с обеих сторон, он заметил вдали небольшое облако пыли; через минуту облачко прояснилось, и Ермак видит, что Маметкул, собрав беглецов своих, вихрем летит на казаков с тыла. Удар сей мог быть пагубен для изнуренных его воинов; но в ту же минуту усматривает Ермак, что какой-то всадник, подскочивший с другой стороны, преграждает путь татарскому вождю и низвергает его с борзого коня... Более ничего не мог он различить, однако смятение, пыль и вопли, раздавшиеся в татарском войске, удостоверили Ермака, что случилось там нечто чрезвычайное, и он, чтобы обратить сие в свою пользу, отрядил туда Кольца с полсотней удальцов, приказав, однако, недалеко от себя удаляться. Вслед за сим с быстротою молнии пронесся слух, что храбрый Маметкул смертельно ранен и увезен мурзами в лодке на другую сторону Иртыша. Войско без предводителя дрогнуло: князья

остякские дали тыл, бежали и татары.

Ермак воспользовался сей счастливой переменой как великий полководец. Несмотря на чрезвычайную усталость и умаление своих воинов, он повел их на приступ к засеке и успел еще с последними лучами закатывающегося солнца водрузить свои знамена на вершине неприступной Чувашской горы, на том самом месте, где за несколько до этого часов гордый Кучум, окруженный сонмом мурз, тарханов, князей и телохранителей и огражденный двумя огромными пищалями, считал себя непобедимым.

Первым делом христиан воинов было возблагодарить Господа за явное к себе милосердие: они тотчас же отслужили молебен. Но сколь ни решительна была сия победа, сколь ни требовали изнуренные силы их отдохновения, однако они во всю ночь не смыкали глаз, опасаясь нападения[51]. Утреннее солнышко принесло некоторую отраду: казаки увидели вокруг себя совершенную тишину и пустоту; тоже самое донесли и посланные во все стороны лазутчики. Более же всего порадовало Ермака известие, что оставленная в

Атике тяжелая артиллерия на судах со всем обозом и сокровищами, купленными толикою кровью и трудами, находились в совершенной целости, хотя, правду сказать, он крепко надеялся, что атаман Гроза, коему поручено было сие опасное дело с полусотней охотников, выбранных из всей дружины, отразит целые полчища варваров и продержится несколько дней даже от целой Кучумовой силы. Тотчас же отправлено было достаточное число людей для доставления судов со всем имуществом из Атика к Чувашскому мысу, который Ермак находил еще крепче первого.

Наблюдая строго меры осторожности, Ермак приказал остальным казакам предаться отдохновению, дабы ночью опять бодрствовать. К вечеру пришли благополучно и все лодки из Атика, только крайне всех огорчило известие, что храбрый Гроза пропал без вести. Атаман не полагая, чтобы Гроза, примерный исполнитель своих обязанностей, решился оставить пост свой, коего знал он всю важность, относил пропажу его к тайному убийству; но Кольцо утверждал, что у друга

их, как он сам знает, не было ни одного врага, что все его любили за доброту сердца, услужливость и отвагу.

– Ты давеча сказал, – продолжал Кольцо, – что видел, как Маметкула сшиб с его коня на скакавший со стороны наездников всадник. Уж не Гроза ли это? По бурной душе и предприимчивости нашего друга дело статочное.

– Между нами будь сказано, – отвечал Ермак, – мне самому не раз приходило это на мысль; скажу признательно, даже по ухватке этого головореза померещилось, будто вижу Грозу. Знаю, что он, пожалуй, не задумался бы один напасть на царевича посреди его рати; но где ему достать коня и отчего ему пришло в голову такое безумие?.. Твоя воля – чересчур мудрено...

И атаманы общим советом стали придумывать средства найти следы пропавшего товарища. В это время представили им двух остяков, пойманных ночью, как мы видели выше, в Атике накануне битвы, которых Мещеряк запер в глубокий погреб. Разумеется, что все узнали в старшем из узников шамана Уркунду, а о младшем известились уже от се-

го последнего. Горе и труды изменили до того черты прекрасной Велики, что никто не отгадал бы в ее длинном бледном лице пухлых, румяных щечек дочери атамана Луковки, бывшей украшением и дивом целого Дона! Со всем тем Ермак чрезвычайно был рад чудному ее избавлению и сожалел только, что радость сию не мог сообщить бедному Грозе, о котором приказал сказывать Велике, что он отправлен с отрядом в поход. Но Уркунду кой час узнал о истинной причине пропажи своего друга, то, не сказав никому ни одного слова, не простившись даже с Великою, исчез из лагеря.

В двое суток казаки собрались несколько с силами. Ермак чувствовал, что одержанная ими решительная победа принесет плоды свои только тогда, когда займут они столицу царства Сибирского, без чего гибель их, несмотря на все успехи, неизбежна. Реки покрывались уже льдами, глубокие снега скоро нанесут голодную смерть, если он оставит вокруг себя врага сильного. Итак, двадцать шестого октября с рассветом дня Ермак повел свою дружину к столице Кучума – с решимо-

стью победить или умереть под стенами ее. Не встречая нигде неприятеля, казаки сделались еще осторожнее, полагая в каждом овраге, за каждым камнем или леском найти сильную засаду. Но вот уже спустились они в первый ров, ожидая тучи стрел, которые покроют их; поднимаются и на вал, а не видят никакого сопротивления; с обнаженными мечами и зажженными фитилями проходят и на другой ров без малейшей встречи. На втором валу Ермак велел остановиться и вызвал охотников для освидетельствования крепости. Явилось их столько, что атаман должен был половину оставить. Ермак все еще опасался обмана со стороны неприятеля, боялся, что он заманивает его в какую-нибудь теснину. Уже он раскаивался, что упустил шамана, который теперь мог быть всех полезнее, как возвратившиеся осмотрщики единогласно донесли, что в целом городе не нашли живой души. Удивление скоро уступило место беспредельной радости: завоеватели бросились обнимать друг друга, поздравляли один другого с окончанием всех бедствий, с сохранением жизни, которую думали положить

здесь, и, построясь в грозные ряды, с распущенными хоругвями, при звуках труб и литавр заняли и столицу Сибирского царства. Но, не входя в дома, не позволяя себе ни малейшего любопытства, они отправили прежде всего благодарственный молебен с пальбою из всех бывших при них пушек и пищалей.

Сокровища, найденные победителями в разных местах и видах, удостоверили достаточно, что Кучум оставил свою столицу с величайшей поспешностью, забрав только самое драгоценное и легкое. Видно было, что страх жителей Искера до того простирался, что они единственно думали о спасении своих семейств, полагая, что победители следуют ба ними по пятам.

Золото, серебро, индийские парчи, драгоценные камни и меха Ермак приказал снести в одно место, дабы по-братски разделить, взяв и себе ровную со всеми часть. Съестные припасы, коих найдено также великое множество, собраны были вместе и отданы есаулу Брязге для общественного употребления.

Хотя здания Искера не имели даже харак-

тера нынешней азиатской архитектуры и состояли большей частью из деревянных изб или мазанок, покрытых дерном равномерно, и внутреннее расположение палат богатейших мурз нашел бы весьма тесным и неудобным даже зажиточный селянин русский, но казакам, столько времени не вкушавшим сладостей оседлой жизни, подобно тому, как победоносная гвардия русская, возвращаясь из турецкого похода, мечтает об отдохновении в дымных хатах подольских, – показались они и великолепными и покойными. В особенности узорчатые войлоки и мягкие ковры, составлявшие, впрочем, главное или даже единственное убранство домов татарских, были для них предметом величайшей неги. Дворец царский выстроен был по образцу хивинского зодчества из больших плит сырого кирпича и отличался от других строений единственно обширностью своего гарема, где казаки были поражены роскошью, доселе неслышанной и невиданной, роскошью, которая в холодной Сибири вряд ли не заключала в себе столько же прелестей, сколько прохладные фонтаны имеют в знойных песках Африки,

которая, наконец, свидетельствует вместе с сими последними о превосходстве магометан перед европейцами в изобретении неги, согласной с климатом и ближайшей к природе.

Как не пожалеешь после этого, что какой-нибудь ахун или мулла не оставил нам подробной хроники об обыкновениях двора царя сибирского, об обычаях, в то время существовавших, о модах, допускавших и слепых подражателей оным до глубокой старости. Мы увидели бы, конечно, что в Искере или Абалаке не было строений, схожих с багдадскими или цареградскими, подобно тому, как у нас теперь в Архангельске и Астрахани архитекторы выдают обывателям планы на дома одного размера и фасада, между тем как в первом должно вооружаться против морозов, а в другом – изыскивать средства к прохладе, и оттого в обоих страждут жители. Мы увидели бы, может быть, что щеголи искерские не гуляли по тридцатиградусному морозу с открытой грудью, подражая жителям счастливой Аравии, и не нагуливали себе чахотки, а женщины не стягивали безжалостно своих талий, хотя по соседству

жительницы Китая сжимали, как и ныне, свои ножки. Мы увидели бы... Но пора кончить невероятные предания, поспешим удовлетворить любопытство милых читательниц мод чужестранных, которые, вероятно, с нетерпением желают узнать о роскоши гаремов царя сибирского, поразившей казаков, дабы иметь время убрать, подобно им, на зиму свои петербургские или московские будуары. Да, сударыни, прикажите поскорее разрушить стены ваших кабинетов под фальшивый мрамор, увеличивающий лихорадку в продолжение двенадцатимесячной белой и зеленой зимы нашей, и обейте стены черными соболями, коими была убрана внутренность минаретов Кучумова гарема[52]. Вот истинно была бы роскошь русская, которую, право, не худо ввести в моду и для того, чтобы разорить нескольких лордов и баронов, захотевших подражать нам, как мы разоряемся из подражания им!

Покорители Искера не предались, однако, бездействию и неге, на которые призывали их удобства новых жилищ и изобилие продовольствия. Нет! Ермак Тимофеевич, показав-

ший братство и равенство при разделе добычи, вступил тотчас же после сего в права начальника строго, не имеющего ничего общего со своими подчиненными. Немедленно приказал он собрать тела убитых на последнем побоище у засеки, как своих, так и неприятелей, которых не успели они увезти с собою, и на другой день с честью предать земле на Сауксанском мысу, где было древнее кладбище ханов, отслушав панихиду по убиенным братьям[53]. Потом занялся приведением в лучшее оборонительное положение своей столицы, хотя она почиталась неприступной, защищаясь с двух сторон крутыми берегами Иртыша, с третьей не менее глубоким рвом, по которому текла речка Сибирка, а с последней, состоявшей из отлогости, тройным валом и рвом. Огородив слабые места крепкими палисадами и поставив на них огнестрельные свои орудия, а на спусках во рвы устроив по образцу Каргедана подъемные мосты и вестовые башни, Ермак считал себя совершенно обеспеченным от нападения Кучума, хотя бы сей последний подвиг на него всю Сибирь; а сам мог с большой удобностью распростра-

нять свои завоевания по всем направлениям.

Глава третья

Остяки, вогуличи и татары просят милости и покровительства у победителей. – Присяга в верности, по их обычаю. – Новая услуга Уркунду. – Ермак – обладатель обширного царства. – Взгляд на первоначальные его подвиги в Сибири. – Усмирение возмущений. – Преодоление препон, поставленных природой.

Тридцатого октября, через четыре дня после завладения Искера казаками, явился перед воротами одного остякский князь Боар с многочисленной толпой народу. Они принесли победителям дары и запасы и просили милосердия и покровительства. Разумеется, что казаки приняли их сколь возможно дружелюбнее и ласковее, желая приветливостью привлечь и прочие кочующие племена дикарей сибирских.

Остякский князь, быв среднего роста, почитался великаном и богатырем между со-

племенными народами от берегов Тобола до Оби и Ледовитого моря. Он имел лицо плоское и желтоватое, густые русые волосы на голове и несколько редких рыжих прядок вместо бороды. Одежда его от прочих остяков отличалась собольим мешком, который служил ему вместо рубашки, и шапкой из бурых лищиц. Но и сквозь сии драгоценные покровы являлась самая отвратительная нечистота. Сверх этого мешка надета была кожаная парка вместо кафтана.

Ермак приказал приготовить для дорогих гостей богатое угощение, а Боара пригласил к своему атаманскому обеду. Когда князь накушался сибирских щей из сараны с оленьим мясом и жирной ушицы, приправленных солью, составлявшей величайшее для них лакомство, до того, что жир вместо пота выступил у него на лбу и на щеках, – то сделался смелее и говорливее.

– Мы тебя боялись пуще Луса, – сказал Боар, обращаясь к Ермаку.

– Да, князь, – отвечал сей последний, – мы страшны врагам нашим, а покорным людям худа не делаем.

– Татары настращали нас, – продолжал Борар, – будто вы пришли с полудня выесть все полуночное царство.

– Хотя бы мы вдесятеро более вашего ели, – заметил атаман с усмешкою, – то во столет не вычерпали бы рыб из ваших рек, а из лесов не выловили бы птиц и зверей. Всего бы еще вдоволь осталось вам и после нам.

– То бы так, – отвечал князец, – да, вишь, они насаказали, что вы глотаете не зверей, не птиц, не рыб, а людей и что тащите с собою железные печи, которыми издалуче печете вдруг по нескольку человек...

Это известие крайне всех позабавило.

– Да кто же это добрый человек, который растолковал вам, что татары вас обманывают и что мы не только не людоеды, да не едим и стервятины, которую они, проклятые, трескают? – спросил его Ермак.

– Правда твоя, хан, – подхватил князь с приметным удовольствием, – он добрый человек, очень добрый человек и большой разумник. Пичебами сделал нам много добра, и не только мы, но и жены наши, и дети, и собаки обрадовались ему, как красному солныш-

ку. Мы ему верим не хуже Иннень Нома.

– Видно, он нас хорошо знает, – сказал атаман.

– Хорошо, хан, очень хорошо, – отвечал Борар. – Много об вас доброго говорит...

– Кто же этот Пичебами? – сказал Ермак, обращаясь к атаманам. – Не помнит ли его кто из вас? А я, право, забыл.

– Пичебами называют остяки своих шаманов, – заметил Мещеряк.

– Ну так это, верно, наш приятель Уркунду, – перебил Ермак.

– Уркунду, Уркунду, – воскликнул князец.

– Что ж он у вас делает, зачем он у вас остался? – спросил с поспешностью атаман.

– Он привел с собою вашего молодого хана, да такого худого и хворого, что пошевеливаться не может.

– Об заклад ударюсь, что Уркунду отыскал нашего бедного Грозу, – сказал с живостью атаман Кольцо. – Позволь мне, Ермак Тимофеевич, сходить повидаться с ним.

– Поди, пожалуй, – отвечал Ермак, – только с тем, чтоб постараться перенести его сюда. В наших новых хатах будет ему теплее и

покойнее, чем в остякской каре.

Отпуская остяков восвояси, Ермак обложил их легкой данью и приказал им принести клятву в верности и послушании. Чтобы сделать сию церемонию сколь можно торжественнее, применяясь, впрочем, к их обычаям, – собраны были все казаки в кружок на площадке, посредине которой разостлали медвежью шкуру и положили на нее топор с куском сухаря. Присягавший входил на кожу и произносил следующую клятву: если я изменю, то пусть растерзает меня медведь, убьет топор и задушит первый кусок, который отпущу в горло. Надобно заметить, что остяки доселе воздают сим страшным царям дремучих лесов своих род богопочитания. Убив медведя, они поют ему извинительные песни, а содрав с него шкуру, низко кланяются и благодарят, что он позволил снять с себя шубу.

Через несколько дней явилось и множество татар с женами и детьми, коих Ермак также обласкал, успокоил и отпустил в их прежние юрты, обложив посильным ясаком. Присягу в верности приносили они также со-

образно своему обычаю – целованием сабли, обогрелой кровью. Честное предание казаками земле убитых их братии на месте, священном для всякого магометанина, и великодушное освобождение Ермаком, вследствие данного им слова через Уркунду, жен Кучумовых, которых захватил отряд казаков, посланных для преследования неприятеля по взятии Искера, привлекло сердца мусульман к своим победителям.

Итак, бывший незадолго атаман разбойников сделался обладателем обширного, богатого царства. Хотя достаточно узнать одни последние действия Ермака Тимофеевича, дабы получить понятие о его правах на звание героя истории; но для связи повествования покажем, что то же мужество, та же предприимчивость и благоразумие ознаменовали и первые шаги его в Сибири.

Мы оставили казаков зимовать в Кукуе. Благотворения сибирской весны начинаются настом, коим покрываются пухлые снега, как крепкой корой, от действия мартовского солнца. Кора сия под конец весны столь тверда, что в состоянии подымать не только чело-

века или лошадь, но самые большие тяжести. Это не укрылось от прозорливости Ермака Тимофеевича: он хотел воспользоваться сим удобством, чтобы перетащить в черные реки [54], через хребет Урала, тяжелые свои лады, а может быть, вместе с тем не желал ли он дать занятие дружине своей, для коей бездействие было вреднее самых тяжких трудов?

Весело принялись казаки за столь отважное дело. Глубокие овраги, дремучие леса, самые горы уступали мощной руке богатырей русских. Удивительно, неизмеримо кажется теперь, при всех успехах механики, как возможно было выполнить столь дерзкое предприятие: днища нескольких судов, оставленных казаками на дороге между Серебрянкой и Баранией, представляются то висящими на неприступных утесах, то едва выказывающимися из глубины пропастей вершины вековых лиственниц и елей, выросших на их сгнивших островах!.. Впрочем, удивление сие умалется, когда вспомним, что громады сии перевозились по насту, которым ровняются глубокие овраги, а крутизны делаются приступнее, и с помощью коего, без сомнения, Ермак до-

стиг бы желанного успеха, если б слишком ранняя весна не ниспровергла его усилий. Вряд ли был другой пример в летописях Сибири, чтобы в апреле рухнули снега и полились быстрые реки с гор. Ермак вынужден нашелся оставить свое гигантское предприятие и, перейдя на реку Журавля, принялся строить новые суда, более схожие с плошами.

С первой, так сказать, весенней струей казаки внеслись в царство сибирское. Беспрепятственно промчались они по быстрому Тагилу и, войдя в Туру, не видали неприятеля; но Ермак отдал приказ быть в готовности: ему дано было знать, что невдалеке предстанет необходимость обнажить меч свой – на высоком берегу реки стоял городок князя Епанчи, который защищаем был великим множеством татар и вогуличей. И действительно, едва приблизились казаки к берегу, как были встречены тучей стрел. Ермак приказал трем лодкам, на которых находились пушки, встать рядом и длинным залпом отвечать на приветствие Епанчи. Неожиданный гром привел в страх и трепет дикарей: они покидали свое оружие и обратились в бег-

ство. После сего Ермаку стоило небольшого труда занять городок и разорить его до основания – в урок напрасного сопротивления. Несмотря на это, несколько татарских мурз напали на казаков при устье Туры и бились несколько дней с отчаянием, но должны были уступить искусству и счастьем наших витязей, кои получили притом столь много добычи, что вынужденными нашлись половину оной зарыть в землю. Третьим и четвертым боями, не менее кровопролитными, Ермак проложил себе путь по Тоболу, где татары, воспользуясь узкостью реки и возвышенностью берегов ее, думали не только остановить казаков, но совершенно истребить их. В последнем из сих-то сражений Ермак употребил, как мы видели выше, воинскую хитрость, которая совершенно ему удалась: он пустил по течению реки плоты свои с чучелами, а сам вышел на берег, внезапно, как снег на голову, напал с тыла на неприятеля и обратил его в бегство. После сего едва отошел Ермак тридцать верст от устья Тавды, как встретил Мегметкула, сторожившего его с многочисленной силой по обоим берегам. Пять

дней победа колебалась, а на шестой татары вынуждены были дать казакам свободный путь и не смели даже воспрепятствовать им завладеть богатым улусом князя Епанчи, расположенным на берегу озера, доселе именуемого Епанчинским. Следствием шестого сражения на Иртыше было взятие городка Атик, а седьмого и последнего, кровопролитнейшего из всех, которое решило участь Сибири, мы были сами свидетелями в предыдущей главе.

Но победы сии стоили, может быть, для Ермака не более усилий и искусства, требовали не более разума и силы характера, чем удержание буйных своих сподвижников в границах военной подчиненности и убеждение малодушных к продолжению начатого предприятия. Два раза в особенности Ермак Тимофеевич должен был употребить все меры осторожности и всю власть красноречия для потушения искры возмущения, готовой вспыхнуть. В первый раз, когда казаки пришли к устью Тавды, то большая часть их требовала возвращения в Россию, наслышавшись, вероятно, от зырянских проводников, что прямые

дороги в отечество шли вверх сей реки и потом через Югорские горы. Второе подобное восстание некоторых строптивых и лишенных бодрости от непрерывных трудов и уменьшения дружины случилось в Атике, после чего Ермак учредил, как мы видели тоже выше, сорокадневный пост.

Разумеется, что Мещеряк был душой всех слабых и недовольных, умея, впрочем, всегда оставаться в стороне. Но как к злобе и мести, которые питал он к Ермаку Тимофеевичу, присоединилось в последнем случае и корыстолюбие, то при разделе богатства Епанчи он обидел своего приятеля и соучастника во всех злых умыслах Самуся, который в отмщение доставил случай Ермаку быть свидетелем, как сей злодей раздувал пламя бунта между казаками, стращая их великими ополчениями царя сибирского, который если не перебьет в неделю последних казаков, то пустит умереть с голоду, между тем как теперь, возвратясь на Дон с полными мошнами, можно будет забыть горе, понесенное ими бог знает для чего, и пожить в приволье.

– Кабы у Ермака Тимофеевича, – говорил

Мещеряк, – была к вам жалость, то он вернулся бы еще онамеднесь с реки Тавды, ан нет, тащит за собою вперед, чтобы выкупить свою головушку – верной смертью. Я сам, братцы, опальный, а не погубил ваши душеньки за свою одну.

Преодоление препятствий, поставленных природой почти на каждом шагу на пути незнаемом, на краю света – через горы, пропасти, леса, реки, – в непрерывной борьбе со стихиями, в беспрестанной готовности отражать неприятеля неведомого, встречать засады неожиданные – требовало также большого присутствия духа, предприимчивости и разума необыкновенного.

Наконец после стольких трудов, препон, жертвований, смертей Ермак достиг своей цели, сдержал слово, данное именитому человеку, – покори́л царство грозного Кучума. Увидим разум его в земских учреждениях, в умении вселить в людей грубых, диких доверенность к новой власти. Для достижения оно́го он должен был паче всего увеличить зыскательность и строгость к своим сподвижникам, дабы и в земле завоеванной не

смели они тронуть волоса у мирных жителей. Жалея товарищей своих, как братьев в битве, не жалел он в случае преступления и казнил за всякое ослушание, за всякое дело студное.

Глава четвертая

Кольцо спасается в снегу во время бури. – Угощение и забавы остров. – Любопытный рассказ Грозы. – Новые козни Мещеряка. – Гибель двадцати казаков. – Суд над виновными. – Торжество Грозы. – Трогательное зрелище.

Уркунду был уверен, что с Боаром получит добрую весточку от Ермака, но не ожидал, чтобы судьба столь скоро доставила случай перевезти к нему больного своего друга. В четыре дня столько нанесло снега, что встал прекрасный зимний путь, и шаман мог положить Грозу в нарты. Но этот снег замедлил возвращение из Искера в свои юрты знакомых нам остяков, ибо они предприняли сие путешествие пешком, не думая, чтобы светлая погода так скоро переменилась в неснос-

ную. Особенно от сей неожиданности страдали Кольцо с пятью казаками, пошедшими вместе навестить пропадавшего товарища, несмотря, что и они, кажется, давно знакомы были со всякого рода непогодой.

На третий день буран выгнал путешественников наших из лесу, которым они пробирались, дабы не сбиться с пути. Старые кедры, вырываемые с корнем, кидали перед глазами их как легкие перышки и угрожали им непрерывно быть раздавленными. На пустырях опасность еще увеличилась с ожесточением бурана, который, по приметам остяков, не скоро мог уняться.

– Нечего делать, бачка, – сказал Боар в испуге, – ложиться в снег, пока не замерзли.

– Поищем лучше, князь, какой-нибудь ямы, вот у этой горы, – отвечал Кольцо, дрожа от холода.

– Нет, бачка, не проползешь и десяти шагов заживо.

Не говоря более ни слова, остяки принялись копать в снегу глубокие ямы и ложились в них по двое, стараясь покрыть себя как можно толще снегом. Казакам сколь ни не хо-

телось погребстись заживо во временных сих могилах, но не оставалось другого средства к спасению, ибо буран, казалось, привел все стихии в ожесточение. Воздух раздирался каким-то пронзительным свистом; снег, превращаясь в мелкие пылинки, захватывал дыхание и, клубясь с вихрем, представлял небо и твердыню в распре и хаосе. Звери, птицы спешили укрыться в благодетельных сугробах и горах, внезапно возникавших на гладкой поверхности. Сами деревья, казалось, стонали.

Весьма легко отгадать, что Кольцо с казаками своими первыми вылезли из-под снега, кой час слышали тишину на поверхности, понежась в сибирских пуховиках более двенадцати часов, ибо солнце было уже довольно высоко, когда они вышли на белый свет. По скважинам, образовавшимся над дыханием, они стали отрывать остяков, находя многих из них погруженными в глубокий сон и неохотно встававшими, потому что буря хотя затихла, но еще не миновала. Но на сей раз они ошиблись – установилась прекрасная погода, и путешественники наши к вечеру добрались благополучно до Боарова аула.

Уркунду чрезвычайно обрадовался прибытию Кольца, а более того добрым вестям о Велике, которая, по словам сего последнего, поправилась в здоровье. К сожалению, он не мог того же сказать о ее любезном: Гроза только со вчерашнего дня получил язык, но эскулап остякский запретил ему говорить, боясь, чтобы малейшее напряжение не растворило глубоких ран, коими покрыта была его голова и шея.

– Где ты отыскал его? – спросил шамана Кольцо.

– Не сердись, бачка, – сказал Уркунду, – а сначала я подумал, что убил его ваш брат атаман.

– Кого же из нас подозревал ты?

– Вестимо, никого другого, кроме Мещеряка; он только у вас недобрый человек и много зла сделает... А как раздумал хорошенько, то и пошел к засеке искать его мертвого между убитыми.

– Мы до тебя там всех пересмотрели, но его не нашли, – заметил Кольцо с удивлением.

– Вишь, бачка, вы смотрели в один, а я в два глаза...

– Да как же он мог очутиться в сражении, когда мы оставили его стеречь городище? – спросил Кольцо.

– Этого я не знаю, но когда сказал ты мне, что на Маметкула наскочил бешеный и сбил его с коня, то мне пришло в голову, что этот бешеный должен быть атаман Гроза.

– Знаешь ли, Уркунду, – сказал Кольцо, – что и я с тобою одного мнения и даже намекнул о том Ермаку Тимофеевичу. Тебе известна его строгость: он иначе не простит Грозе его самовольства.

Кажется, разговор сей был непродолжителен, а остяки успели уже напиться допьяна с радости от получения добрых вестей из Искера. Веселые толпы их проходили попеременно в юрту и приносили дорогим гостям лучшие свои яства и питья, как-то: крошенину из оленя, по счастью незадолго издохшего[55], котклей – сваренную, не вычищенную рыбу без соли, порсу – сушеные сняшки, употребляемые ими вместо хлеба, и отвар из мухоморов, который скорее и сильнее приводит в опьянелость всякого другого вина. Но прежде чем они предложили гостям своим сии ла-

комства или сами принялись за них, соблазняли ими с добродушной хитростью своих истуканов. Сын Боара Калкал несколько раз помазывал своему Лусу губы оленьим жиром, прося с низкими поклонами, чтобы покушал, но как и после того он ничего не принимал, то сказал ему: «Ты не хочешь, ну так, пожалуйста, я попотчую наших гостей и сам поем, а ты смотри не жалуйся». Пьяные долго забавляли казаков своими плясками и песнями. Первые состояли из подражания разным зверям и птицам, а вторые из похвал, сложенных и петых экспромтом в честь гостей. Нельзя было без удивления видеть искусства, с которым Калкал вместе с молодой женщиной, довольно приятной наружности и также довольно пьяной, представляли любовные объяснения лесных кошек. Оба действующих лица одеты были в рысьи кожи. Форканье, мурлыканье, прыжки, лукавые шаги соблюдены были ими с величайшей точностью, в особенности же отчаяние самца, который, озлобясь на обманы своей любезной, со свирепостью кидается на нее и впивается всеми когтями при ужасном реве с обеих сторон. Совершен-

ную противоположность представляла потом картина ловли оленей, хотя также любовь была основанием этого зрелища. Сколько спокойствия и хладнокровия со стороны животных, столько хитрости и осторожности от человека, пользующегося привлечением дикого самца в свои сети помощью приученной самки. Робость зверя при малейшем бунчании насекомого, гордое озирение его при едва слышимом шелесте листочка и многократное обнюхивание самого ветра, против коего обыкновенно заходят ловить, наконец единообразное движение лани передней ногой, в доказательство, что она спокойно кушает найденный ею мох в изобилии, – требовали не менее искусства в немой мимике и изучении свойств сих животных. В заключение отличный остякский бард Таедко пропел, подыгрывая себе на тумбрте[56], богатырскую балладу, вновь им сочиненную на разбитие казаками Маметкула, коей поэзия равнялась достоинством с музыкой, раздиравшей уши наших слушателей.

Неистовые крики актеров и зрителей несколько, казалось, не потревожили больно-

го, лежавшего в той же юрте за занавеской, но даже будто пробудили в нем погасшие чувства. Гроза, различив голос Кольца, изъявил непреодолимое желание его увидеть. Нельзя было отказать, хотя эскулап наш крепко наморщился... Друзья искренне обнялись, и Кольцо, предупреждая вопрос больного, объявил ему в коротких словах о всех счастливых событиях, случившихся в последнее время. Гроза вместо ответа перекрестился и пожал руку радостному атаману.

С сей минуты здоровье Грозы сталоправляться не по дням, а по часам, и Кольцо с шаманом положили, не откладывая далее суток, перевезти его в город.

Нет сомнения, что Кольцо имел поручение от Ермака Тимофеевича разведать как можно обстоятельнее о новых своих подданных, а потому он не оставил ничего без замечания, даже обратил внимание на утес, возвышавшийся против их аула на берегу реки в виде гладкой стены, исписанной красными буквами. Никто не умел объяснить ему значение сих писем, только один Уркунду сказал, что это сделано не ими и не татарами, а наро-

дом, задолго до них жившим, питавшимся серебром и золотом, которое выкапывали они из земли, как они теперь копают орехи и корни[57].

Наутро Кольцо нашел Грозу гораздо в лучшем положении, чем ожидал. Видя, что душевное веселие служит ему действительнейшим бальзамом, он решился уведомить его о счастливом отыскании Велики. Сколь ни приятна была для влюбленного весть сия, но вскорости заметил Кольцо облако скорби, отуманившее чело его, и, отгадывая причину, рассказал ему все подробности чудесного избавления ее от счастья умножить число одалисок сластолюбивого Кучума.

– Теперь я самый счастливый человек! – воскликнул Гроза с восторгом.

– Желаю, дружище, чтоб впредь ничто не помешало твоему счастью, – сказал значительно Кольцо.

– Понимаю, – отвечал Гроза. И, подумав немного, продолжал: – Ты даве сказал, что причиной счастливой перемены сражения при засеке была рана Маметкулова...

– Да!

– Ну так узнай же, что Гроза был тот счастливец... – Он не мог продолжать из-за увеличивающейся слабости; но для Кольца было достаточно услышать от честного Грозы изустное подтверждение своей догадки. Ему хотелось бы только еще узнать, каким образом совершилось сие чудо. – Поистине чудо, – сказал Гроза, отдохнув и укрепясь немного. – Даст бог, как обмогусь, расскажу тебе все обстоятельно, а теперь удовлетворю твое любопытство в нескольких словах.

Приход шамана не только не остановил Грозу продолжать свое повествование, напротив того, он обрадовался случаю получить от него растолкование некоторых невероятностей, немало его мучивших...

– Я очень понимал всю важность охранения Атика, – начал он с расстановками, – но согласись, Кольцо, мог ли Гроза оставаться равнодушным, слыша жаркую вашу перепалку и страшные вопли несметной рати Кучумовой, тогда как знал, что битва сия должна решить судьбу всего похода?.. Признаюсь, я горел как на огне, метался как угорелый из одного угла в другой, бегал вокруг городища,

а не было легче сердцу... Бог знает, что приходило мне на мысль... уже я колебался. Вдруг, стоя на отдаленном валу городища, слышу глухой голос Уркунду, выходявший будто из преисподней: спаси!.. Прислушиваюсь... и другой голос, не менее для меня любезный, голос Велики, повторил тоже... Голова моя закружилась, я подумал, что слова сии есть веление свыше, и, не разбирая более ничего, взяв только честное слово от есаула Самки, что он будет биться до последней капли крови, если б варвары напали на острог, и никому не скажет о моем побеге, в случае, если б я и не вернулся назад. Спускаюсь осторожно с вала, приказав свести сторожевых, чтобы меня не видали, набрасываю на себя остяцкий мешок и, сев на лошадь, которая, по счастью, прибежала за час с места сражения в полной сбруе, сбив с себя, вероятно, мурзу Атика, скачу на звук пальбы во всю прыть, как будто гонимый неведомой силой; в ушах моих раздаются слышанные слова, и я прискакиваю на поле битвы в то самое мгновение, как Маметкул, успев собрать и ободрить тысячи оробевших всадников своих, готов был ринуться на

наших... Тут только я опомнился и, увидев невозможность пробиться до своих, увидел и свою безрассудность – возмечтать одному спасти всю дружину!.. К счастью, я не успел предаться отчаянию, как блеснула в голове моей отрадная мысль, которую почел я выполнением слышанных мною слов, и с новой силой пустил моего коня до татарского предводителя. Небольшого труда стоило мне пробиться до него и одним взмахом сабли повергнуть на землю... Изумление басурманов продолжалось недолго, скоро они нагнали меня на берегу Иртыша и оглушили своими воплями и ударами... Недаром, однако, я продавал им жизнь свою и не прежде упал, пока не повалилась замертво моя лошадь... Более я ничего не помню и очнулся уже здесь за занавеской...

– Теперь твоя чередá кончить, – сказал Кольцо шаману.

– Охотно, бачка, – отвечал Уркунду, – только прежде скажу, как Грозе слышались наши голоса. Вишь, Мещеряк, которому отдал нас Ермак за лазутчиков, запер нас в яму, обещаясь наутро прийти выпытать правду. Мне

бы ничего, да бедняжка Велика не стерпела смрада от мертвого тела, которое лежало в тюрьме вместе с нами, и обеспамятела; кое-как я пособил ей; долго ничего не было ни слышно, ни видно вокруг нас. Вдруг, к неопи-санной радости, узнали мы через скважину, что подле нас стоит атаман Гроза. Мы почти в один голос закричали, чтобы он спас нас. Вот эти-то слова он принял иначе и чуть не положи-л своей буйной головушки.

– Слава богу, – прервал его Кольцо, – что он не понял их, как должно, иначе не сделал бы славного дела. Но скажи: как же ты спас его?

– Помнишь ли, я убежал от вас, услыша, что пропал Гроза, – продолжал шаман, – вот я бегу на место сечи, там перешарил всех уби-тых и раненых, даже безголовых, а все не на-шел атамана Грозы. Вот я и пошел по красно-му следу к Иртышу и не знал, радоваться ли мне или печалиться, когда увидел его плава-ющим в запекшейся крови, – и чуть было я не прозевал его в его новом наряде. Ну-ка мыть его в чистой воде да скоблить песком, пока не полилась кровь; я обрадовался, а он

все не дышал. Тут я облепил его кедровой серой. До Искера было далеко, да и не подняться бы вверх по вешке[58], которая тут стояла у берега; и так я по воде сплавил его до юрты князя Боара.

На семи нартах, запряженных оленями, казаки наши отправились на четвертый день в обратный путь, взяв с собою больного Грозу и шамана. В трое суток они благополучно достигли Искера.

Кольцо спешил сообщить Ермаку Тимофеевичу сведения, касающиеся до Грозы.

– Хорошо, коли окажется правда, – заметил довольно сухо Ермак, – иначе ему будет дурно.

– Ты знал Грозу за честного казака, он на себя не всклепнет, – отвечал Кольцо с приметным неудовольствием.

– То правда, – сказал Ермак, – но ты сам знаешь, что в делах общественных нужно откинуть всякое лицепрятие.

– Коли нужно, атаман, я присягну на Евангелии, что все показанное Грозой есть совершенная правда.

– Всего этого недостаточно, любезный

Иван Иванович, ты ведь не был свидетелем, а тоже веришь чужим словам.

– Если надобен свидетель, – подхватил Кольцо, – то спроси под присягой есаула Самку.

– Это другое дело. Мы то и сделаем ужо на кругу и увидим, как посудят товарищи, – сказал Ермак хладнокровно и вышел вон из палаты.

Кольцо не мог надивиться суровости атамана к Грозе, не зная, что причиной оной были новые козни Мещеряка. Ермак послал партию из двадцати казаков под начальством Самуся на Абалацкое озеро для рыбной ловли. Казаки, забыв осторожность, умеренность и строгий наказ атамана, предались по примеру развратного своего есаула пьянству, грабежу и всякого рода насилиям в близлежащих шамшинских юртах. Озлобленные жители дали знать Маметкулу, который, несмотря на язву свою, бодрствовал невдалеке, выжидая случаев вредить победителям. Ему не стоило большого труда перерезать весь отряд, кроме четверых, которых успел спасти Ермак, прилетевший сам на помощь по первому зову.

Неприятели дорого заплатили ему за убийство шестнадцати православных воинов, но и спасенных им четверых, в том числе есаула, он предал кругу на осуждение за ослушание и распутство. Ермак требовал от дружины не только повинования и храбрости, но и целомудрия и чистоты душевной, уверен будучи, что Бог дает ему победу с малым числом добродетельных воинов, нежели с большим числом закоснелых грешников.

Кольцо возвратился в Искер в самое то время, как Ермак приказал привести в исполнение приговор круга, которым присуждены были три казака: просидеть в реке в кандалах для омовения и в набитом песком платье с полдня до заката солнца, а есаул Самусь принужден на смерть, яко виновник гибели своих подчиненных. Меццерыку жалко было лишиться участника своих замыслов, но он знал, что разве чрезмерные меры могли склонить Ермака Тимофеевича к помилованию, а потому подговорил нескольких казаков прийти на Майдан[59] и потребовать суда Грозе, который оказал еще важнейшее ослушание самовольным отлучением из Атика.

Мещеряк полагал, что для спасения своего любимца Ермак смягчит наказание Самусю. Но не таков был вождь их: он равнодушно выслушал требование воинов и обещал предать немедленно Грозу на суд круга.

Круг собирался в то самое время, как Ермак беседовал с Кольцом. Оставив сего последнего в своей палате, атаман скоро и его потребовал на Майдан. Кольцо нашел вождя уже говорящим.

– Требование ваше, товарищи, справедливо, – сказал Ермак Тимофеевич. – Атаманы обязаны подавать пример строгого выполнения своих обязанностей, а потому и подлежат строжайшей перед другими ответственности. Правда, городище не было в опасности, но мог ли Гроза предвидеть, что неприятель не обратится на него и не постарается лишить нас главных сил, богатства и пропитания, вверенных в его защиту? Пусть обвиняемый явится к оправданию себя, – примолвил он, дав знать головой стоявшим за ним казакам, чтобы позвали Грозу, если имеет что принести в свое оправдание.

– Чай, потешался в разговорах со своей

невестой, – раздался насмешливый голос из толпы казаков. – Ему одному у нас счастье да воля.

– Нет, товарищи, – сказал Кольцо с жаром, выйдя на середину, – не обвиняйте понапрасну атамана Грозу, не берите греха на душу, чтобы после самим не жалеть. Подаю голос допросить свидетелей. Есаул Самка, который оставался после него старшим в городище, обязан присягнуть на святом Евангелии, что покажет истину...

Ермак и весь круг одобрили сие предложение, и Самка, подойдя к налою, на котором лежали Евангелие и крест, дал обещание не покривить душою, поцеловав то и другое.

После сего он повторил торжественно все то, что мы уже знаем из признания Грозы в юрте Боара, присовокупив только, что он освободил Уркунду с Великою из тюрьмы, в которую кинул их Мещеряк, уже после отбытия атамана Грозы, который про них не ведал, да и сам он нечаянно открыл место их заточения.

– Теперь выслушаем другого свидетеля, – сказал Кольцо и велел Уркунду рассказать,

где и как он нашел Грозу. – Оставляю, товарищи, – присовокупил он, – справедливому вождю нашему дополнить остальное...

– Да, я готов засвидетельствовать торжественно, – продолжал Ермак, возвыся голос, – что видел собственными своими глазами, как Гроза поразил Маметкула и сей отвагой обратил к нам победу...

В это самое мгновение показался Гроза – бледный, изможденный, покрытый глубокими язвами, опираясь на двух казаков. Никогда вид его не бывал столь привлекателен, никогда потешные раны не украшали более героя и не возбуждали сильнее чувств благоговения. Казаки по невольному побуждению сняли перед ним шапки.

Гроза приблизился к Майдану и слабым голосом сказал:

– Братцы! Я принес вам свою повинную голову...

– Победителей не судят, – раздалось в кругу.

– Итак, я умру не как преступник... Не откажите мне, братцы, еще в одной милости...

– Говори, говори, все для тебя сделаем...

Гроза сделал шаг вперед, вырвался из рук помощников и, кинувшись на колени, произнес со слезами:

– Простите Самуся...

Неожиданная просьба привела всех в недоумение. Все глядели на Ермака, как будто требуя от него решения... Между тем Гроза все стоял на коленях, и по стечению обстоятельств в то же время обреченного на смерть Самуся выводили в железгах, с обнаженными саблями из часовни, где он исповедался и причастился Святых Тайн. Впереди него несли мешок, в котором он через несколько минут должен быть зашит заживо и с камнями опущен на дно глубокого Иртыша.

Столь умирительное зрелище не могло не тронуть самого твердого сердца – сердца Ермака Тимофеевича. Он первый снял с себя шапку и, махнув ею, закричал:

– Прощаем!..

Отрадное слово сие, везде и всегда радостное, с восторгом повторено было доблестными воинами. Все веселились не менее одержанной победы; один виновник этого веселья, Гроза, по слабости сил не мог принять в

нем участия. Его без памяти отнесли с Майдана.

Глава пятая

Помолвка Грозы с Великою. – Открытие новых умыслов Мещеряка. – Остяки и вогулы требуют Ермака в цари сибирские. – Ермак отвергает. – Круг. – Посторонние толки. – Ермак предлагает повергнуть завоеванное ими царство царю Иоанну Васильевичу. – Мещеряк противится. – Провозглашение Ермака царем сибирским. – Казаки увлечены лестью и коварством Мещеряка. – Ермак отказывается. – Кольцо едет послом к царю Иоанну Васильевичу. – Неудача Мещеряка.

Не далее как через пять дней после сего происшествия в Искере случилось не менее достопамятное и неожиданное зрелище. По желанию несчастных любовников, расстававшихся на неопределенное время, Ермак позволил Грозе обручиться с Великою накануне отъезда ее с гонцом, которого отправлял он к

Строгановым с подробным извещением о своих успехах.

Правила целомудрия, принятые Ермаком для своей дружины, не позволяли ему согласиться, чтобы хоть одна женщина оставалась в их стане. Гроза, зная, сколь он был тверд и непреклонен на сей счет, едва решился просить его, чтобы он был свидетелем их клятвы – принадлежать один другому или умереть, – принесенной торжественно в храме Божьем, и в качестве отца благословить их будущий союз. С сей минуты Гроза считал себя более вправе, – считал для себя безгрешнее мыслить об одной Велике! Увы! Он познал всю цену милой своей Велики, несмотря на короткое время, и расставался с нею, может быть, навек!

Как справедливо сказал какой-то французский писатель, *en ami tie on s'aime parcequ'on se connoit, en amour on se conoit parcequ'on s'aime.*

Нам кажется теперь удивительным, почти невероятным, как могли быть счастливы супружества в те времена, когда они совершались без взаимного согласия и даже, как гла-

сит предание, были счастливее наших? Признаюсь: это, по моему мнению, одна из неразрешимых задач о сердце человеческом! По крайней мере, достоверно то, что счастливые предки наши не знали тех несравненных минут, которые вкушают теперь два существа, мечтающие вместе о будущей своей жизни, не понимали гордости – быть творцом своего благополучия, не ощущали той душевной пытки, того мучительного страха – потерять свой избранный предмет, которые терзают, преследуют их до самой той минуты, когда узы, ничем не разрываемые, успокаивают два трепещущих сердца... Увы! Гроза был из малого числа тех счастливых или несчастливцев XVI века, который испытывал сии ощущения!

Дикий язычник и теперь показал нежность, достойную просвещенного христианина. Уркунду, заметя, что Гроза терзался более тем, что не в состоянии был проводить свою Велику в Орел-городок, чем самой с ней разлукой, взялся доставить ее в сохранности к Строгановым, обещаясь немедля возвратиться к больному своему другу, коего здоровье от

беспрерывных душевных движений весьма пострадало и требовало всего его попечения и искусства.

Чрезвычайный холод, опасные вьюги и краткость зимних дней в сих странах полуночных не позволяли Ермаку мыслить о новых, отдаленных предприятиях до весны, и он занялся мирным подданством соседних народов распространять свои владения. В трудах сих деятельнее всех содействовал ему атаман Мещеряк, который, быв сам татарского происхождения, имел более всех других влияние на своих одноплеменцев. Его старанием и убеждением два сильных князя вогульских – Ишбердей и Суклема, из коих первый господствовал за Эскамбинскими болотами, на берегах Конды и Тавды, а второй в окрестностях Тобола, прибыли в Искер и добровольно вызвались платить ясак соболями. Оставалось получить от них присягу в верности, и это взялся уладить Мещеряк. Искреннее усердие, которое оказывал он в делах, более всего занимавших деятельный ум и дальновидные планы атамана, невольным образом сблизило его опять с ним. Мещеряк по-старому стал

ближе всех к Ермаку, и сей последний, казалось, забыл его вероломство или относил оное к его малодушию. Один только Кольцо не хотел верить, чтобы и в сем усердии не скрывались какие ни есть умыслы хитреца, скоро увидим, кто из них ошибся.

Кольцо решился прилежнее наблюдать за Мещеряком и его друзьями Самусем и Габаном, надеясь, что случай вознаградит его терпение, ибо в старину, как и ныне, человек только того не достигал, к чему не употреблял всех стараний, мер и жертвований. Не прошло недели, как в глухую полночь Кольцо услышал стук у дверей своих. Он поспешил отворить их и, встретя двух остяков в нетрезвом виде, отгадал тотчас, что они зашли к нему ошибкою, вместо Мещеряка. Он не счел грехом воспользоваться сей нечаянностью, надеясь что-нибудь выведать у них касательно своего подозрения, а пьяные дикари не скоро могли разглядеть его и свою ошибку при едва теплившейся лампаде.

— Ну, бачка, — сказал один из них постарше, в коем Кольцо узнал князя Ишбердея, — Ну, вот и князь Суклема соглашается. Пода-

вай-ка водки, да не скуписья...

– За водкой дело не станет, – отвечал Кольцо чужим голосом, – скажи наперед, как вы согласились?

– Мы согласились, бачка, уже на свету со всем народом встать перед юртой хана Ермака и закричать: мы, бачка, тебя хотим в цари.

– Да! закричим в одно горло, тебя одного, бачка, хотим, – прибавил Суклема, притопнув ногой.

– Ась! Ладно ли, что ж ты не подносишь водки? – спросил Ишбердей с нетерпением.

– Нет! постой, – прервал его Суклема, – поучи-ка меня потолковее, пока еще память не ушла, как приступить нам к хану, коли он станет ломаться?

– Ну, станет ли ломаться, кому неохота в цари? – заметил первый из вогулов с лукавой усмешкой и, взглянув в это время с большей внимательностью на атамана Кольцо, познал свою ошибку. Замешательство дикаря, не умевшего еще хорошо притворяться, достаточно показало Кольцу, что это было у них с Мещеряком лажено в тайне. Чтобы вывести его из страдальческого положения Кольцо

сказал:

– Не бойся, князь, ведь и я друг Ермака Тимофеевича и не менее твоего хана Мещеряка желаю ему добра.

Слова сии раскрыли и полусонные глаза Суклемы; он выпучил их на Кольцо, не говоря ни слова, а между тем Ишбердей сказал:

– Так и быть, бачка, не говори только ему прежде нас. Вишь, Мещеряк крепко заказал никому не сказывать.

Кольцо, уверив его в своей скромности, выпроводил тотчас же неожиданных гостей, показав им дорогу к дому Мещеряка, а сам предался размышлению о сем неожиданном открытии.

Уже незадолго перед рассветом он заснул и, конечно, проспал бы долго, если бы шум, подобный реву бури, не разбудил его. Вслушиваясь внимательнее, он без труда различил несколько диких голосов, а приведя на память ночное происшествие, которое иначе почел бы за сон, не медля нимало, накинул на плечи свои шубу и пошел смотреть Мещерякову комедию.

И у Ермака Тимофеевича первым чувством

было беспокойство, когда он под окошком своим услышал ужасный рев множества грубых голосов. Он также тотчас вышел узнать оному причину, готовя уже в мыслях план предупредить и потушить всякое возмущение или восстание, но не мог добиться толку от вогулов, стоявших на коленях и дравших во всю мочь горло (прибежавшие же казаки на шум сей так же, как и он, казалось, смотрели на них в недоумении), доколе князя их не повалились к нему в ноги и не повторили из всей мочи твердо выученную ими роль:

– Бачка, великий хан московский, мы и весь народ вогульский хотим тебя в цари наши и никому другому, кроме тебя, присягать не станем.

Сия неожиданность привела Ермака Тимофеевича в некоторое замешательство; несмотря на удивительное присутствие духа, он не вдруг нашелся, что отвечать; но это заметил один только Кольцо, потому что он один только мог равнодушно наблюдать за сей сценой, быв некоторым образом посвящен в ее тайнства.

Ермак поднял с земли Ишбердея и Суклему

и с достоинством, приличным повелителю народа, достоинством, невольно дававшим ему всегда превосходство над его подчиненными, произнес следующие слова:

– Много благодарствую за любовь вашу ко мне. Употреблю все старания, чтобы вы никогда не раскаялись в надежде своей на мою защиту, покровительство и справедливость. Принимаю с удовольствием вашу присягу...

Кольцо взглянул на него с удивлением, а вогульские князья принялись кричать, а за ними и все вогулы: «Да здравствует Ермак, царь сибирский!»

Ермак Тимофеевич, нисколько не смутившись, продолжал говорить:

– Но вы знаете, друзья, что я подданный царя московского, а потому добровольное ваше мне подданство передам добровольно под его великую державу...

Кольцо уверен был в благоразумии Ермака Тимофеевича, но по началу его речи не ожидал столь счастливого оборота и был вне себя от радости; вогульские же князья, без сомнения по данному им уроку, закричали:

– Нет! бачка, мы хотим быть твоими или

ничьими. Коли ты от нас отступаешься, мы кинем свои юрты, променяем свои кедровые леса на тундры зыбучие, уйдем к Студеному морю, где нас никто не добудет.

– Остановитесь и выслушайте меня внимательнее, – сказал Ермак Тимофеевич со спокойствием, ему одному свойственным. – Не страшиться, а благодарить Бога должны вы, что он привел вас под державу всемогущего царя московского. Его одного имени трепещут государи во сто раз сильнее Кучума и дерзновеннее Маметкула, и не смеют не только отнимать собственности у его подданных, но даже приближаться к ним. Сильный царь московский...

Тут, завидев Мещеряка, подходившего к кругу с видом любопытства, он остановился, подозвал его к себе и громко, так, что все слышали, поручил ему употребить свои старания для вразумления добрых друзей его о выгодах подданства царю московскому.

Мещеряк хотел что-то говорить, но Ермак Тимофеевич, не останавливаясь долее, вернулся в свою палату.

Широкими шагами расхаживал завоева-

тель Сибири по светлице своей; великая дума занимала его душу и сердце. Он то хмурил густые свои брови, то улыбка самодовольствия являлась на гордом челе его. Все движения, самый взгляд изображали сильное внутреннее борение. Несколько раз хотел он позвать кого-то, но останавливался в раздумье и продолжал ходить.

Казалось, Ермак обрадовался приходу Мещеряка. Они долго между собой разговаривали с жаром и, вероятно, были один с другим противного мнения, ибо Кольцо, который зашел также к атаману перед начатием круга, к которому все были повешены, мог услышать при входе своем следующие слова, сказанные Ермаком Тимофеевичем: «Увидишь, Мещеряк, что никто с тобой не согласится».

Казакі недоумевали, что заставило атамана созвать их на круг, спрашивали друг друга, что будет предметом их совещаний.

– Вестимо, – говорил Самусь, не только не смирившийся от великодушного прощенья, но еще более ожесточенный против всякой над собою власти и порядка, особливо когда его лишили звания есаула, – вестимо, созда-

ли для важного дела: чай, нужно нашему доброму дедушке кого-нибудь в куль да в воду, чтобы поменьше калякал. Другой радости давно не слышим на кругах, другого ничего не творится на вольных судах казацких, как, знай, что вешаем да топим храбрых братьий наших за такие грехи, что и монаха бы в монастыре на поклоны не поставили.

– Диво, братцы, да и только, – подхватил Грицко, – что у нас завелось с некой поры: не смеешь, право, песни смурлыкать, не только казачка проплясать.

– Зато можешь вдоволь насмотреться, – прибавил Самусь со злым смехом, – как другие пляшут вприсядку в прорубях с железным ворганом на ногах. Пора, братцы, нам опомниться и пожить своею волею за труды и кровь молодецкую...

– Да дедушко-то, вишь, стращает московщиною. Не послушайся, разом выдаст всех царю московскому, а сударь Иоанн Васильевич шутить не любит.

– Тебе, Грицко, все смехи да потехи, – сказал с негодованием Самусь. – Глядя на тебя, иной подумает, что житье-то у нас, словно

Масленица, и как будто некем нам изменить-ся? Благодаря богу есть у нас атаманы чище Ермака Тимофеевича. Атаман Мещеряк и на тихом Дону был его старее да почетнее...

– Ты проворен, – заметил ему казак, слушавший его со вниманием, – поди-ка сунься, а мы на тебя посмотрим.

– Что ж за диковина, – отвечал Самусь, – только не выдайте...

На это слово показался Ермак Тимофеевич в сопровождении всех атаманов, в том числе больного Грозы, и все, по невольному побуждению, начиная с самого Самуся, замолчали и с подобострастием ожидали его речи.

– Братцы, – сказал Ермак, сняв шапку и поклонясь на все стороны. – При Божьей помощи мы выполнили обет свой пред Господом и сдержали слово, данное людям именитым. Мы послужили верой и правдой и Царю Небесному и царю земному, не жалели ни трудов, ни крови, ни жизни, карая врагов икупителя и государя православного. Но недешево мы купили торжество свое и право на милость царя Иоанна Васильевича. Более трети храбрых товарищей положили честные

животы свои за дело великое – за покорение царства Сибирского! Смело можем надеяться теперь, что царь московский – строгий, но справедливый – уважит наши ему послуги и дозволит с честью вернуться нам на берега тихого Дона.

– Не гневи Бога, Ермак Тимофеевич, – прервал Мещеряк громко и смело, – не губи наши головушки, не выдавай своих товарищей. К чему обольщать себя и нас надеждой, чтобы Иоанн мог забыть и простить когда-либо наше противу него восстание или чтобы он поступил честнее с завоевателями Сибири – неведомыми никем казаками, чем поступил с покорителями царств Казанского и Астраханского – знаменитыми воеводами князьями Курбским и Пронским. Первый едва ушел от его плахи к ляхам, второго велел он задушить в тюрьме. Вот какими милостями Иоанн воздает за верные службы! И неужели мы лили кровь нашу, два года не знали ни дня покоя, ни часа жизни для позорной плахи или петли? Да и зачем, братцы, добровольно идти нам на беду, когда кровью и трудами купили себе царство? Оно наше, дадим его – кому хо-

тим, наградим им – кого признаем достойным. А кто же достойнее владеть им, как не храбрый вождь наш Ермак Тимофеевич? Поклонимся ему завоеванным нами царством. Да здравствует царь сибирский, Ермак Тимофеевич! – закричал он, кинув вверх шапку.

Казачья – одни подстрекаемые хитрой лестью Мещеряка, другие приготовленные им заранее, третьи, думая показать преданность свою вождю, с громким восторгом повторили «ура!» в знак своего согласия.

Едва замолк шум, Ермак снова обратился с речью к своим товарищам.

– Нет, братцы, не предать вас хочу, а выкупить, – сказал он с возрастающим жаром. – Принять дар ваш – значило бы не жалеть вас, значило бы отдать ваши головы за свою спесь и проклятую гордость. Гордым Бог противится, глаголет Священное Писание! Чем и как мы удержим наше царство, слабея ежедневно в силах, хотя и побеждая? Года в два, много в три, исчезла бы храбрая дружина наша в битвах или от болезней сурового климата, среди пустынь и лесов, служащих вместо крепостей для диких, свирепых жителей, которые пла-

тят нам дань под угрозой меча или выстрела?

– От тебя будет зависеть, Ермак Тимофеевич, – заметил Мещеряк, – увеличишь свою рать новыми твоими подданными. Под твоими знаменами они также будут храбры и непобедимы, как...

– Худа надежда, атаман, на иноземцев, иноверцев и наемников, – прервал его Гроза, давно пылавший к нему негодованием. – Вместо того чтобы биться за одно, в одну душу, нужно смотреть еще за ними и остерегаться, чтобы при первом невзгодье они первые не перерезали своих. Наемщик служит не из любви к родине, защищает не честь своей отчизны, умирает не за память родных своих, а за корысть; кто больше ему даст, тот и люб, где более выгод – там и отечество.

– Напрасно обижаешь, атаман молодец, – перебил его с негодованием Мещеряк, понимая, что слова сии метят на него, – храбрую нашу дружину немцев и ляхов. Пошлюсь на всех товарищей и на самого Ермака Тимофеевича, что они не отставали позади казаков и в напасти и в опасности...

– Ты криво применил речи мои, – отвечал

Гроза. – Наши немцы, ляхи, литвины не наемники, не одна корысть сдружила их с нами, они не жалели живота также для родины своей, зная, что до нее одна им дорога через Сибирь, и славно выслужили свою свободу.

– Не о том речь, молодцы атаманы и храбрые товарищи, – сказал Ермак с приметной досадой на Грозу и Мещеряка, – мы собрались сюда рядить дело важное, пришли решить, что делать с завоеванным нами царством. Вы, по милости своей, жалуете им меня, но могу ли я принять оное, помня, что мы обещали Богу и честным людям воевать отдаленные страны сии именем царя московского. Статься может, что Господь благословил труды наши на его счастье. Итак, после сего дерзнем ли мы располагать чужим добром? Нет, братцы, не хочу греха на свою душу и беды на ваши головушки. Отдав царю московскому принадлежащее ему по всем правам новое царство, мы заслужим его царскую признательность, забвение прежних вин наших и благословение отечества. Поступив же вопреки клятвы нашей и благоразумия, навлечем на себя новые беды и напасти. Не ду-

майте, чтобы Божеское наказание не поразило клятвопреступников, а железный хребет не укроет нас от справедливого гнева царя московского. Доблестные воеводы его найдут нас и на краю моря Студеного... Да здравствует Иоанн Васильевич, царь сибирский и московский! – воскликнул он, махнув своей шапкой.

Истина слов Ермака и привычка казаков слепо во всем ему доверять восторжествовали над злонамеренностью Мещеряка, увлекшего легковерных и тщеславных хитрой своей речью. Все единогласно воскликнули:

– Ура! Да здравствует царь Иоанн Васильевич! – А несколько бочек касатчатого (поваренного проворными казаками из меду, захваченного у Епанчи), выкаченных по приказу Ермака, придали силы и охоту долго и громко повторять сей возглас.

– Ну, брат Самусь, придется тебе отложить поход свой в Москву, – сказал Мещеряк с досадой, войдя в свою хату, где уже дожидался соучастник его. – Наша не взяла.

– Как же ты заверил, что он подастся? – спросил Самусь.

– И подался бы, ан на беду из гроба вылез полумертвый Гроза и пожаловал велемудрый его споручник Кольцо. Видно, они-то его и смутили.

– Нелегко же нам, атаман, будет найти другой случай сбить с них спесь. Кабы Ермак хоть немножко подался, я бы им, голубчикам, поднес на блюдечке по подарочку из Москвы белокаменной.

– Да! уж царь московский добрался бы до самодельного царя сибирского и его светлых бояр; ха! ха! ха! Но постой, Самусь, может быть, и поправимся. Если Ермак вздумает послать в Москву бить челом царю завоеванным царством, то дело без меня не обойдется.

– А почему же обойдет он Кольца или Грозу, а может, пошлет и Пана, – заметил Самусь.

– Первых двоих пожалеет, – отвечал Мещеряк. – У московского царя не ровен час, пожалуй, не посмотрит и на послов: велит сначала их перевешать как опальных, а потом примет подарочек. Пан же безответная головушка.

– Правда, я забыл, что с Кольцом наш не

расстанется, – подхватил Самусь, – а Гроза еле жив, шатается.

– Молись Богу, будет по-нашему, – сказал Мещеряк.

Но Провидение и на сей раз не допустило выполниться его злонамеренным видам, поставив собственную его хитрость одним из главных к тому препятствием. Мещеряк успел заставить проникательного Ермака Тимофеевича считать его восстание против царя московского жертвой неограниченного к себе усердия, а потому он пожалел отправить его в Москву, боясь гнева Иоаннова, в случае, если б дошло до сведения его сие происшествие, а назначил в знаменитое посольство Ивана Ивановича Кольца, первого своего сподвижника, первого в думе и в сече.

Глава шестая

Семейное несогласие Строгановых. – Де-Снис Орел отправлен в Москву. – Неприятное положение Максима Яковлевича Строганова. – Прекрасная утешительница. – Святочные забавы. – Гадание. – Колдунья. – Радостные вести. – Встреча соперниц. – Примирение братьев. – Сборы в Москву.

Снег падал такими большими охлопками с низких, сизых облаков, как воронье крыло, что в самые полдни в Орел-городке было темно, словно в сумерки. Максим Яковлевич, отдохнув после обеда, сел на свои железные кресла и – задумался. Правду сказать, ему было о чем подумать: вот уже близ году он не получал ни малейшей весточки от Ермака Тимофеевича и ежечасно ждал грозы из Москвы, зная, что против него сильно кощунствовал чердынский воевода Перепелицын. Но что всего более грызло его ретивое, это несогласие с двоюродным братом своим, Ни-

китой Григорьевичем, которое до того дошло, что сей последний уехал на Чусовую и вступил в сношения с его неприятелями. Хотя Максим Яковлевич всячески старался не подавать брату своему причины к неудовольствию, даже приказал везде и во всем уступать ему, но никакими пожертвованиями не мог угодить на подозрительный нрав, легковёрность и любовь к наветам Никиты, который сверх того исполнен был самодовольствия и упрямства, так что малейшее противоречие приводило его в исступление, доходившее до сумасшествия. Разумеется, что нашлись добрые люди, которые пользовались слабостями Никиты, в особенности же пермский воевода, который так умел восстановить его против брата, что он послал, как мы видели в конце второй части, челобитную на Максима к самому царю. Хитрый Перепелицын, поступая по обычаю, будто известному между судьями со времен древнейших просвещённых народов – мидян, персиян, греков и тому подобных: помути, Бог, народ, накорми воевод, – полагал вместе с тем, что семейные распри всего скорее могут лишить гордых

Строгановых царской милости, и, ослабив их, подчинить его расправе.

Максим Яковлевич не любил наветов, но не мог запретить Денису иметь доброжелателей при Никите Григорьевиче, которые сообщали ему все его против брата козни и даже доставили съемо́к с челобитной, которую он послал к царю с известным нам подьячим Лаской. Жалоба была составлена под руководством Перепелицына с таким коварством и наглостью, что могла иметь самые вредные последствия для всего их рода и в минуту разрушить доброе имя, богатство и силу, стяжанные необыкновенным умом, постоянством и добродетелями их знаменитого деда, Аники Григорьевича. Максим Яковлевич хотел сам отправиться в Москву, несмотря на расстроенное свое здоровье, пострадавшее после известной осады Каргедана, и невозможность отлучиться от управления огромными делами, которые держались единственно его благоразумием, хладнокровностью и опытно-стью. Денис Васильевич, видя его затруднительное положение, не убоился на старости лет предложить себя на сию важную послу́гу.

Впрочем, он только один мог заменить Максима Яковлевича как по преданности к пользам его, так и по совершенному знанию всех наветов и обвинений, которые должен он был опровергать перед верховной царской Думой. Он же один в состоянии был и подкрепить челобитную, которую послал Максим в оправдание свое на грозную царскую грамоту, сообщенную ему Воином Аничковым.

Прошло уже более шести месяцев со времени отъезда старого Орла в Москву, а не было никакой от него отповеди. Все это вошло на мысль Максиму Яковлевичу, и он нехотя повесил голову. В эти минуты являлась к нему обыкновенно ангелом-утешителем прекрасная его Татьяна. И теперь пришла она в сопровождении всей своей веселой свиты. Она всячески старалась развеселить родного, ласкалась к нему, как малая пташечка к своей матери, крепко целовала его руку, рассказывала ему о шутках и драках ее забавников, наконец пропела ему его любимую песенку, а все не помогло разбить его глубокой думы. Он только по временам нежно взглядывал на нее и крепко прижимал к своему сердцу. Даже Го-

рыныч, который лучше всех умел развеселять именитого человека, теперь не обращал его внимания, хотя, правду сказать, он никогда не бывал так смешон и забавен. Горыныч с некоторого времени находился на высшей точке спеси и наглости – раздувал щеки, смотрел на всех свысока, никого не удостоивал поклоном, расхаживал, заложив руки назад и нахмуря брови в знак размышления, как будто передразнивал нравственных пигмеев, принимающих нередко сии положения от малейшей улыбки непостоянницы фортуны или кинутых случаем в деловые люди! Горыныча уверили, что Воин Аничков отдал Максиму Яковлевичу грамоту, коей царь Иоанн Васильевич пожаловал его в думные бояре, наслышавшись о его разуме и храбрости, и требует его пред свои ясные очи, но что именитый человек не объявляет ему о сей царской милости из зависти. Горыныч тщетно употреблял все способы для получения от Максима Яковлевича своей грамоты: просьбы, угрозы, награды, которые обещал излить на него, сделавшись думным царским советником, даже хотел постараться, чтобы Строга-

нова перекрестили в вогулы...

Видя безуспешность всех сих средств, Татьяна решилась попросить у своего родителя позволение погадать, тем более что настало уже время Святков, когда ворожба составляла повсюду приятнейшую для всех забаву и упражнение. Максим Яковлевич без труда согласился на желание милой своей дочери, приготовясь и сам загадать о своих думах.

Старушка, почитавшаяся первой ворожеей в Орле-городке, принесла черного петуха и выпустила его посреди четырех насыпанных кучек разных зерен и стала со вниманием примечать, которую из них прежде станет клевать он? Петух, несмотря, что в одной из сих кучек насыпана была пшеница, а в другой рожь, кинулся клевать овес, а это, по мнению сивиллы, предвещало великую напасть [60]. Три раза мешали кучки, и три раза петух предпочитал овес и ячмень прочим зернам, так, что вещунья сама пригорюнилась. Вторая ворожба с растопленным воском, оловом и золотом, объясняемая другой сенной старушкой, была утешительнее для Максима Яковлевича. На вылитом в воду олове до трех

раз выходил сверху мост, а это значило, по толкованию ворожеи, дорога с полудня, то есть из Москвы дедушке Денису, снизу же виделись все частоколы, да покойники, да высокие горы. Первые, по словам гадательницы, означали великую сечу на полуночи, а горы – край света. И на воске, и на золоте Татьяне Максимовне выливалось одно изображение храма Божья.

– Ну, родимая, быть тебе под венцом нынешним же мясоедом, – сказала с восхищением няня, разглядывая слиток.

– Бога ты не боишься, Федотьевна, – перебила ее со страхом ворожея, – толковать криво не наше дело. Где ты нашла тут венцы да брачные свечи? Посмотри-ка попристальнее – так и увидишь при церкви-то кладбище с крестом и ширинкою, а это значит монастырь и монахиню.

Старушки долго между собой спорили и не соглашались, а в Татьяне изображение монастыря и монахини оставило какое-то неприятное впечатление; она думала слышать предсказание будущей судьбы своей.

– Ну-ка, Федотьевна, – сказал Горыныч, –

поворожиста мне – скоро ли попаду я в цари сибирские на место Кучума?

– Давно ли, брат, в бояры-то пожалован, а уж лезешь в цари, – заметил с улыбкой Максим Яковлевич.

– Велико дело, брат, из московских бояр попасть в сибирские цари, – отвечал спесиво Горыныч, – ведь не век же сидеть в боярах. И надоест...

Между тем сенные девушки перешептывались с Татьяной Максимовной. Открылось, что они приготовили на красном дворе остякскую колдунью, которая весьма хорошо ворожила на молоке, кипящем на огне. И Максим Яковлевич пошел смотреть на кудесницу. Это была слепая[61] безобразная женщина, что в глазах суеверия служило знаком особенного благоволения к ней духов. Любопытные толпились вокруг нее и спрашивали о значении разных побрякушек, висевших на ее платье, и она толковала, что человеческое лицо означало солнце, полукружие – месяц, лодка – воду, треугольник – огонь, решетка – землю и тому подобное. Когда заклокотало молоко в котле, то шаманка, приблизясь к нему с обык-

новенным кривляньем и воем, стала дуть и шептать на разноцветные волны, потом опустила в них сучок пихтового дерева. Долго он то тонул, то выскакивал поверх, наконец завертелся... Прорицательница отскочила от котла и, стукнув несколько раз глухим тимпаном своим, завопила странным голосом:

– Бегут, бегут! И с востока и с запада; растворяй ворота, погоняй лошадей...

Все принялись толковать значение темных предсказаний шаманки, а она преспокойно уселась опорожнять котел с молоком, из коего выплеснула только несколько ковшей в жертву огня. Еще не согласились в значении последних слов прорицания, а в котле оставалось еще с доброе ведро доквашать прорицательнице, как к крепостным воротам подъехало несколько повозок, занесенных кругом снегом.

Можно представить всеобщее удивление и радость, когда из первой кибитки вылез Денис Васильевич, хотя обледеневшие борода и усы долго не давали ему возможности произнести единое слово. Все кинулись обнимать старика, не зная еще, добрые или худые вести

привез он из Москвы.

Татьяна, наблюдавшая за изменениями лица Максима Яковлевича, первая заметила на следующее утро, когда пришла с ним здороваться, что вести из Москвы были радостные. И действительно, умный, усердный Орел так хорошо обработал дела своего патрона, что выхлопотал даже опальную грамоту от царя Иоанна Васильевича, коей повелевалось чердынскому воеводе выдать головой Никиту Строганова брату его Максиму со всем его животом и людьми за его, Никитино, воровство [62].

Не помню, где-то я читал, что история самых отдаленнейших народов есть нечто иное, как верное описание настоящего. Действительно, исстари говорится, что одна беда не приходит, одна радость не бывает, а свет не изменился. Кому везет, тому все на радость да в прибыль... Кому же заколодит, то беда встречается, горе провожает. Любовь его к отечеству толкуют барбаризмом, усердие к добру – умыслом, благородную откровенность – опасной нескромностью...

То же или почти то же случилось и с Мак-

симом Яковлевичем. Не далее как вчера мы видели его в самом трудном положении; казалось, все вооружилось против него, со всех сторон ждал он напасти и горя. С приездом Дениса Орла все изменилось: радости сменяли одна другую. На другой же день еще более он был обрадован и изумлен вестью из Искра о дивных подвигах Ермака Тимофеевича в Сибири. Верный Уркунду передал с рук на руки Велику доброй Татьяне.

– Ай да колдунья, – толковали по всему Орлу-городку, – как сон в руку. Вот те и бегут и бегут! Уж впрямь прибежали добрые весточки и из Москвы и из Сибири.

– А чем же хуже мост мой? – возразила Федотьевна, обидясь, что слова шаманки предпочитали ее прорицаниям. – Она, проклятая, не сумела же отгадать, даром что с чертями водится, о покойниках, а я их как на блюде выложила. Пусть ворота-то отворились, а уж о конях-то наврала, моя матушка.

Нет, не наврала, ибо не успел еще бедный старик опомниться, не только отдохнуть, как собрали его в дальний и поспешный путь. Из боярской конюшни выбраны были для него

что ни есть лучшие, заповедные кони, даны в провожатые что ни есть, лучшие люди, и он, только что выехал за ворота крепости, как приказал погонять лошадей.

Удивительное сходство чувств и характеров сблизили с первого дня Татьяну с Великою. В самое короткое время они подружались, как две родные сестры, во всем признались, все пересказали друг другу, только скрыли, как говорит предание, тайну своего сердца – из какой-то непонятной им самим стыдливости, а может быть, таинственного предчувствия, что они соперницы, что предмет любви их – един.

Внезапный отъезд Дениса Васильевича из Каргедана сделался предметом толков и перетолков всех жителей. Более всего думали, что он поехал в Чердынь за чем ни есть важным, хотя уже несколько лет он не бывал там, но никому не могло впасть в голову, чтобы он отправился в Чусовую, а того меньше видеть его возвратившимся с Никитой Григорьевичем.

Трогательно было свидание двух братьев, разлученных между собой и сделавшихся

врагами не столько от неравенства характеров, сколько от коварства людей, находивших в том свои виды. Ненависть Никиты была столь велика к Максиму Яковлевичу, что Денис, приехав от него с поруганием, подвергал себя немалой опасности по неукротимой его запальчивости или, по крайней мере, мог быть прогнан со двора без ответа. Но Орел надеялся, по праву общего к нему уважения Строгановых, что Никита Григорьевич не только допустит его к себе, но выслушает равнодушно, и – не ошибся. Он приехал с предложением Максима Яковлевича к брату своему забыть вражду их и ехать вместе, не медля нимало, в Москву, дабы быть первыми вестниками завоевания Сибирского царства, что, без сомнения, облегчит ему возможность выпросить для него царское прощение. Как ни крут был и надменен Никита, но, увидя свою опасность, признал великодушие брата Максима и согласился тотчас же отправиться с Денисом в Орел-городок.

Братья бросились в объятия один другого и долго плакали, не говоря ни слова. Наконец Максим Яковлевич сказал, всхлипывая:

– Брат! Забудем старое и будем вперед не на словах и бумаге, а в сердце и на деле родными...

Сборы именитых людей продолжались недолго, несмотря на разлуку Максима Яковлевича с милой своей Татьяной. Он брал с собой Велику в Москву в надежде отыскать там ее отца или что-нибудь о нем проведать; а расставание, может быть, навеки двух нежных подруг стоило также нескольких дней неутешных слез и рыданий. Впрочем, богатым людям и тогда ни в чем не было остановки: стоило только захотеть – и исполнялось. Строганов приказал наложить в сани соболей, лисиц и того подобное. С такими документами он надеялся успешнее достичь своей цели при дворе царском.

В день своего отъезда Строгановы отслужили молебен с коленопреклонением и прямо из храма Божья сели в повозки и пустились в дальнюю дорогу, напутствуемые слезами и благословениями всех домочадцев, в особенности Дениса, который по старости лет не думал уже дожидаться их на белом свете.

Часть четвертая

Глава первая

Москва печальная. – Царь-сыноубийца. – Царский шут. – Сказочник. – Иступление Иоанна. – Донесение о приезде Строгановых. – Прибытие Кольца в Москву. – Милостивый прием Ермаковых послов. – Трехдневное их угощение. – Внезапный отъезд царя в слободу Александровскую.

Давно Москва, печальная, растерзанная, не знала радости, не видала отрады, но никогда еще не бывала она в таком унынии, как в дня приезда Строгановых. Царь-сыноубийца, преследуемый ужасами ада, устрашаемый привидениями, затворился, как в могиле, в слободе Александровской.

Правда, Иоанн принял опять бразды правления, уступив молениям вельмож, которые утешались надеждой, что тем спасли себя от

сетей его коварства; но мрачное бездействие царя, неприступность к нему и тысячи храбрых воинов, томившихся в темницах, не предвещали ни раскаяния, ни умиления Иоанна. Не доверяли его чистому покаянию и смирению, несмотря на одежду скорби, коей он облек себя и двор; ни на черную краску, коей велели покрыть золотые главы собора монастырского; ни на панихиды, которые он повсюду пел; ни на щедрые вклады, которые рассылал в Константинополь, Антиохию, Александрию, Иерусалим, думая тем купить себе спокойствие душевное. Москва с трепетом, подобно робкой деве, ожидающей удара, который готов разразиться из черной тучи, висящей над головой ее, ждала новой грозы, новых кровопролитий. Ужасы сей неизвестности увеличивались видениями и чудесами, пугавшими суеверных. Комета, носившаяся днем и ночью над Москвой, была, по всеобщему понятию, знамением величайших бедствий. Многие посадские люди оглушены были в день Рождества Христова сильным громовым ударом, который, как шептал между собой народ, разразился над опочивальней

царской у самой кровати и превратил в пепел ставец с драгоценностями и стол, на котором лежала роспись ливонских пленников, обреченных на смерть. Другие столь же осторожно и охотно рассказывали друг другу о мраморном надгробном камне, упавшем с неба недалеко от Налеек (Замоскворецкой слободы); что найденные на нем слова никто не мог разобрать, ни сам митрополит, ни двое литовских гадателей, которых нарочно выводили для того из застенка; и что царь в глазах их велел своим телохранителям разбить камень, сказав: «Смотрите, я всех вас мудрее». Вдобавок ко всему на всех наводил невольную грусть и ужас последний мир с Баторием, вследствие коего Иоанн торжественно отказался от Ливонии, которую Россия около шести столетий именovala своим владением, ибо бедные русские страшились, что малодушный царь, уступивший с многочисленным бодрым воинством славу и пользу отечества горсти изнуренного, разноплеменного воинства Баториева, скоро познает свое очарование и в их крови потщится потопить свой стыд и малодушие!

Вот в каком несчастном положении нашли Строгановы Москву и государство. К большей же горести, благодетель их, Борис Федорович Годунов, уже самый близкий к царю вельможа, еще ничем не запятнанный у престола сановник, лежал на болезненном одре от ран, полученных им от державной руки, которую хотел удержать он от сыноубийства. Годунов крайне жалел, что не мог быть посредником между ними и государем в столь славном деле, но предвещал, что добрая весть скоро проникнет за высокий тын Александровской слободы, ибо царь, несмотря на бездействие свое, любил знать все, что делается, говорится и думается в столице. И действительно, не далее как на другой день молва о завоевании нового царства – богатого, обширного, чудесного – распространилась повсюду, повторялась в храмах Божьих, на крестцах[63] и на Красной площади, заглушила скорбь о недавней великой потере; была тем радостнее, отраднее, чем неожиданнее, невероятнее: народ воспрянул духом.

Едва прошло два месяца со дня смерти царевича, а Иоанн, по твердости ли духа или от

ожесточения и притупления всех чувств, начинал жить по прежнему обычаю. Уже он не стонал и не вопил посреди ночи, не катался по полу в отчаянии, не боялся взора самых приближенных ему людей и по-прежнему засыпал под шумные забавы скоморохов и шутов или тихое мурлыканье слепых сказочников, доколе звон колокола не призывал его к заутрени.

Князь Аввакум Прохорыч Аленкин, в это время занимавший место князя Гвоздева, главы царских забавников, возвратился из Москвы, набравшись подробностей у Годунова и на Красной площади о радостной молве, привезенной Строгановыми, и, как хитрый придворный, спешил сообщить весть сию Иоанну, боясь, чтобы кто другой не предупредил его.

Несколько раз заглядывал Аввакум в опочивальню царскую из-под черного сукна, коим завешаны были двери и обиты ее стены. Множество лампад, ярко теплившихся перед образами, отражали свет, подобный солнечному, так что Аввакум мог читать малейшее изменение, производимое сказкой на лице

царском, несмотря на то, что Иоанн казался погруженным в глубокий сон. Он стал прислушиваться прилежнее к сказке...

– Подносила Пересвета, – продолжал слепец, – зелена вина в золотой чаре, подавала вино добру молодцу на серебряном подносе с чернядью. Принимал Илья Муромец золоту чару из белых рук, а чара-то была в полтора ведра; хотел Илья Муромец подсластить вино, как то водится в православной Руси, расправлял Илья свои черны усы, подступал Илья к девице с поклонами, Пересвета молодца удаляется, авось богатырь догадается, и возговорит ему красна девица: «Перекрестись, добрый молодец, покажи, что не басурманин ты». Илья Муромец на себя крест кладет, а в чаре вместо зелена вина кровь черная ключом бьет...

– Кровь! кровь! – вскричал Иоанн, вскочив с постели. – Да! на мне кровь сына моего, я убил его.

С таким неистовством произнес он слова сии, что Аввакум поспешно спрятал голову, которую было выставил из-под сукна, услышав царский голос, а сказочник затрепетал...

Иоанн долго молчал, но когда ужасное воспоминание начинало мало-помалу оставлять его, он с усмешкою проговорил сам с собою: «Я омою эти черные пятна чистою кровью, да! самую чистою, невинною... Мне будет легче!..» Проговорив слова сии, царь спокойно лег на одр свой и приказал слепцу продолжать свою сказку.

Но, без сомнения, догадливый сказочник не пожелал быть в другой раз прерванным столь неприятным образом, а потому, пропустив описание кровавого боя между Соловьем-разбойником и Ильей Муромцем, приступил к изображению освобождения сим последним семидесяти красавиц из плена жестокого разрушением очарования, коим превращены они были в сизых голубиц.

– Кличет Илья Муромец своего богатырского коня: «Гой еси, сивка бурка вещь каурка, встань передо мной, как лист перед травой!» Конь бежит, земля дрожит, из ноздрей дым столбом, из ушей искры сыплются. Седлает Илья богатырского коня, надевает на него седельце черкасское, тридцать подпруг с подпругою, шелку шемаханского; шелк не рвет-

ся, булат не трется, аравийское золото на грязи не ржавеет. Садится Илья на добра коня, ударяет коня по крутым бедрам, конь осержается, от земли подымается. То не пыль во чистом поле завивается, не густой туман со озер, с болот, с зеленых лугов расстиляется, едет то сильный, могучий богатырь Илья Муромец, едет он девять дней, девять ночей, глаз не смыкаючи, росинкой Божьей горло не промачивал, зерном пшена коня не кармливал. На десятый день останавливается у десяти дубов, на тех дубах десять теремов, а в тех теремах сидят десять голубиц, а к тем теремам десять ворот, все железные и с подворотнями, в полтора пуда каждая. Вынимает Илья из ножен свой меч-кладенец, а весит он двести пудов с двумя фунтами. Ударяет Илья мечом в первые ворота, рассыпаются ворота и с подворотнею, другие ворота и третьи разбивает в два часа, четвертые и пятые в два денька, шестые и седьмые в две недели, осьмые в два месяца, девятые бьет Илья два года, а десятые – двадцать лет. Не кручинится Илья о трудах, о времечке, мудрено Илье только выбрать свою суженую, Пересвету прекрасную,

из семидесяти царевен, что проклятый Соловей натаascal в гнездо свое со всего свету Божьего. Они все на одно лицо: белы, как вешний снег, румяны, как заря утренняя, у всех глаза черные с поволокою, грудь соколиная высокая, поступь лебязья приманчивая, губки, как маков цвет, зубы, что твои жемчуги. Все одно ласковы, приветливы. Глаза у добра молодца разбегаются, богатырское сердце разгорается...

Аввакум, заметив, что описание красавиц произвело приятное впечатление на лице Иоанна, почел это счастливым временем для объявления доброй новости. С шумом и запыхавшись, вбежал он в горницу и, встав на колени, закричал:

– Не вели, царь государь, казнить, не вели рубить, вели слово вымолвить.

Иоанн, привыкший к проказам своего забавника, которые редко бывали без цели, несколько не встревожился внезапным его появлением и довольно милостиво сказал:

– Ври, дурак, что хочешь...

Мнимому дураку только этого и хотелось, чтобы царь не рассердился на него с первого

раза. Он с важностью встал с пола и сказал:

– А что, кум, посулишь, коли совру тебе такую весточку, что и Борьке Годунову не выдумать, даром что востер...

– Прежде князь Аввакум Прохорыч Аленкин со мной не торговался, – сказал Иоанн с улыбкою.

– Правда, Ванюша, да, вишь, давно не было ничего доброго и веселого, за чтоб с тебя новинку содрать.

– Говори же скорее, – перебил его царь с приметным неудовольствием при неуместном замечании дурака, и дурак, опомнясь, что неосторожно проговорился, сбавил несколько спеси и продолжал:

– Изволь, кум, я не в тебя, скажу и даром. Кланяюсь тебе, батюшка, царством, да таким длинным, что твое Московское менее вот этой заплаты на моем охабне...

– Выдумай что позабавнее, а не то убирайся вон, – прикрикнул царь, перевернувшись к нему спиною.

– Не моя, кум, выдумка, а твоих заморских купчин...

– Говори прямо, что хочешь сказать, ду-

рак? – сказал сурово Иоанн, подняв опять голову.

– То, куманек, что купчины Строгановы прикатили вчера из-за тридевять земель, тридесятого царства, ин на собаках, ин на медведях и привезли-де тебе на поклон царство Сибирское...

– Слушай, Прохорыч, – сказал Иоанн, вставая с постели, – коли ты выдумал сказку, чтобы потешить меня, то я потешу тебя по-своему – посажу на кол; если ж окажется правда, то за добрую весть пожалую тебя парчовой парюю.

– Много милости, куманек, – заметил Аввакум вполголоса.

Иоанн приказал немедленно послать за Годуновым, а Прохорыч принялся ему рассказывать все, что ни слышал в Москве или что в состоянии был выдумать о Сибири и Строгановых. Государь давал волю его гибкому языку, слушая вранье его, как сказку, или, скорее, ничего не слушая – в дремоте и размышлении.

– Поверь только дуракам все, что они болтают, – продолжал Аввакум, – то, пожалуй, и

меня с толку собьют; и ты, куманек, не всякому слуху верь. Вишь, на Красной-то площади одни бают, что Строгановы привели тебе сибирских медведей ростом чуть не с курятные ворота; а другие толкуют, будто то не медведи, а новый сибирский твой народец из Лукоморья, где летом он бывает человек человеком, а зимой обертывается в медведей и волков[64]. И Антропка-целовальник, даром что разбирает печатные книги, а не сумел же разгадать мне, где этот окаянный народ, которого какой-то сильный могучий царь, ну, словно ты, Ванюша, замуровал в железные стены [65], откуда Строгановы достали боярскую дочь, да такую пригожую, да такую нарядную, что ни в сказке сказать, ни пером написать. Болтают, что подали им ее в волоковое окошко...

– Догадливы купчины, запаслись к нам и добрым товарцем, – промолвил царь, улыбаясь...

– Как же, куманек, они ведь ребята смышленные, знают твою охотку... А я бы, Ванюша, на твоём месте взял у них лучше кота заморского; слышно, говорит по-человечьи. Де-

вок-то у нас и своих много. Любую выберем в Москве, а кота-то другого не сыщешь скоро. То-то мы бы с тобою наслушались дивного и разумного, к чему бы и Борька после годился?

– Помнится, сказывали, что и дочка у Максима Строганова вельми смазлива, – сказал Иоанн весело; а это еще более одобрило забавника рассказывать были и небылицы и предлагать государю приятельские советы, доколе не вывел он его из терпения и от одного взгляда не зажал себе рта.

Прибытие Ермакова посольства не замедлило увеличить радость московских жителей и удостоверить самых недоверчивых в справедливости известий, привезенных Строгановыми. Кольцо, взяв к себе в вожатые князя Имбердея, благополучно пробрался через Каменный Пояс и Пермь волчей дорогой, ехав в нартах то на собаках, то на оленях, которым путь по глубокому снегу прокладывали вогулы на лыжах.

Весьма простительно, ибо везде так было и будет, что по приезде казаков забыли о Строгановых. В целой Москве говорили только об Ермаке Тимофеевиче и храбрых его спо-

движниках. Рассказывали о бесчисленных воинствах, разбитых ими; о чудных народах, ими покоренных; о их шаманах, которые отрезают себе голову, когда колдуют, и опять приставляют ее к своей шее[66], и прочее; а о несметных богатствах, найденных казаками в Сибири, никто и не смел усомниться, видя послов их, гордо расхаживающих по Красной площади в драгоценных собольих шубах и высоких гарлатых шапках, словно бояре первостепенные.

Царь Иоанн Васильевич, по расчетам ли политики своей, дабы поддержать народный восторг, или действительно быв и сам обрадован столь неожиданным приращением своего могущества, не скрывал удовольствия и, ко всеобщему удивлению и радости, назначил принять атамана Кольца в Кремлевском дворце наравне с послами, присылаемыми к нему от азиатских народов.

Народ уже рано поутру толпился у Красного крыльца, желая взглянуть на царя, давно не виданного им в столице, а того еще более – при торжестве столь веселом и радостном. Скоро народный шепот возвестил, что царь

проехал к Годунову. Боялись, чтобы воспоминание ужасной причины его болезни не омрачило опять Иоаннова нрава; но, к общему всех обрадованию, государь возвратился от Бориса Федоровича с лицом столь светлым и спокойным, какого давно в нем не запомнили.

Когда ввели Кольца с его свитою в приемную палату, Иоанн сидел на троне, окруженный знаменитейшими сановниками и телохранителями в белых кафтанах с серебряными секирами и золотыми цепями на груди. По сторонам на длинных столах разложена была дань, собранная Ермаком с новоприобретенного царства и состоявшая из пятидесяти сороков редчайших соболей, двадцати черных как смоль лисиц и пятидесяти бобров, струившихся серебром. С непонятным трепетом бестрепетный герой Сибири подал челобитную Ермака в руки грозного монарха, некогда осудившего его на позорную смерть, и повергся к подножию его престола. В сем умиленном положении, весьма приятном для Иоанна, казаки ожидали решения судьбы своей во все продолжение чтения дьяком Ермаковой чело-

битной. Завоеватель Сибири доносил государю, «что его бедные, опальные казаки, угрызаемые совестью, исполненные раскаяния, шли на смерть и присоединили знаменитую державу к России во имя Христа и великого государя – на веки веков, доколе Всевышний благоволит стоять миру. Что они ждут указа и воевод его, сдадут им царство Сибирское и без всяких условий готовы умереть или в новых подвигах чести, или на плахе, как будет угодно ему и Богу».

Иоанн ласково приказал атаману и всем казакам встать, пожаловал Кольцу облобызать свою руку и с особенной милостью сказал:

– Витязи добрые! Вы давно уже искупили прежние вины свои делами славными, службою, за которую отечество вам будет вечно благодарно. Прославим Господа за великие щедроты Его к нашему государству и испросим мудрости достойно наградить виновников сей благодати.

Немедленно митрополит приступил к отправлению торжественного молебствия с коленопреклонением в Успенском соборе при

оглушительном звоне всех колоколов. Царь молился с непритворным усердием и повелел три дня продолжать звон по всем церквам в столице. Бояре и даже простолюдины пели благодарственные молебны и наперерыв честили вестников столь счастливого события, напоминавшего им незабвенные времена Иоанновой юности, завоеваний царств Казанского и Астраханского.

Сибирский посол со всеми его провожатыми угощаемы были три дня сряду во дворце государевом, и царь посылал им в золотых мисках лучшие блюда со стола своего. Во все сие время Иоанн был милостив, снисходителен, неоднократно беседовал по несколько часов с Кольцом и Строгановыми о Сибири и всех нуждах их и предположениях и обещал незамедля отпустить их с полным удовлетворением; но вдруг, к общей печали и страху, уехал по-прежнему с небольшим числом придворных в свою слободу Александровскую — неприступную жалости и милосердию.

Глава вторая

Строганов и Годунов в беде. – Поход в Слободу медведей. – Потеха. – Рассказы шута. – Иоанн за обедней. – Ужасная забава. – Строганов в отчаянии. – Трапеза царская. – Строганов перед Иоанном. – Иоанн смирен добродетелью. – Узнает обслушании и прощает. – Ощущение милосердия. – Слобода Александровская. – Торжественное отправление в Сибирь послан Ермаковых. – Ермак пожалован князем сибирским. – Дерзкая шутка Аввакума.

Строганов с Годуновым увидели опасность, в которую они вверглись, не выполнив повеления царя Грозного. Иоанн, найдя Годунова действительно страдавшим от руки его, обнял его, а узнав притом, что врачует его Строганов, приказал сему последнему, чтобы он поставил самые мучительные заволоки на груди и на шее Федору Нагому, отцу царицы, в наказание за его ябедничество, ибо Нагой донес ему, что Годунов не является ко двору

от досады и злобы, а не от болезни. В то же время Строганову государь пожаловал за его искусство и попечение о своем любимце право именитых людей *с вичем*, коим пользовались только знатнейшие государственные чиновники.

Годунов надеялся, что в Москве скоро изыщет он случай пасть к ногам государя и признаться, что причиной невыполнения Строгановым его святой воли стали жалость к дряхлым летам его тестя. Но в Александровской слободе никто без позволения не имел доступа к царю, и самые вести, даже сокровенные, проникали не иначе, как через железные ворота, всегда запертые и охраняемые многочисленной стражей, но проникали преувеличенными, искаженными, как они часто выходят из уст лазутчиков и наемщиков. Одна надежда оставалась на пособие умного и доброго князя Аввакума Прохоровича, которого Годунов нередко употреблял в подобных случаях, когда не оставалось уже другого доступа к Иоанну. И до шута царского доступ был не весьма легок. Требовались большая осторожность и благоразумие, дабы ускользнуть от

тысячи глаз, устремлявшихся обыкновенно на незваного пришельца в негостеприимные стены слободы Александровской. Долго думали и гадали, с кем бы передать ему грамотку, наконец Кольцо предложил сделать сию доверенность казаку его, Коржу, которого можно было послать туда с медведями, приведенными для царской потехи Строгановыми. Кольцо ручался за его скромность и смышленность. Итак, дав Коржу наставления, немедленно отправили его в слободу с двумя важными поручениями: с учеными медведями для царя и небольшой грамоткой к его шуту. И проворный Корж вполне оправдал сие доверие.

С барабанным боем и страшным ревом подошел он к Неволе, находившейся за три версты от слободы, где стоял обыкновенно передовой отряд стрельцов для обыска путешественников. Так как проводники медведей, шестеро дюжих рослых мужиков, наряжены были в остяцкие парки, а на зверях, которые шли на задних лапах, надеты вогульские шапки, то весьма естественно, что приближение столь странного сонмища встревожило

блюстителей царского покоя. Стрельцы схватили оружие и построились у заставы в боевой порядок. На вопрос сторожевого, кто идет и зачем, Корж, который отделился от своей блестящей свиты, смело отвечал, что ведет царю на поклон новых его сибирских холопей. «Не подумайте, братцы, – продолжал казак весело, – что мы, сибиряки, не сумеем добрым людям поклониться и слова ласкового вымолвить, даром что с рожи-то не кошны и прихмуроваты». Он подал неприметный знак, и медведи с ужасным ревом кувыркнулись несколько раз вперед. С подобными шутками и рассказами Корж пробрался со своими медведями до самого царского дворца, далее его не пустили без доклада государю.

К счастью, стрелец, посланный к постельнику с донесением, встретил в передовых сенях знакомого нам князя Аввакума Прохоровича, который, как один из числа придворных, снедаемых любопытством, переходил с места на место, стараясь собирать или извлекать, чем бы потешить царя. Он взялся доложить государю, но прежде того вышел сам посмотреть на подарок Строгановых. Смышле-

ный Корж, увидя низенького горбатого старичишку в превысокой боярской шапке, смекнул разом, по сделанному ему описанию, что это тот молодец, до которого ему было дело. Боясь упустить сей счастливый случай, он тотчас подошел к нему и, поклонясь почти до земли, спросил:

– Твоя милость не Борис ли Федорович Годунов?

– Нет! – отвечал спесиво Аввакум.

– Коли не боярин Годунов, то, вестимо, не хуже его, а може, и ближе к ясным очам государевым. Порадей, боярин батюшка, донеси царю, что его-де сибирские холопы, – указывая на медведей, – прибыли из-за дальних лесов, от широких рек, с высоких гор, не разуваючись, рубахи не снимаючи, бить челом на воровство его людей Строгановых, что им житья не дают, с них шубы дерут да в казну царскую кладут.

Он всунул медведю в лапу большую бумагу, завернув искусно в нее известную грамотку Годунова. Мишук с низкими поклонами и жалостным ревом подал челобитную Аввакуму, которому в то же самое время проворный

Корж успел сказать на ухо: «Не зевай». Этого достаточно было для не менее смышленного шута, который и по первым словам казака о его сходстве с Годуновым смекнул, что тут что-нибудь да кроется. Положив тщательно бумагу за пазуху, Аввакум, чтобы не подать малейшего сомнения и пересказать подробнее царю о достоинстве медведей, заставил их показать свои таланы. Восхищаясь от всей души разумом косматых обитателей лесов сибирских, Аввакум божился всеми святыми, что все царские медведи, которых по несколько присылают ежегодно из Новгорода и Ваги для царской забавы, не стоят уха сибирских потешников. В самом деле, робкое послушание сих ужасных зверей воле своих вожатых было еще удивительнее по их свирепости, которую ничем не могли истребить в них. Они бросали по сторонам кровожадные взоры и, кажется, говорили, что если б не крепкие железные кольца, продетые им в ноздри и в обе губы, удерживали их, то они давно бы управились по-свойски с милыми своими приставами. В особенности многие сибирские обычаи, неизвестные в России, представленные

медведями, доставили Аввакуму и стрельцам, высыпавшим из сторожевой избы, несказанное удовольствие. Например, как вогулы на лыжах бегают, как остяки секут своих божков, когда приходят из лесу без добычи, как белки по деревьям скачут и грызут кедровые орехи. Неповоротливость неуклюжих раздражителей быстрым, легким зверькам морила со смеху, не менее того тешились они злостью и гневом медведей, когда подали им вместо орехов по круглому булыжнику. Но испытанием их ярости и силы более всего послужило представление, как сибиряки подстерегают оленей при переправах через реки. Подползя с осторожностью к чуткому животному, звероловы с остервенением нападают на стадо, бьют, колют их сколько можно более, а другие внизу реки подбирают раненых, несомых быстринною струи. Медведи с кольями в лапах, маша в обе стороны, по неловкости часто задевали друг друга и, наконец, до того приходили в ярость, что со свирепостью кидались один на другого, и тогда требовалось большого искусства и усилий, чтобы разнимать их между собою.

Аввакум, полный любопытных вестей, вошел с немалой спесью в светлицу царскую, когда царь облачался, собираясь к поздней обедне.

– Ну, кум, – сказал он, – недаром же ты велел перезвонить по всем церквам за новое-то царство.

– А что? – спросил государь.

– Как что, неужто тебе не слышно было, как орали твои сибирские песенники, выли не хуже твоей царицы?

– О чем царице плакать? – спросил Иоанн с поспешностью.

– Как о чем? – отвечал Аввакум. – Разве Федька Нагой не батька ей – вишь, стало жаль старика.

Иоанн затрепетал от гнева: глаза его наполнились кровью, и он тотчас же послал Богдана Бельского спросить у царицы Марии Федоровны, не жаль ли ей своего отца?

– Забеги-ста полюбоваться на своих новых холопей, – продолжал Аввакум, как будто не примечая Иоаннова гнева, – они давно дожидаются тебя у сторожевой избы, чай, проголодались, сердечные. Ну уж звери, Ванюша, та-

кие дюжие да свирепые, что твои важские! Будет чем тебе позабавиться уже на Красной площади. Ха-ха-ха, как спустим шестерых-то на кучу, то ни пеший, ни конный вряд ли цел уберется домой. Ха-ха-ха! Только и знай, что станут пощелкивать руками да ногами, словно орешками...

Иоанн в молчании и без малейшего изменения в лице выслушал рассказы шута о достоинствах медведей и продолжал свое шествие в церковь, как у порога встретился с Бельским, который принес ответ от царицы, «что как она, так и отец ее в его царевой воле; да творит он с ними, что рассудит за благо». Иоанн взглянул исподлобья на Бельского и, не сказал ни слова, пошел далее.

С благоговением молился государь в храме Божьем и столь усердно клал земные поклоны, что на челе у него сделалось красное пятно; казалось, все помышления его стремились к престолу Всевышнего.

По окончании службы Иоанн при выходе из церкви, подкликнув к себе любимого своего стольника Черемисинова, послал его с повелением, коего последние слова: «*Вели из губ*

вынуть оба кольца», – произнес довольно громко. Никто не понял значения этих слов, но всякий с подозрением взглянул на другого, ибо жалость давно была изгнана из сердец людей, окружавших Иоанна, и одно подозрение было известно в слободе Александровской.

Возле церкви Иоанн заметил Никиту Строганова, который, получив накануне указ царский явиться в Александровскую слободу, поспешил выполнить волю его, тем более что вследствие царского повеления ему выданы были из казны прогонные деньги за девяносто семь верст на две подводы[67]. Царь, подзвав его к себе, милостиво подал ему руку для целования и, сказав весело: *«Божья Богови, а кесарева кесаревы»*, – дал знак, чтобы он за ним следовал. Входя на Красное крыльцо, царь опять обернулся к Строганову и сказал с улыбкою:

– Испытаем, именованный человек, твой подарочек!

– Государь, – отвечал Никита с подобострастием. – Все, что ни имею, есть твое достоинство, и кланяюсь от щедрот твоих.

– Мой князь из князей, – продолжал Иоанн шутливо, – не может нахвалиться твоими медвежатами. Хочу ими потешиться, – прибавил он со значительной усмешкой, садясь в кресла, нарочно ставившиеся для государя на стеклянной галерее для подобных зрелищ.

Строганова поставили недалеко от государя. Не видя ни виселиц, ни эшафотов, он полагал, что преступники, стоявшие посреди Красного двора в кандалах и рубищах, окруженные рогатками и вооруженной стражей, призваны были для получения помилования от царя, умиленного Божественной службой. Спокойствие Иоанна еще более его в том удостоверило. В минуты сего размышления вбегает Аввакум.

– Кум, кум, – вскричал он, дрожа от страха, – вели-ста кинуть хоть собаку сибирским нахалам. Того и смотри, что голову сорвут вожакам: слышь, как осерчали с голоду.

– Именем моим прикажи, чтобы потерпели немножко, – сказал Иоанн с довольной усмешкой, – скоро бросят им не одну собаку...

– Коли уж меня не побоялись, проклятые,

– прибавил Аввакум, гордо избоченясь, – то тебя, тщедушного, подавно не струсят...

– Диво, куманек, а кажись, мухи-то московские не чета сибирским медведям, да и те тебя пугаются, когда ты меня обмахиваешь.

– Я бы пугнул, Ванюша, порядком и Стеньку Батория, кабы была моя воля, – сказал дурак.

Судя по свирепому взгляду, который кинул Иоанн на Аввакума, можно полагать, что за сие острое словцо он пожаловал бы его острым железцом своим, если б ужасный рев медведей, входивших через калитку, не увлек к ним всего его внимания.

Царь приятно изумился свирепости и огромности зверей. Он с удовольствием смотрел на все их проказы, хотя весьма трудно и даже опасно было принудить их к послушанию, ибо по приказанию царя, отданному в церкви через Черемисинова, освобождены были их пасти от колец и они управлялись одними, продетыми в ноздри. Эта свобода была причиною того, что при представлении оленьей ловли никак не могли удержать медведей в повиновении и они до того озлоби-

лись, что стали терзать один другого зубами. Кажется, Иоанн ожидал только этой минуты: по данному им приказанию вожатые выпустили из рук последние веревки и спешили укрыться за рогатки, которые в то же время раскрыты были со стороны узников. Голодные, разъяренные медведи со свирепостью бросились на толпы беззащитных и в мгновение ока произвели между ними кровопролитие, приводящее в содрогание человечество. Добрый Строганов обомлел от ужаса и негодования. Он делал себе упреки, считая себя некоторым образом причиною сего бесчеловечия, и негодование его усилилось, когда увидел, что он один смотрит на сие зрелище с омерзением. Иоанн, напротив, забавлялся им в полной мере, особливо когда некоторые из узников вступали в ратоборство с ужасными зверями и отчаяние придавало им сверхъестественные силы и проворство, или старались бегством и обманами избежать их когтей. Отрывистые поощрения и отвратительный хохот Иоанна и его достойных клеветов, подобные тем, которые слышатся обыкновенно при травле зверей собаками, меша-

лись со стонами и проклятиями несчастных.

Пресытись кровью невинных, ибо то были те русские герои, которые удивили врагов своим мужеством и терпением, но коих обвинял Иоанн малодушной сдачей ливонских городов Баторию, тогда как сам был тому причиною, – отдал приказание остановить медведей, но ему донесли, что ничто, кроме пули, не в состоянии усмирить их. «Они свое дело сделали», – сказал равнодушно Иоанн и дал согласие перестрелять их.

С веселым лицом и спокойным духом Иоанн прошел прямо с кровавого пиршества за обеденную трапезу. Явился и князь Аввакум с обыкновенным своим остроумием. Заметив хорошее расположение царя, он смело подошел к нему и сказал:

– Чур, неправду сказал я о строгановских-то? Потешили, проклятые, наши животики, надорвали. Пуще всех позабавил старишка. Говорят, Ванюша, он из донских разбойников, такой же атаман, как Тимофеевич. Да уж и лихой, паря: ломался с мишкой, покуда тот не своротил ему череп на нос. Что бы тебе, кум, догадаться, да велеть бросить заод-

но Федьку Нагого; этот бы не пискнул в лапке у сибиряка, а то, пожалуй, долго еще протаскается с заволокой на шее, а царица все будет реветь...

Царь опустил ложку, как будто припоминая что-то, и спросил: «Тут ли Максим Строганов?»

На ответ, что он прибыл еще во время обедни, Иоанн приказал снести к нему несколько лучших блюд со своего стола, а после отдыха позвать его к себе в опочивальню.

Строганов почувствовал невероятное спокойствие, готовясь предстать перед лицом Иоанна. Страх Божий победил страх человеческий в сердце добродетельном, богобоязненном.

С сими мыслями и ощущениями вступал Строганов в опочивальню царскую. Приподняв сукно, он поражен был тяжким стоном и глухими словами, вырвавшимися из груди Иоанна: *«ныть легче!.. Испытаю»*.

Если б можно было проникнуть в душу Иоанна, то, без сомнения, прочли бы смущение, какое он почувствовал внутренне, увидя тихого, робкого Строганова, представшего к

нему со спокойствием и равнодушием, коих не могли соблюдать в его присутствии самые неустрашимые из воевод его. Прочли бы, может быть, что он первый раз в жизни познал мужество воина Христова, что он трепетал не от ярости, а от уничижения, от скорби, не находя в себе ни сил, ни воли наказать духовного победителя. Но и теперь в продолжение всего разговора Иоанн умел искусно скрыть свои помышления.

– Максим, – сказал он Строганову, сидя на одре своем, – ты видел, что я умею столь же щедро награждать за услуги, сколько карать за вины. Мне стало жаль царицу – вылечи старика Нагого.

– Государь! – прервал безбоязненно Строганов. – Я избавил тебя от раскаяния, а старца – от неминуемой смерти.

– Что ты хочешь сказать? – спросил Иоанн более с любопытством, чем с гневом.

– То, государь, что, вопреки твоему царскому повелению, я не поставил заволок твоему тестю.

– Максим, – сказал Иоанн, подумав несколько, – в первый раз слышу послушание

моей воле и в первый раз – прощаю... Да! прощаю! – воскликнул он, вскочив с постели. – Даю царское слово мое, что прощаю, – повторил Иоанн отрывисто, как будто что-то душило его. Иоанн не мог произнести ни слова более, знаком показал Строганову, чтобы он удалился. Грудь его вздымалась выше обыкновенного, пот градом катился по лицу его, ноздри раздувались, как во время пущего гнева; но он не чувствовал ярости, которая жгла тогда его внутренность. Какая-то благотворная отрада, какое-то сладкое упоение овладело всем бытием его: дыхание его сделалось чище, свободнее – он воскликнул невольно: *«Мне что-то стало легче!»*

Максим Яковлевич поспешил в храм Богоматери возблагодарить Господа за совершившееся перед ним чудо; ибо, как истинный христианин, он относил единому Богу и свое мужество, и смирение Иоанна. Со слезами и умилением доброго чада Церкви и России молился он об обращении Иоанна на путь истинный для блага отечества и для искупления души его. Выйдя из собора, он не знал, куда далее идти ему. Хотя лично не доверял он

Иоанну в прощении, но какая-то сверхъестественная сила твердила ему, что он безопасен.

Вечерние лучи весеннего солнца горели на ярко вызолоченных куполах Рождественского собора, из коих средний расписан был огненными змеями, и трепетали на дивных узорах стен оного, сиявших не менее золотом, серебром и драгоценной лазурью. Более всего дивили Строганова кресты, изваянные тут на каждом кирпиче. Стоя на паперти, он мог видеть всю слободу, внезапно сделавшуюся городом. В разных местах возвышались каменные церкви, дома и лавки. Слобода Опричная длинной улицей тянулась до самого Успенского монастыря, где незадолго еще Иоанн кощунствовал с тремястами из самых злейших и буйных своих кромешников, назвав их братией, а себя – шумном, князя Афанасия Вяземского – келарем, а Малюту Скуратова – параскисиархом. Другая подобная улица называлась Купеческой. Придворные, государственные, воинские чиновники жили в особых домах недалеко от дворца, который уподоблялся замку феодального барона, быв окружен

глубоким рвом с подземными мостами и высоким валом с острым тыном и сторожевыми башнями. Красный цвет стен и черная крыша, несмотря на богатые украшения, придавали ему какой-то мрачный, ужасный вид, уподобляли его скорее обширному гробу, чем чертогам русского царя в увеселительной слободе его. Там над Красным крыльцом возвышался тот ужасный терем, который был столь же пагубен для жителей слободы, как некогда Дионисиево ухо для заключенных в темницах сиракузских, ибо отсюда Иоанн видел все, что ни делалось в его столице[68].

Успенский девичий монастырь приходит также в разрушение и угрожает археологии уничтожением последних исторических следов. От времен Грозного остались только два местных образа и северные двери: образ Иисуса Христа высокой итальянской живописи и Божьей матери древней греческой. На первом оплечья золотые, а ризы на обоих украшены драгоценными камнями. Двери железные с прекрасными золотыми арабесками одинаковой работы с дверями московского Благовещенского собора. По странной ли

прихоти царя, или он не хотел испортить рва, только ход из дворца в собор был сделан под землю, и так глубоко, что не был нисколько не заметен на поверхности.

Строганов долго бы остался, может быть, на паперти, предавшись мечтам и размышлению, несмотря на сумрак, начинавший скрывать предметы от глаз, если б не выведен был из оногo вбежавшим Аввакумом.

– Максим, – сказал он поспешно, оглядываясь во все стороны, – что зазевался, убирайся-ка отсюда, покуда цел...

– Я на все готов, – отвечал равнодушно Строганов, – но без царского указа, сам знаешь, не могу выехать из слободы.

– Как, – вскричал Аввакум, – разве Черемисинов не объявил тебе приказания царя ехать в Москву и приготовить Кольца к отправке?

– Нет, – отвечал Строганов.

– Чего доброго, Максим, – продолжал шут, улыбаясь, – не обошел ли ты уж и его, как обаял кума Ванюшу. С тех пор как погостил ты в опочивальне у нас, ни на кого не огрызаемся, не осерчали и на Бельского, даром что

он задал нам мат с пяти ходов.

Строганов перекрестился и сказал:

– Это дело Божье, а не человеческое. Помолитесь Господу Богу, чтобы царь таким навсегда остался.

– Хорошо бы, Максимушка, кабы твоими устами да мед пить, уж я бы припрятал подалее его костылек-то, а то теперь говори, да и оглядывайся, чтобы не пырнул им тебя в брюхо... Что-то, право, не верится! Ну как очнется по-старому, за тебя первого ведь примемся – у нас с куманьком такой обычай, не прогневайся: не забыл, чай, ты Адашевых да Сильвестра...

Приближение Черемисинова остановило словоохотливого рассказчика. Любимый стольник царский объявил Строганову государеву волю, чтобы он немедленно возвратился в Москву и ждал его прибытия – для отправления посла Ермакова с царскою милостью.

И действительно, на третий день после сего столица русская была обрадована возвращением царя – царя доброго, милостивого...

Отслушав торжественное Божественное

служение в Успенском соборе, государь приказал петь напутственный молебен храбрым гостям сибирским. После сего призвал их в посольскую палату и, наградив каждого деньгами, сукнами, вручил Кольцу из собственных рук ответственную грамоту Ермаку Тимофеевичу.

– Отправь, – сказал Иоанн с особенной милостью Кольцу, – мое спасибо всем молодцам атаманам и казакам нашим; отвези им верно мои награды и скажи, что если будут продолжать службу свою столь же усердно, то ни царь, ни государство их не забудут, хотя б зашли они на край света. А честному нашему князю сибирскому, Ермаку Тимофеевичу, посылаем шубу с плеча нашего, кубок, из которого пили за великое дело, и два панциря – да сохранит Господь под броней сею его здравие надолго для пользы и славы отечества. Извести товарищей своих, что вслед за тобою отправится воевода с достаточной силой для удержания завоеваний наших.

Кольцо кинулся со слезами лобызать руку монарха; вдруг из среды придворных, когда менее всего ожидали, раздался звонкий голос

Аввакума:

– Не забудь-ста, куманек, заказать князю сибирскому, чтобы подослал нам поскорее десятка два медвежат из его медвежья царства. Ведь не все же трусы перевелись у тебя... А мож пригодятся и на самого ставленника. Попав в князя, того и смотри забудет, что был разбойником. Захочет и понежиться. Чего добиваться ему больше?

К общему всех удивлению, Иоанн весьма равнодушно перенес дерзкую шутку Аввакума и, будто вслушавшись только в последние слова его, отвечал насмешливо:

– Заиграла чистая княжеская кровь... Эти потомки удельных князей думают, что они одни созданы быть князьями. Хорошо бы, право, было царство Русское – с князьями Гвоздевыми, Аленкиными, Курбскими, Бельскими... Нет, куманек, – сказал он громче и реже обыкновенного, как бы желая, чтобы все его слышали, – княжество Ермаку не в позор, казачество его не в укор. Лучше родиться пастухом да делами честными добыть себе княжество, чем считать род свой от князей ярославских, черниговских и угодить в ско-

морочи или в предатели...

Царь умолк, не слышно было и голоса Аввакума. Все присутствующие в тишине и с благоговением низко поклонились государю и пошли за роскошную трапезу, коею угощал царь на отпуске Кольца с товарищами.

Глава третья

Обратим путь Кольца в Сибирь. – Новые блистательные подвиги Ермака. – Пленение Маметкула. – Распространение владычества России до хладных пустынь обских и непроходимых лесов пельымских. – Ермак возвращается в Искер победителем. – Здесь ожидает его Кольцо с царскими милостями и наградами. – Восторг казаков. – Радость и веселье увеличиваются прибытием в Искер князя Болховского с пятьюстами стрельцами.

Можно поверить, что Кольцо с казаками своими не терял времени в дороге, поспешая обрадовать Ермака и храбрых товарищей своих царской милостью. Но необъятные про-

странства, разделявшие столицу русскую от сибирской, при всех пособиях, которые встречали они в областях русских по указу царскому, а в Сибири от людей строгановских, несмотря даже на то, что в нынешний раз они не останавливались от неизвестности пути, поставляли им такие препоны, которых никакая человеческая сила не в состоянии была преодолеть. Кольцо, чтобы ускорить приход свой в Искер, не воспользовался дозволением государя приглашать на обратном пути охотников для переселения в новый, богатый край Тобола и даже не заехал на Дон, как ни призывало его туда сердце и как ни хотелось казакам взглянуть на пепелище Раздор и на вновь возникший вместо одного город Черкасск.

Оставим Кольцо спешать в Искер и взглянем, что случилось там во время продолжительного их отсутствия.

Первым и блистательнейшим подвигом завоевателей Сибири при начале весны был поход на Вагай, где по извещению мурзы Сенбахты Тагина явился снова дерзкий Маметкул с многочисленной толпой. Ермаку Тимо-

Феевичу весьма желалось захватить его живого, дабы, избавясь от сего врага неутомимого, получить вместе с тем большее влияние на татар, ему весьма преданных. Предприятие сие требовало более скорости и тайны, нежели силы, а потому Ермак избрал шестьдесят удальцов под начальством Грозы и с чрезвычайной скрытностью отправил их ночью по Иртышу в самой легкой лодке.

На восходе солнца удальцы наши приблизились к устью Вагая и, привалив к берегу, пустились пешком к месту кочевья Маметкулова. Юрты его были расположены на высоком берегу реки, имея с двух сторон перед собою открытый луг. Нужно было сделать большой обход, чтобы приблизиться от лесу, который примыкал к ним только с противоположной стороны. Отсюда казаки могли хорошо высмотреть своего неприятеля, не быв им замечены, и расположить заранее свои действия, необходимые при ночной темноте.

Когда в ауле все затихло, Гроза подал знак начинать дело. Весьма счастливо миновал он несколько кибиток, оставив у входа каждой по два казака с приказанием не выпускать

никого из оных. Уже оставалось недалеко до ставки царевича, и по данному приказанию Грозы казаки забегали вокруг, дабы со всех сторон дружно грянуть на нее, как, к неописуемой досаде, несколько казаков, в том числе и сам предводитель, попали в глубокий ров, которого они не усмотрели, и при падении одна фузея выпалила. Выстрел встревожил весь аул. Татары выбежали с саблями и кинжалами и бросились резаться с казаками. Грозе стоило немалого труда выбраться на крутизну и приблизиться к Маметкулу, который, как раздраженный лев, отсекая все попытки казаков обезоружить его. Уже несколько смельчаков сделались жертвою неимоверного его искусства и храбрости. Казаки решились отомстить за кровь своих товарищей, как Гроза, проложив себе путь сквозь толпу татар, удержал их гибельный натиск и сам пошел на Маметкула.

*Ужасный вид! Они сразились!
Их сабли молнией блестят,
Удары тяжкие творят,
И обе разом сокрушились.
Они в ручной вступили бой:*

*Грудь с грудью и рука с рукой;
От вопля их дубравы воют;
Они стопами землю роют;
Уже с них сыплет пот, как град;
Уже в них сердце страшно бьется,
И ребра обоих трещат,
То сей, то оный набок гнется;*

*Крутится, и – Гроза сломил!
«Ты мой теперь!» – он возопил[69].*

– Твой, – отвечал Маметкул, – и клянусь великим пророком, что ты тот же дерзновенный гяур, которого сильную мышцу испытал я при Чувашском мысу.

– Рассчитаемся после, – сказал Гроза и, обезоружив его совершенно, приставил четырех надежных казаков смотреть за ним.

Гроза, не теряя времени, бросился на помощь к другим товарищам, и на рассвете дня в целом стане Маметкуловом не осталось ни одного татарина с оружием в руках.

С честью предав земле тела шести убитых товарищей, а для раненых сделав носилки, Гроза тотчас же предпринял обратный путь со знаменитым своим пленником.

Ермак крайне был обрадован успехом сего

предприятия, с торжеством встретил победителей, честил и ласкал Маметкула, видя в нем важный залог в случае перемены счастья в войне или при мире с Кучумом. Узнав вскоре потом через лазутчиков, что изгнанный царь сей, пораженный несчастьем Маметкула и изменой любимого своего вельможи Карачи, скитается в степях ишимских, он предпринял покорение стран, лежащих на север.

Долго колебался Ермак Тимофеевич в избрании начальника для охранения Искера во время своего отсутствия. Грозу весьма хотелось ему взять с собою, а Мещеряку, несмотря на особенную его к себе близость, какое-то непонятное чувство не допускало сделать столь великого доверия. Наконец благоразумие победило пристрастие, и Гроза был оставлен с небольшою дружиною для охранения столицы и знатного пленника. Должно думать, что Мещеряк имел тайные виды на сие поручение, ибо он не мог скрыть своей досады, когда узнал о предпочтении Грозы, и повторил в душе клятву отомстить за сие новое разрушение его честолюбивых намерений.

Весть о пленении Маметкула разрушила

последнюю надежду татар: они до самого устья Аримдзянки встречали с подобострастием своих победителей. Здесь только большая толпа осмелилась оказать сопротивление, засев в крепкий острог. Казаки взяли оный приступом и, повесив или расстреляв старшин, навели новый ужас на прочие улусы. Нынешние волости Наццинская, Харбинская, Туртасская поспешили присягнуть на подданство России и несли без принуждения дань, которой обложил их Ермак. Далее начались юрты остяков и кондийских вогуличей. Могущественный князь их, Демьян, надеясь на неприступное положение своей крепости, возвышавшейся на каменном утесе Иртыша, и на две тысячи своих воинов, а более всего на своего идола, при обладании коим остяки считали себя неодолимыми, отвергнул все мирные предложения казаков. Ермак Тимофеевич вынужденным нашелся приступить к силе, но, жалея товарищей, надеялся стрельбою из пушек привести их к послушанию. Два дня казаки громили Демьянов городок, разрушили передовую стену, побили много у них людей, но Демьян не покорялся.

Уркунду, усматривая гибель земляков своих от дальнейшего их упрямства, решился спасти их похищением идола. Он был впущен без затруднения и даже с радостью в крепость, но при всем старании долго не мог выполнить своего намерения, потому что драгоценный идол дено и ночью окружен был большой толпой остяков. Они пили воду из чаши, в которую он был опущен, укрепляясь тем в мужестве и терпении, и курили беспрерывно перед ним серу и масло, а кудесники по оным предсказывали будущую судьбу каждого. По мере усугубления опасности усугублялись жертвы и моления остяков к их золотому божеству, которое, по преданию старшин, перешло к ним из Киева во время Владимирова крещения. Все ждали от него чуда и — дождались. В полночь, когда от метких выстрелов казацких сорвало крышу с храма, где сохранялся кумир, и все в страхе сбежались и пали пред ним на колени, вдруг из жертвенных чаш раздался ужасный треск и гром, засверкала молния, заколебалась земля, и черный дым наполнил воздух. Когда до смерти испуганные остяки несколько опом-

нились и оглянулись, то, к величайшему ужасу своему, усмотрели, что кумира их не было на своем месте – он исчез внезапно. Панический страх овладел самим Демьяном; забрав семейства свои, остяки обратились в бегство, признавая в том волю своего божества. Отбежав довольно далеко, они остановились для отдыха, тогда главный из жрецов уверял князя Демьяна, что он видел своими глазами, как идол сел верхом на луч молнии и, облокотясь на черное облако, поднялся на небо. А попросту чудо сие произошло не от чего иного, как от нескольких горстей зелья, подсыпанного в курильницы проворным Уркунду, который и похитил драгоценного идола в минуты всеобщего смятения и ужаса. Он немедленно дал знать казакам об оставлении жителями городка, который они тотчас и заняли.

Однако Ермак Тимофеевич недолго оставался здесь, он поплыл далее по Иртышу. В Цынгальской волости, где величественная река сия, стесняемая горами, имеет узкое и быстрое течение, собралось великое множество вооруженных людей: один выстрел в них проложил беспрепятственный путь каза-

кам к Нарымскому городку. Здесь нашли они одних жен с детьми, ожидавших неминуемой смерти. Ермак, успокоив их и обласкав, отпустил беспрепятственно к своим отцам и мужьям, которые, быв побеждены сим неизвестным между варварами великодушием более, чем самим страхом, не замедлили явиться к нему с данью.

Покорив волость Тарханскую, казаки вступили в улусы знатнейшего остяцкого князя Самара, который, соединясь с восемью князьями, ждал казаков решить судьбу всей древней Югорской земли. Уведомясь о великом их ополчении, Ермак не решился действовать открытой силой, а разослал лазутчиков наблюдать за действиями неприятеля. Лишь только известили они об его беспечности, как, взяв с собою всех молодцов, Ермак напал при рассвете на неприятельский стан, погруженный в глубокий сон. Надменный Самар первый пал от руки казацкого вождя, войско недолго противилось и предалось бегству, а жители обязались платить ясак России.

Близ устья Иртыша на Белогорской воло-

сти казаки встретили еще сильное сопротивление от остяков, поклонявшихся *Великой богине*, которая сидела нагая на стуле вместе с сыном, принимая дары от жителей. Дело сие было бы весьма кровопролитно, если б благоразумная богиня не велела скоро остякам схронить себя от казаков и всем разбежаться.

Завоевав на Оби главный остякский город Назым и многие другие крепости по берегам сей славной реки, пленив их князя и горестно оплакав потерю храброго сподвижника, атамана Никиту Пана, убитого на приступе вместе с некоторыми из лучших казаков, Ермак не хотел идти далее. Хладные пустыни, состоящие из топких болот и зыбучих тундр, не оживленные и знойными лучами летнего солнца, пустыни, представляющие образ ужасного кладбища природы, охладили жар к завоеванию в сих безжизненных странах наших героев. Поставив князя остякского Алача главою над обскими юртами, Ермак тем же путем благополучно возвратился в сибирскую столицу, честимый своими данниками, как победитель и владыка. Везде с изъявлениями раболепства встречали и провожали

его, как мужа грозы и доблести сверхъестественной. Для большего впечатления на воображение и глаза покоренных народов казаки плыли с воинской музыкой и выходили на берег всегда в богатейших праздничных своих кафтанах.

Найдя в Искере все тихо, спокойно, неутомимый Ермак пустился рекой Тавдой в землю вогуличей, дабы к господству России, владевшей уже от пределов Березовских до берегов Тобола, приобщить страну Кондийскую, дотоле малоизвестную, хотя давно именуемую в титуле московских самодержавцев.

Недалеко от устья Тавды господствовали два сильных князя татарских, Лабутан и Печенег. Они собрали многочисленные толпы для защиты своих владений, дрались отчаянно, но не могли долго противиться храбрости и искусству наших витязей. Следствием сей кровопролитной победы было мирное подданство вогуличей Кошуцкой и Тарабинской волостей, которые беспрекословно дали обложенный на них ясак. Мирные дикари сии составляли род республики, не имея ни князей, ни властителей, а прибегая единственно для

разбирательства ссор и тяжб к волхвам своим.

Умножив, таким образом, данников даже в древней земле Югорской, Ермак от непроходимых болот и лесов пелымских с торжеством возвратился в Искер – принять за славные труды отличную награду.

Здесь ожидал его Кольцо с государевым жалованьем. Казаки немедленно собраны были на Майдан для получения оногo и выслушивания царской грамоты. Громогласные, единодушные восклицания их заглушали неоднократно чтение. В особенности казаки приведены были в неописанный восторг, когда услышали, что признательный царь наименовал их вождя князем сибирским и оставлял в его распоряжении и начальствовании завоеванное им царство. День сей был, конечно, самым торжественнейшим и приятнейшим для наших героев. Они испили всю сладость признательности царя к службе честной и полезной, они забыли великие труды свои и жертвы, ожили новой жизнью, новым рвением к важнейшим предприятиям. Вот чувства, вот действие, которое произво-

дит всегда справедливость монарха!

Радость и веселье в Искере увеличилось несравненно с прибытием туда вскоре пяти-сот стрельцов под начальством воеводы, князя Семена Дмитриевича Болховского, и головы Ивана Глухова. Казаки дарили дорогих гостей своих соболями и угощали со всею возможною роскошью. Они мечтали, что ничто на свете не могло более изменить их счастья и могущества, но Провидение, испытывавшее мужество и постоянство их в минуты бедствий, хотело, казалось, поколебать твердость героев, когда они были наверху благоденствия и славы!

Глава четвертая

Начало бедствий. – Болезни. – Голод. – Смерть воеводы Болховского. – Зло пре-
кращается с весною. – Отправление Грозы
в Москву за новым пособием. – Новое ко-
варство Мещеряка. – Посольство от Кара-
чи. – Приход каравана. – Гибель Кольца. –
Отчаянное положение крепости. – Вос-
стание всех покоренных народов. – Удач-
ное предприятие. – Новые преступные за-
мыслы Мещеряка.

Конечно, одно упование на Господа, одна вера могла поддержать Ермака, чтобы не упасть духом, чтобы общее уныние не коснулось его сердца: столько горестей, зол, бедствий постигло его в продолжение наступившей вскоре по прибытии стрельцов бурной, ненастной зимы. Болезни, голод, негодование, ропот, наконец смерть самого князя Болховского и большей половины его людей совокупились, казалось, вместе, чтобы привести в отчаяние или, по крайней мере, истер-

зять его боязнию утратить плод своих трудов, обмануть надежду царя и России.

Благотворное влияние весны прекратило сии бедствия, восстановив внутренние силы больных и дав возможность Ермаку получить съестные припасы в изобилии. Но он с ужасом видел слабость свою и невозможность обойтись без сильнейшего вспоможения царя, необходимого не только для дальнейших завоеваний, но и для удержания всего завоеванного. С сей просьбой князь сибирский решился отправить в Москву атамана Грозу, надеясь на его ум, скромность и усердие к общему делу. Он велел его позвать к себе.

– Владимир! – сказал Ермак Тимофеевич. – Я хочу отправить тебя в Москву.

– Воля твоя, князь, – отвечал Гроза, – для меня священна, я на все готов; куда пошлешь, я все выполню, как сумею. Позволь только доложить тебе, что, кажется, теперь не время ослаблять себя ни одним казаком, особенно когда у тебя на руках еще Маметкул.

– Я и его хочу послать с тобою к царю Иоанну Васильевичу. Такой подарок, без сомнения, лучше всех соболей понравится при

дворе московском.

– Это правда, Ермак Тимофеевич, но я одного боюсь, что ты вынужденным найдешься отделить для сего еще более провожатых.

– Будь покоен, любезный Владимир, у меня еще останется достаточно силы, чтобы держать в повиновении дикарей. До присылки новой рати я не тронусь из Искера, а пуцу друга Мещеряка кататься по Иртышу да собирать ясак и припасы.

– Не нам учить тебя, – сказал Гроза с чувством, – но как отца родного прошу тебя из милости – не очень доверяться атаману Мещеряку...

– Владимир! – прервал его князь сибирский. – Ты знаешь лучше всякого, что я не люблю ни обвинять, ни подозревать кого-либо понапрасну; а если ты можешь показать что ни есть важного на Мещеряка, то для чего не объявляешь на Майдане, я не дам пощады...

– Коли бы сердце могло говорить, – произнес Гроза со слезами, – то оно высказало бы тебе всю тоску и страх, когда вижу тебя с Мещеряком вместе... Вспомни, отец мой, пред-

сказания шамана.

– Ты слишком суеверен и труслив из любви ко мне, – заметил Ермак Тимофеевич с усмешкою. – Пророчество Уркунду не касалось Мещеряка.

– Не в донос хочу сказать тебе, Ермак Тимофеевич, что Иван Иванович готовится остеречь тебя насчет частых переговоров Мещеряка с нашим пленником. Ведаю, что ты не охоч подслушивать, но если б тебе угодно было сего дня вечерком спрятаться в хате Маметкула, то, может быть, открыл бы всю истину.

– Почему же вы это думаете? – спросил Ермак с беспокойством и громче обыкновенного.

– Кажется, атаман Кольцо, давно за ним присматривая, вчера подслушал, как они стоваривались...

Послышавшийся в прилежавшей светлице необыкновенный стук заставил разговаривающих обратиться туда, но они не нашли там никого и положили, что он произошел от упавшей близ дверей фузеи.

Князь сибирский, желая прекратить нена-

висть, существовавшую между лучшими друзьями своими, решился воспользоваться предложенным способом, хотя весьма для него неприятным, быв уверен в ошибке Грозы и Кольца.

Кольцо осторожно впустил его с Грозою в смежную хату с Маметкуловою, откуда могли они слышать каждое слово, не быв никем примеченными.

Вот поздним вечером точно с большой скрытностью вошел Мещеряк.

– Какие вести? – спросил его таинственно Маметкул.

– Самые добрые, и будь уверен, что князь наш будет уметь возблагодарить тебя, – отвечал Мещеряк.

– Не думаю, однако, чтобы Карачи был так упрям и зол на вас, – сказал Маметкул с видом откровенности. – Насилу мог уломать его и вдолбить ему в башку выгоды в союзе с вами, в дружбе Ермака. Вождь наш, избавясь от такого сильного врага, каков мурза, может растворить все врата в Искер, а Карачи поможет от ногаев.

– Вестимо, – заметил Мещеряк, как будто

платясь чистосердечием, – давече *подводчик* его проговорился, что им приходит зудко на Таре от этих разбойников. Кабы князь наш дал мне человек тридцать поудалее, я бы унял целую орду: не посмели бы вперед ногайцы мешать караванам ходить к нам...

– Да когда пришет Карачи послов к вашему князю?

– Дня через два, как подойдет поближе бухарский караван, за которым ушел он со всей своей силой, чтобы проводить к нам. Скажу правду, царевич, я боялся, что нам не дадут кончить дела. Храбрые атаманы наши Кольцо и Гроза такие подозрительные, что если б они проведали про пересылки наши с Карачи, то бог знает чтобы взвели... и предательство и измену... А вряд ли мурза открытым образом поверил бы твоей искренности и советам. Пожалуй, и обманул бы...

– Кажется, достаточно, – шепнул Ермак Тимофеевич, пожав значительно руку Грозе, и вышел вон с такой же осторожностью, с какою вошел.

Назавтра князь сибирский объявил на кругу, что отправляет в Москву атамана Грозу с

пленным царевичем, а Маметкула уверил всенародно в царской милости и безопасности.

– Знаешь ли, – сказал Кольцо, подумав несколько, когда Гроза рассказывал ему с удивлением о разговоре Маметкула с Мещеряком, ими подслушанном, – знаешь ли, мне приходит в голову, что они стоворились между собою обмануть нас. Ты говоришь, что в передней избе у Ермака, когда он призывал тебя к себе, застучала упавшая с гвоздя фузeya, а я заверяю тебя, что ее нарочно сбросил Мещеряк, чтобы скрыть свой уход. Он вас подслушал. Как теперь вижу его бежавшим в эту пору... Поди теперь переуверь Ермака Тимофеевича...

– Коли морочат нас, – заметил Гроза, – то правда окажется скоро на деле. Право, хотелось бы дожидаться послов Карачиных и каравана бухарского, – прибавил он с насмешкою.

И Гроза их дождался: не прошло двух дней, как прибыли гонцы от богатого бухарского каравана с извещением, что он приближается к Искеру на двухстах верблюдах. Вслед за ним явился и сам Карачи с богатыми дарами

и предложением союза с князем сибирским. То и другое принято было в столице сибирской с большим удовольствием и разлило давно забытое веселье. Немедленно отправлен был Кольцо с двадцатью казаками и столькими же стрельцами на встречу киргизских купцов с обнадеживанием в безопасности и покровительстве. Ермак Тимофеевич надеялся возобновить торговлю с самыми отдаленными азиатскими странами, издревле славными богатством и купечеством, путем, давно проложенным в Сибирь во времена Чингисхана, и получать в обмен на мягкую рухлядь плоды восточного ремесла, нужные или приятные для воинов, которые не берегли жизни, но любили наслаждаться ею. Атаману Мещеряку поручено было войти в переговоры с Карачи и убедить его отдаться безусловно в подданство московского царя, коего и Кучум был данником.

События сии нисколько не воспрепятствовали отправлению атамана Грозы с Маметкулом в Москву. Напротив, Ермак Тимофеевич поспешал собрать их поскорее, дабы они оставили Искер с приятными впечатлениями и

могли смело засвидетельствовать их перед царем, как самовидцы. Могли сказать, что видели базар сибирской столицы наполненным сокровищами Востока; что сильнейшие владельцы сибирские ищут подданства царя московского. Но, увы! несмотря на призрак обратившегося счастья к победителям Сибири, несмотря на картину довольствия и даже роскоши, которая представлялась глазам Владимира, какое-то ужасное предчувствие тяготило его душу, какой-то внутренний голос говорил ему, что друзья его, Ермак и Кольцо, первые будут жертвой сего мнимого благополучия. Грусть разлуки с ними равнялась радостным мечтам о свидании с милою сердца, с милыми родными и милой родиной. Ему мечталось иногда, будто присутствие его в Искрере необходимо для спасения его друзей, и он решался неоднократно просить об увольнении себя от посольства в Москву. Но может ли смертный изменить предопределения рока? По крайней мере, прощаясь с Ермаком, Гроза дерзнул еще раз заклинять его не верить Мещеряку, а, обнимая Кольцо в последний раз, повторил тот же завет, как будто

движимый невольным побуждением.

К несчастью, предсказания Грозы скоро оправдались. Еще он был недалеко, как Ермак оплакивал первого своего друга, первого героя: Кольцо пал жертвой гнусной измены Карачи и хитрого коварства Мещеряка. Карачи, вкравшись в доверенность князя сибирского, убедил его послать сорок казаков для охранения от ногаев отошедшего каравана. В первый раз Ермак вспомнил завет Грозы и вместо Мещеряка, просимого мурзою настоятельно в начальники сего отряда, отправил с казаками Кольцо; отправил, чтобы пасть ему с храбрыми, но легковерными товарищами под ножом коварного друга!

В беспечности ждали в Искере возвращения атамана Кольцо из нового похода с честью и добычей, один только Мещеряк оказывал беспокойство и ожидал, казалось, чего-то противного. Он несколько раз ходил с фузеей за Панин бугор, будто для охоты, высылал туда и Самуся. Уже смерклось, а Мещеряк еще не возвращался в город.

– Подождем немножко, – говорил он Самусю, сидя под густым деревом. – Прежде зари

должен непременно пригнать гонец от Карачи. Приложи-ка ухо к земле.

Самусь и без приказания давно уже лежал ухом у толстого корня и прислушивался.

– Нет, не чую ни одного копыта, – сказал он с нетерпением, – возится только невдалеке лесной дедушка. Сойдем, говорю тебе, на долину, там слышнее.

Но Мещеряк не отвечал, сам прилег к земле и с восхищением воскликнул:

– Я тебя счастливее; послушай-ка, какая топотня, словно музыка. – Не успел он выговорить слова сии, как вдали показались три всадника, несущиеся вихрем к Панину бугру.

– Гайда! – вскричал татарин, поравнявшись с казаками, и, соскочив с лошади, поспешил поведать Мещеряку радость свою о гибели Кольца, рассказал, как Карачи залучил казаков в свой татарский улус, как угостил дорогих гостей всем, что ни имел лучшего, как ласкал их и приветствовал, как уложил их в мягких коврах и войлоках, – и перерезал, словно баранов, всех до единого без малейшего сопротивления во время сна крепкого. – Тебе, – продолжал он, – велел сказать

мурза, чтобы ты с Самусем и Чабаном убирались отсюда поскорее вон, да подальше: за послуги ваши жалуется он вас животом, а мы и без вас обойдемся, завтра же ни единой душе в Искере не дадим пощады.

– Больше ничего не велел сказать мурза? – спросил Мещеряк гонца с приметным негодованием.

– Ничего, кажись; правда, он говорил, что дозволит вам захватить с собою казны и пушного из казацкой казны; да вы, чай, и без него догадаетесь.

– Спасибо за милости, – проворчал сквозь зубы Мещеряк и кинул на вестника такой нежный взгляд, что всякий бы понял, что он его поблагодарил бы по-свойски, если бы считал себя сильнее. – А остяки и вогулы с нами ли? – продолжал Мещеряк, желая выведать побольше от татарина.

– Вестимо, – отвечал сей последний. – Их ведет с полуночи князь Демьян, а мы с татарами, да ногами обступим крепость с полудня. Прощай, – сказал он, садясь на коня, – я свое дело отправил, пеняй на себя, коли не слушаешь или замешкаешься.

Мещеряк долго не знал, что ему предпринять, – увидя себя обманутым злодеем, себе подобным, увидя все преступные замыслы свои разрушенными в одну минуту, он пылал мщением.

– Ну, товарищ, собирайся-ка на тихий Дон, – сказал он Самусю с адской усмешкой, – да нагребни в шаровары-то побольше казны Ермаковой, Карачи не взыщешь.

– Вера неймет, атаман, – сказал Самусь, – давно ль я своими ушами слышал, как проклятый Карачи клялся своим проклятым пророком поставить тебя вместо Ермака, коли пособишь уходить Кольца и выслать Грозу из Искера.

– И исполняет по-татарски, – заметил Мещеряк, скрежеща зубами...

– Левую руку дал бы по локоть отрубить, чтобы правой воткнуть нож в горло этого басурманина...

– Молись Богу, – прервал Мещеряк в каком-то неистовом исступлении, – поправимся, поплатимся... Не ругаться же этому нехристю над казаками православными... Ошибется, думая, что они пропали без Кольца и Гро-

зы. В Искере останется еще Мещеряк.

Скорыми шагами вернулся он в крепость и известил Ермака Тимофеевича как о гибели атамана Кольца, так и о предстоящей опасности столице, уверяя, что он подслушал эти ужасные вещи от двух татар, переправлявшихся через Иртыш.

Ермак не хотел верить столь гнусной измене, но опытность научила его не пренебрегать никакими слухами. Он немедленно отдал приказ запереть все выходы в крепость и зарядить пушки и фузеи, удвоил часовых и был в готовности отразить сильное неприятельское нападение.

В крепости водворилась такая тишина, что малейшее движение, легчайший шорох были слышны на дальнее расстояние вокруг. Перед рассветом пронесся по Иртышу гул, подобный предтечи бурана.

– Вот и незваные гости к нам жалуют, – сказал Ермак Тимофеевич, указывая на шум, и приказал прекратить самые оклики сторожевых, дабы более убедить неприятеля в беспечности крепостных жителей. С крайней осторожностью зажгли фитили и, держа их

над заправками, подпускали ближе и ближе татар, которых несметные толпы расстились по покатости, подобно морским волнам, между тем как остяки и вогулы в виде черного тумана подымались со дна пропасти от речки Сибирки. В мгновение, когда те и другие хотели гаркнуть, чтобы взлететь на валы крепости, грянул гром, заколебалась земля под ногами их, и целые ряды между ними исчезли. Осажденные готовы были повторить гибельный удар, но более не было надобности – неприятель отхлынул с ревом и стенами, подобно морскому приливу, оттолкнутому далеко в океан гранитными берегами Нового света.

С рассветом дня усмотрели черную дугу, облагавшую крепость с одного берега Иртыша до другого. По мере прояснения предметов открылось, что неприятель расположился необозримыми обозами вокруг Искера в намерении взять крепость голодом. Ермак с ужасом увидел всю опасность. Конечно, он мог бы делать вылазки, но жалел своих людей малочисленных, малые пушки его не доставали до обоза. Все сношения прекратились

как с окрестными юртами, так и с самыми отдаленнейшими, которые в одно время свергли с себя минутное иго и вооружились против своих победителей. Атаман Яков Михайлов сделался жертвой сего восстания, быв захвачен остяками в разъезде. Царство и подданные вдруг исчезли: несколько сажень земли остались единственным владением в Сибири завоевателей Сибири.

Ермак, изобретая способы выйти из сего опасного положения, находил одно только средство возможным: это сделать отчаянный удар на стан Карачи и, поразив его, привести в панический страх варваров; но главное затруднение состояло в том, что никто из казаков не знал его ставки.

Трудно представить радость, которую принесло в стенах печального Искера неожиданное появление шамана Уркунду. Казалось, в образе его слетел с неба ангел-утешитель; не было казака, даже Мещеряк со своими наперсниками, казалось, был ему рад; все толпились вокруг него, все спрашивали, каким чудом он упал с неба, ибо неприятель никого доселе не допускал к ним, и Уркунду принуж-

денным нашелся почти каждому повторять, что его отправил с дороги атаман Гроза.

Действительно, Гроза прислал Уркунду к друзьям своим вместо ангела-хранителя, зная его сметливость и неусыпность. В день гибели Кольца ему стало так грустно, что он сам бы вернулся к ним, если б не имел на руках своих Маметкула. Уже в приближенных юртах узнал шаман об измене Карачи и о всеобщем восстании против казаков. По известной сметливости своей он выпросил все подробности, касающиеся до неприятельского положения, а потому, к неопишуемой радости Ермака, взялся проводить казаков в стан Карачи, который расположен был близ Сауксанского мыса, в пяти верстах от Искера.

Ермак остался блюсти столицу, а начальство над отчаянными удальцами поручил атаману Мещеряку, которое тем было надежнее, чем более пылал сей последний личным мщением к мурзе. Приобщившись накануне Святых Тайн, казаки ночью двенадцатого июня прокрались вслед за своим неутомимым вожаком к Сауксану по крутому берегу Иртыша, досель доступному одним воздуш-

ным ласточкам, и дружно напали на сонных татар. Казаки плавали в крови неверных, двое сыновей мурзы пали под ударами их, и сам Карачи едва спасся с малым числом людей, быв преследуем победителями до самого озера.

С первыми лучами солнца татары, увидя малочисленность казаков, ободрились и, соединясь с новыми силами, ударили на смельчаков со всех сторон. Но казаки успели уже засесть в обоз и встретили их сильной ружейной стрельбой.

В это самое время прибегает к крепостным воротам человек, обезображенный кровью и пылью и едва имевший от усталости силы проговорить Ермаку Тимофеевичу, вышедшему к нему навстречу: *«Покажись скорее на Панином бугре»*. Сказав слова сии, он упал без чувств, и кровь хлынула из него носом и горлом. То был Уркунду, поспешавший, несмотря на паливший жар, принести в Искер спасительную весть сию. Ермак, постигнув важность сей послуги, постиг, что и потеря одной минуты могла быть невозвратима навек, и, оставив в крепости одних часовых, с прочими

бросился на показанное шаманом место. И действительно, появление его на высоте сей и несколько выстрелов, сделанных для ободрения осажденных в обозе товарищей, навели такой страх на неприятеля, что Карачи, в ужасе сняв немедленно осаду, бежал за Ингам, а окрестные юрты и улусы снова поддались россиянам. В полдень победители с торжеством возвратились в освобожденную свою столицу, имея снова и данников, и обширные владения.

Первой заботой вождя было навеститься о шамане Уркунду, дабы поблагодарить его за новую службу, но его не могли нигде найти.

Шумно праздновали казаки день, столь счастливо конченный. Песни, звуки рожка и балалайки, радостный говор раздавались на Майдане до поздней поры. Прекрасный летний вечер и светлая ночь располагали еще более к веселью. Один только Мещеряк, забившись в темный угол с Самусем, казались равнодушными и к прелестям природы, и к соучастию во всеобщем торжестве.

Не подумайте, однако, чтоб они скучнее своих товарищей проводили свое время. К

несчастьем, и злодеи имеют свои наслаждения: они веселятся исчислением своих преступлений, как скупец пересматриванием сокровищ своих, забывая, что они омыты слезами и кровью притесненных ими бедняков.

– Ха, ха, ха! Не могу вспомнить без смеха, – говорил Самусь, – когда бухнул в воду этот проклятый колдун. Пойдет, как ключ, ко дну, подумал я, – ан нет: два раза сплывал наверх, как обхмуренный судак, и уж я пришиб его прикладом да привязал камень на шею.

– Да не подсмотрел ли тебя кто-нибудь? – спросил его Мещеряк с беспокойством. – Пожалуй, с Ермаком не разделаешься и за эту некрещеную собаку.

– Кому подсмотреть? Я один ходил на сторожке даве по валу, как вы побежали с Ермаком; глядь, ан шаман лежит на берегу, я окликнул, он не дал голосу. Вот я сошел к нему и учал его поворачивать с боку на бок, а он не пошевелинется. Дай-ка вымою приятеля – ха, ха, ха! подумал я, больно черен, и толкнул в Иртыш.

– Знаешь ли, Самусь, что ты очень кстати позабавился над этою чучелою. Этого колдуна

я боялся пуще всех: его одного не провел бы, как поддел Ермака с обеими его хитрыми головами – Кольцом и Грозою. Вздумали подслушивать нас с Маметкулом, да сами чуть не попались в яму – ха, ха, ха! – коли бы не изменил Карачи.

– Будь доволен, что и одного покамест сбыл с рук.

– Кабы ты видел, Самусь, кислую рожу Ермака, когда Карачи учал советовать ему послать меня с караваном. Постой, подумал он, я поддену вас – и сделал то, из чего мы бились послал Кольцо на нож. Но этого еще мало...

– Уж не затеваешь ли ты еще чего ни есть добренького, Матвей Федорыч? – спросил Самусь с коварной улыбкой.

– Да, брат, эта последняя попытка. Коли не удастся, брошу все... Хочу поторговаться с Кучумом...

– Смотри, атаман, не дай промаха. Этот басурманин проведет поглаже самого Карачи; да и корысти-то нет на него трудиться.

– Как нет?

– Да ведь он не поступится Искером, хоть ты пятерых Ермаков для него спустишь с рук.

– Увидим, – сказал вполголоса Мещеряк, как бы не желая поведать и лучшему своему другу тайных, преступных своих намерений.

Глава пятая

Смерть шамана. – Хладнокровный злодей. – Новые завоевания казаков. – Новые обманы. – Поиск за караваном. – Обратный путь. – Остановка у Перекопи. – Худые предзнаменования. – Ужасные предания. – Предательство. – Смерть Ермака Тимофеевича.

Мещеряк, казалось, обманулся в своих расчетах, полагая, что он сделается для Ермака необходимее по смерти Кольца и удалении Грозы. К удивлению и крайней досаде, он заметил, что вождь стал как будто его уклоняться, стал чаще искать уединения, более беседовать с природою. Любимой прогулкой Ермака был Чувашский мыс, где он просиживал по несколько часов, наслаждаясь борением стихий и фантастическими изображениями гор, зданий, морей с кораблями и тому подоб-

ными явлениями оптики, игривыми, обманчивыми, как воображение поэта, которыми рисуется осенью в Сибири небосклон от преломления солнечных лучей в разных туманах и облаках. Уже утренняя заря подернула пурпуром горизонт, резкие звуки рожков и песен редели и изнывали в Искере, а он все сидел на крутизне утеса и смотрел, как яркие воды Иртыша, ударяясь о гранитные берега, грозили разрушением сей веками скованной твердыне. Зрелище сие невольно порождало мысли о тленности и разрушении всего подлунного. Но вскоре неисповедимость и таинственность предопределения человека заняла всю его душу. К чему, думал он, все труды наши, жертвования, усилия, когда не уверены мы в едином часе своего существования, когда со всем могуществом, при всем умствовании человек не властен приподнять уголка завесы, скрывающей удел его, не может отклонить даже руку гнусной измены... «Да! измены! – повторил он мысленно. – Ужели предвещения шамана неизменны, ужели нельзя избежать их ничем?»

Седая волна с необыкновенной силой раз-

билась о подножие утеса, и немой грохот, раздавшийся от сего удара, повторил в ушах мечтателя ужасное *ничем*. В то же самое время волна, падая, обнажила человеческую голову и в мгновение скрылась с ней в пучину. Ермак неподвержен был суеверию, но невольно содрогнулся. Не действие ли это, подумал он, разгоряченного воображения? Но волна, поднявшаяся еще выше, открыла опять страшное привидение и опять исчезла с ним вместе; роковое *ничем* повторилось еще явственнее в ушах Ермака. Он усугублял свое внимание и при свете первого солнечного луча, вырвавшегося из-за противоположной горы, узнал черты своего оракула... Ермак отвратил лицо от сего зрелища, и глазам его представился Мещеряк, давно его отыскивавший. При всем присутствии духа это невероятное стечение случая привело в невольный трепет и неустрашимого вождя завоевателей Сибири. Неизвестно, что бы он предпринял, если б слышавшиеся песни рыболовов, беспечно плывших по Иртышу, не изменили его мыслей и намерений. Ермак Тимофеевич подкликал их к себе и велел закинуть сети на том

месте, где показалось ему видение. Ожидания его исполнились: рыбаки вытащили мертвое тело Уркунду с привешанным на шею камнем. Ермак тут же приказал предать его земле и, несмотря на мнимую суровость свою и холодность, выронил горячую слезу на могилу доброго, честного шамана. Ни малейшим изменением в лице не обнаружил Мещеряк тайны своего друга и с хладнокровием злодея рассуждал с Ермаком о злодее, который посягнул на жизнь столь добродетельного, полезного человека!

Ермак, чувствуя слабость в людях, желал на сей раз обойтись без преследования неприятеля, но сведения, полученные им о старании Карачи восстановить многих сильных владельцев, господствовавших вверху Иртыша, вынудили его, поруча Искер Мещеряку, идти на восток с тремястами воинов – на страх варваров и для своей будущей безопасности. Милуя покорных и карая противных, он проник до реки Ишима, где начинаются голые степи, не представлявшие, подобно топким пустыням обским и непроходимым лесам пелымским, ни славы, ни корысти по-

бедителям. Обложив данью князей Бегиша и Еличая и могущественного старшину Сарчадской волости – наследственного судию всех татарских улусов, взяв еще город Татишкент, Ермак возвратился в Искер с новыми трофеями и без большой потери. Он лишился только пятерых казаков в жаркой схватке близ устья Ишима со свирепыми турашинцами, которые доселе воспевают в унылой своей песне сей кровавый бой! *Яным, яным бим казак, то есть воины, воины, пять казаков.*

Самусь, который участвовал по влиянию Мещеряка в сем последнем походе, спешил поведать своему патрону подробности оного. Они долго разговаривали шепотом между собою, но когда несколько ковшиков сиримбалу прибавило им смелости, то слова их сделались слышнее.

– Полно, не рехнулся ли с ума наш дядя, – продолжал, улыбаясь, Самусь, – или не вздумал ли из казаков надеть схимников? Пусть себе бы он ханжил... Кабы ты, Матвей Федорыч, увидел княжну, что привозил к нему тебенский князь, у тебя бы разгорелись губки...

– Что ты говоришь? – спросил с любопытством Мещеряк.

– А то, что такой красавицы слыхом не слыхано, видом не видано. Глазки, словно сквозные щелки, носик, как пуговка, утонул в подушечках, в красненьких щечках, а разругана не хуже твоего месяца...

– Ай да балясник, а все не сказал, что вы сделали с прекрасной княжной?

– Вестимо что: чернец наш расцеловал батьку, на дочку и не смотрел и отпустил домой. Да и нам под петлю заказал глазком взглянуть, не только...

– Уж я бы не послушался...

– Посмотрел бы, право, – сказал Самусь, улыбаясь, – на удалство твое...

– Мне пришло в мысль, – прервал его Мещеряк, – коли Бог потерпит грехи мои, то, пожалуй, я женюсь на твоей красавице.

– Чур меня взять в дружки...

– Шутки в сторону, – отвечал атаман Матвей, – а я бы на месте Ермака не упустил сего случая породниться с сибиряками...

– Авось и увидим твои хитрости и правду.

– Правда начнется тем, что Самусь будет

первым атаманом и другом воеводы сибирского.

– Спасибо, а воля твоя, Матвей Федорыч. Мне вера нейдет, чтобы Кучум сдержал слово... Выдумка твоя куда как хитра...

– Смотри не забудь только взлезть на дерево и прибежать сюда поскорее.

Назавтра прискакал киргизец от бухарского каравана с известием, что Кучум грозит разбить его, если дерзнет он следовать в Искер. Ермак Тимофеевич приказал тотчас Мецерьяку, выбрав пятьдесят молодцов, идти с вожаком на встречу дорогих гостей. Коварный Мецерьяк показал особенную готовность и усердие в исполнении повеления вождя, несмотря, что оно, по-видимому, разрушало все его замыслы. Через час он готов был уже отправиться в поход, как прискакал другой гонец от каравана с уведомлением, что Кучум собрал большие силы в степи вагайской. Судьбе угодно было, казалось, отнять на сию минуту и малейшую прозорливость у мудрого и осторожного вождя завоевателей Сибири и вдохнуть в него неприличную пылкость юноши. Ермак Тимофеевич переменяет свое

распоряжение и решается сам идти для отыскания дерзкого изгнанника и нанесения ему последнего удара. Он берет триста казаков, а охранение столицы по-прежнему вверяет Мещеряку.

Три дня блуждали казаки без остановки и отдыха по степям и горам, отыскивая караван и Кучума; но ни того ни другого не нашли ни малейших следов. Проводники утверждали, что, без сомнения, купцы удалились далее в степь. Ермак колебался, идти ли ему за ними, как нечаянный случай открыл истину. Когда расположились казаки на ночлег, вождь их, по обыкновению, удалился искать уединения. Подходя к глубокому оврагу, слышит он звуки оружия и крики отчаяния. Ермак ускоряет шаги свои, и если б замешкался минутою, то было бы уже поздно для спасения храброго есаула Брызги, который отбивался от двух татар, нападавших на него с большим ожесточением. Бедный казак исходил кровью и, едва выговорив: «Ермак Тимофеевич, ты обманут, берегись Ме...» – упал без чувств. Вождь, перевязывая наскоро самые опасные раны, поспешил в лагерь, чтобы прислать ему нужную

помощь. Но, к несчастью, она была уже не действительна: Брызга скоро испустил последний дух, и из отрывистых слов его едва могли понять, что он, подозревая изменников, стал их преследовать, дабы открыть предательство. К несчастью, злодеи усмотрели его убежище и кинулись все трое убить его...

При всем старании Ермак Тимофеевич никак не мог узнать, кто был третьим товарищем киргизских вожаков, скрывшихся с тех самых пор и обнаруживших тем ясно свою измену. Сметливый Самусь, нанеший первые смертные удары Брызге, поспешил вернуться в лагерь, дабы не подать на себя подозрения в случае, если откроется убийство. Ермак вспомнил последнее слово, замершее в устах храброго казака, и невольный трепет пробежал по всем его жилам. Он не страшился смерти, идя всегда в боях первый ей навстречу, но умереть изменою, погибнуть смертью бесславной приводило его в ужас, и он положил по возвращении в Искер быть поосторожнее с Мещеряком, наблюдать за всеми его поступками. «Если б он искал моей смерти, – рассуждал герой сибирский, – то он

имел столько случаев погубить меня. Нет! В злобе Мещеряка кроются другие виды, другие побуждения: он хочет со мною вместе уничтожить все труды наши, разрушить плоды побед наших и истребить даже память об Ермаке. Увидим, успеет ли? Господь, ниспославший свои знамения для остережения меня, умудрит слабый ум мой избежать и сетей коварства и злобы».

Успокоенный сими размышлениями, Ермак Тимофеевич отдал приказание дружине выступить в обратный путь. Быстро понеслись витязи наши вниз по Иртышу на легких ладьях своих, презирая бурю, внезапно возникшую со всею жестокостью. К вечеру ненастье и дождь до такой степени усилились, что вождь нашелся вынужденным приказать остановиться; но при всех усилиях казаки долго не могли причалить к берегу. Сначала седой бурун отбивал и угонял на середину реки то ту, то другую лодку, потом обрывались несколько раз самые крепкие причалы или ломались деревья, к коим они привязывались. Неприятности тем не кончились: не менее труда и хлопот стоило развести огонь; на-

конец, когда полагали все препятствия уничтоженными и надеялись отдохнуть и успокоиться под непроницаемыми наметами, вдруг, ко всеобщему ужасу, сорвало с шестов атаманскую ставку налетевшим внезапно вихрем и разорвало ее на мелкие лохмотья.

– Воля твоя, Ермак Тимофеевич, – сказал Грицко Корж, – а быть беде великой, коли мы отсюда не уберемся.

– Ты говоришь, как будто впервые привелось нам бороться с невзгодами, – отвечал Ермак.

– Невзгоды – дело Божье, а здесь придется возиться с шайтанами, – проворчал Корж.

– Что тебе пришло в голову? – спросил вождь.

– А то, Ермак Тимофеевич, что мы пристали к заколдованному месту. Видишь ли ты этот овраг и знаешь ли, кем он выкопан?

– Скажи, пожалуйста, – отвечал атаман с улыбкою.

– Нам бы всей дружиной было на год работы, а Кощей одним перстом провел эту Перекопь.

Речь старого Коржа возбудила всеобщее

любопытство. Казаки, несмотря на усталость и непогоду, высыпали из своих шатров и стали просить его, чтобы он рассказал им про это чудо поподробнее.

– Извольте, братцы, я вас потешу, – сказал Корж, – только чур не пенять меня, коли от моей сказки пуще бани небесной во всю ночь будет вас бить лихоманка. Я далеко был отсюда, да волосы дыбом встали, как рассказывал, бывало, покойный Уркунду Шаманыч.

– Кажется, не время теперь, товарищ, до сказок и прибауток, – сказал Самусь, боясь, чтобы рассказы веселого Грицка Коржа не помешали в самом деле сну суеверных казаков. Но Корж должен был выполнить всеобщее желание.

– Недалеко отсюда торчит, словно казачья шапка, – продолжал он, – высокий курган [70], Косым-Тура называемый, то есть Девичьим городищем. Недаром ему дано это имечко: в нем зарыты заживо двести прекрасных царевен, с зарокотом от Кощея бессмертного выручить себя десятью буйными головушками за каждую. Проклятые! уже по девяти молодцев сгубили да поставили за себя, оста-

лось по одной головушке. Ночью выходят царевичи из алмазных хат своих и бродят до пещер, раздурянные и разбеленные, словно московские боярышники, в штофных сарафанах и жемчужных подвязках; приманивают вашу братию подлипаем, то песенками заунывными, так что ретивое и заходит, то плясками разговорными – ну, кто не вытерпит да протянет губы, с того и голова прочь [71]. Заколдовали, проклятые, и самый Иртыш: запоздай только молодец на лодке, так и прибьет к их берегу. Скоро перевели они у Кошеля всех могучих богатырей, вот он и перерыл перстом переволок [72] от одного заворота Иртыша до другого и впустил в него руку с заклятием, чтобы ведьмы за него не ходили в его царство, докуда не выпьют всей воды из Перекопи. Вот уж мало ее и осталось, а колдуньи не смеют носу показать за черту. Право, Ермак Тимофеевич, прикажи-ка перенести стан за Перекоп – не так будет страшно.

– Да нас не прибывало к берегу, напротив, мы насилу пристали к нему, – сказал Ермак с веселой улыбкой, – стало быть, нам нечего бояться, колдуньи не свернут нам голов.

Замечание сие, сказанное кстати и с насмешкой, немало успокоило суеверных казаков, кои начинали уже бояться быть вынужденными предаться сну, чувствуя большую к оному склонность после невероятных трудов, в течение дня ими понесенных. В большее успокоение дружины Ермак снял часовых и приказал всем до единого ложиться отдыхать.

Костер, несмотря на дождик, светло горел посреди лагеря, раздуваемый резким, холодным ветром. Благотворная теплота вместе с гулом сильно колебавшихся кедров и сосен разливала на казаков усыпление, похожее на очарование. Едва легли они в шатры свои, подняв полы оных против огня, как и заснули сном молодецким.

Один Самусь бодрствовал, он выжидал эту минуту с нетерпением тигра, готовящегося напасть на свою жертву. Долго прислушивался он к храпу товарищей, несколько раз обходил вокруг палаток, производил шум охапкою дров, которых нарочно набрал, чтобы кинуть в костер в случае, если кто его окликнет; подолгу останавливался перед теми, в коих

сомневался; наконец, уверившись в беспечности, или, лучше сказать, в бесчувственности казаков, он поставил выполнить адский заговор Мещеряка. Не тронуло предателя и спокойное чело предводителя, которое никогда не сияло такой ангельской добротой и доверенностью. Если б Самусь хотя на одно мгновение мог быть человеком, а не чудовищем, то, конечно, поразился бы отпечатком какого-то высшего блаженства, какого-то райского, неземного вождения, которыми отражалось лицо героя при ярких отблесках поту- хавшего костра.

Минута – и Самусь был уже на другой стороне Иртыша, где с нетерпением ожидал его Кучум еще минута, и державный слепец, пылавший мщением, переправился вброд через реку с многочисленной конницей. Осторожно, без малейшего шума татары подползли к казацкому лагерю: в нем все было тихо и безмолвно, как в могиле. Татары успели принять необходимые меры для совершенного успеха и безопасности – а ни один казак не пошевелился. Со стремлением бросились враги на безоружных героев, с коими за минуту не

дерзнули бы сразиться в чистом поле, несмотря, что были в несколько раз превосходнее их числом, – и в мгновение ока не стало двухсот храбрых на земле. Ермак, пораженный также сильными ударами, не пал, однако, подобно своим товарищам: несколько острых кинжалов увязло в кольцах булатной брони его, которая, по крайней мере, дала герою средство дорого продать жизнь свою. Он воспрянул, подобно уязвленному льву. Несколько отчаянных смельчаков заплатили жизнью за свою дерзость. Напрасно вождь звал к себе на помощь: голос его, доселе возбуждавший в витязях новые силы, передававший им, как электричеством, новую бодрость, новое пламя, оживлявший самых раненых новой жизнью, раздавался тщетно среди диких воплей неприятельских, звука мечей и стога вздыхающих товарищей. Ермак почувствовал опасность и неизбежную гибель; но, не теряя присутствия духа, стал он отступать, отражая удары сабель и кинжалов, на него устремленных. Может быть, он надеялся еще дойти до берега и спастись в лодке, полагаясь на тьму ночную; но, увы! удел его уже был решен свы-

ше! Теснимый неприятелем, покрытый ранами, Ермак долго еще удерживался на краю крепкого утеса, не думая, чтобы самый утес изменил ему: гранит поколебался под пятою героя и низвергся с ним в пучину бурной реки; тяжелая броня и истощенные силы погрузили его на дно глубокого Иртыша.

Конец горький для завоевателя, ибо, лишись жизни, он мог думать, что лишается и славы. Нет! Волны Иртыша не поглотили ее: Россия, История и Церковь гласят Ермаку вечную память!

Глава шестая

Заключение

Грустно, безотраднo для читателя видеть бедственный конец завоевателей Сибири, видеть великие доблести, как будто попорванными низкою злобою и коварством! Но нам ли, смертным, входить в исследование судеб Всевышнего? Дерзнем ли сомневаться в мудрости и благодати Провидения, мы, убеждающиеся на каждом шагу в ничтожности челове-

ских предположений, верующие как христиане в утешительную истину, что для страждущей здесь добродетели, равно как и для торжествующего порока, уготовано возмездие в том, лучшем мире!

Последствия в сем случае показали, что коварство и измена не имели большого успеха. Кучум, перерезав предательски двести героев, не мог отнять Сибирского царства, ими завоеванного для великой державы, которая единожды навсегда признала оное своим достоянием. А потому заключим картину сего великого события единственно изображением жребия остальных лиц, в ней действовавших.

Напрасно Кучум употреблял усилия, чтобы достать утопшее тело Ермака; оно не прежде недели, то есть тринадцатого августа, прибито было волнами к епачинским юртам, отстоявшим в двенадцати верстах от Абалака. Внук князя Бегиша, Яним, занимавшийся в то время рыболовством, увидел его и, вытаща из воды, узнал по брони с золотыми орлами на груди и на спине. Слух о сей радости с быстротою молнии разнесся по всем улусам. Издале-

ча мурзы татарские и князья остяцкие и вогульские стекались взглянуть на труп исполина, почитаемого ими бессмертным. Чтобы удостовериться в его смерти, варвары пускали стрелы в бездыханное тело, и приходили в испуг и недоумение, когда при всякой язве из него выступала свежая кровь. Плотоядные птицы, стадами вьась над трупом, не смели его коснуться, иным снился Ермак воскреснувшим с мечом грозного мстителя. Сии и подобные чудные явления заставили их с честью предать останки героя на Беглишевском кладбище, под густой сосной, недалеко от векового кедра, которого сухой остов доселе еще существует. Не менее дивные чудеса представлялись и над его могилой: ночью пылал над нею огненный столб, днем слышали явно страшний голос победителя Сибири. Земля с могилы Ермаковой производила исцеление и возбуждала неодолимый дух мужества[73]. Кучум дотоле не успокоился, доколе муллы и ахуны не нашли способа перенести тайком тело Ермака в такое скрытое место, что никто впредь не мог отыскать его. Погребение Ермака праздновано было татарами с

величайшей роскошью и весельем: более тридцати быков съедено было при сем торжестве. Верхнюю кольчугу Ермака отдали жрецам славного белгородского идола, нижнюю – мурзе Кандаулу[74], кафтан – князю Сейдяку, а саблю с поясом – мурзе Кораге.

Автор желал бы для полноты картины представить после сего родословную нашего героя; но, к сожалению, происхождение Ермака покрыто тайной. Сведения, помещенные о роде его в рукописной *Повести о взятии Сибирской земли*, из коей почтенный историограф наш привел несколько выписок в драгоценных своих примечаниях, не заслуживают доверия! А сказка, изданная в 1807 году под названием *Жизнь и деяния Ермака*, и того менее, почему остается ограничиться некоторыми преданиями о роде и молодости Ермака, сохранившимися на Дону. Достоверно, что он был сыном простого казака и назывался *Василием*. Ермак же было ему прозвище, которое нередко в тот век на Руси и в высшем сословии заменяло имена, даваемые при крещении. Прозвище сие получил он от дорожного артельного тагана, называвшегося у них Ер-

маком, который поручался юному Василию во время походов и наездов казаками, бравшими его с собою в должности кашевара, заметя в ребенке необыкновенную сметливость и проворство. По мере возмужалости своей Ермак отличался перед своими сверстниками мужеством и отвагою, составлявшими первое достоинство молодого казака. Рожденный с буйной, пламенной душой и необузданной волей, он не умел ни чувствовать, ни действовать равнодушно. Очень естественно, что, познав сладость любви, Ермак предался всей необузданности пылкой страсти; он полюбил дочь знаменитого атамана Смаги. К несчастью Ермака, Мещеряк был также неравнодушен к прелестям наследницы богатого Смаги и по старшинству своему перед Ермаком надеялся быть предпочтен отцом и дочерью. В последнем он ошибся: невинная девушка предпочла страстного отвагу расчетливому атаману и платила взаимностью Ермаку, который между тем, приобретая более и более уважения и силы у своих земляков делами славными, избран был и сам в атаманы. Мещеряк, как самый хитрый злодей, не решался

идти открытой силой против столь опасного неприятеля: напротив, втеревшись в дружбу и доверенность Ермака, с величайшим искусством старался отвращать его от любви, как недостойной его страсти, порождал беспрерывно распрю между Ермаком и Смагою, увеличивал подозрительность, которой обыкновенно сопровождается пылкая любовь, и наконец успел представить в таком вероподобии неверность его любезной, что Ермак в порыве бешеной ревности поразил существо, им обожаемое, невинное, страстно его любившее, и тем же кинжалом предал смерти много своего соперника.

С сей минуты пылкая страсть превратилась в растерзанном сердце Ермака в ненависть неограниченную: он поклялся презрением, мщением неверному полу, созданному для гибели человеческого рода; но невинная кровь жгла его сердце, преследовала его во сне и наяву, не давала ему часа покою, не только радости в сей жизни, сделала его мрачным, суровым, человеконенавидцем... Гонимый более совестью, нежели угрожаемый мезтью, Ермак с горстью отваг перебрал-

ся на Волгу и скоро привел набегами своими в ужас все караваны, стремившиеся с Востока в Астрахань, Казань и Москву. С невероятным искусством умел Ермак избегать великие силы, посылаемые царем Иоанном Васильевичем для усмирения дерзких разбойников, а в случае необходимости разбивал их. В одном кровопролитии Ермак находил себе еще некоторую отраду, кидался во все опасности, искал смерти, но смерть его щадила.

Донцы восхищались громкими подвигами своего земляка, толпами собирались под хоругвь его самой отчаянной отваги всякий раз, как не было дела у них с соседями. Между тем ненависть Ермака к людям превратилась годами в хладнокровие, пылкость – в рассудительность, отчаяние – в осторожность. Года ослабили с обеих сторон и воспоминание несчастий, совершившихся в Раздорах, – Ермак возвратился на родину. В сем положении познакомились мы с Ермаком Тимофеевичем на пиру атамана Луковки и следовали за ним до плачевного окончания славных дел его.

Самусь в тот же день принес весть Мещеряку об удачном совершении злодеяния; но

Мещеряк медлил объявить сие несчастье дружке, ожидая Кучума или доверенного его, которому, по условию, он обещался принести в жертву и остальных своих товарищей; он медлил и потому, что в голове у него стало зарождаться некоторое подозрение на Кучума, ибо он с Самусем не получил от него условленного между ними знака в случае успеха. Мещеряк нарочно расставил у крепостных ворот приятелей своих Самуся и Габана, дабы не допускать никого из казаков к Кучуму или от него посланному, пока он сам с ним не переговорит. В полночь объявили ему о приезде Алея, сына Кучумова, который не захотел войти в город, а требовал Мещеряка в лес, на место их прежних тайных переговоров. «Еще новое свидетельство измены Кучума», – подумал Мещеряк и не обманулся.

– Сибирский царь велел сказать тебе, – начал говорить Алей, – что он любит предательство, а презирает предателей...

– Ни слова более, – прервал его Мещеряк. – Вижу, отец твой, лишившись зрения, потерял и проницательность разума: он не понял сладкого чувства мести, которое может овла-

деть сильной, возвышенной душой. Не смерти Ермака жаждало сердце Матвея. Нет! это низкое чувство принадлежит только вам, мусульманам; нет! мне хотелось унижить Ермака, омрачить имя его делом постыдным. Я поклялся вырвать у него славу великих дел его, и успел бы, если б не встречал, по несчастью, предателей и трусов, подобных Кучуму.

– Мещеряк! – воскликнул царевич. – Если б ты не был правоверным, то я наказал бы давно гнусного гяура.

– Знай же, низкий басурманин, что я христианин и соглашался на обрезание, чтобы пособить Кучуму удержать потерянное им царство.

– Ха, ха, ха! Изменник родины и веры думал быть сподвижником царя сибирского!

– Довольно! – вскричал с яростью Мещеряк. – Придите испытать судьбу Карачи. Вы узнаете руку, которая руководила всеми действиями и самого Ермака. Скоро несметная московская рать поможет мне отомстить вероломным...

Возвратясь в крепость, он поведал дружине, состоявшей из ста пятидесяти казаков,

стрельцов и немцев, несчастную гибель Ермака и его товарищей и, сколько ни старался, не мог возбудить в них чувств мужества и благородной мести – с Ермаком для казаков все кончилось, и смелость великодушная, и надежды отрадны. Они единогласно требовали скорейшего возвращения в Россию.

Мещеряк, обдумав хорошенько свое опасное положение, решил выполнить требование казаков и велел немедленно собираться в обратный путь. Но едва казаки хотели перед светом выступить из крепости, как усмотрели невдалеке нечто движущееся. Благоразумие требовало остановиться и разведать, нет ли какой тут засады. И точно, посланный лазутчик возвратился с татаринном, отправленным от Алея к голове Глухову, коего вызывал он на свидание с собою для мирного дела, в присутствии всей дружины. Странное предложение для всех было загадкою, кроме Мещеряка, который тотчас постиг причину оногo. Он старался доказать, что в сем предложении кроется умысел.

– Татары хотят или выманить нас, или узнать наши силы, – говорил он, и посланцу

было отказано. Но когда татарин сказал, что имеет полномочие поведать слова царевича всякому другому, кроме Мещеряка, то сему последнему не оставалось ничего более делать, как готовиться к изобретению новых хитростей. Когда казаки указали татарину на Глухова для выслушивания его предложения, то он сказал:

– Кучум, царь сибирский, дает вам жизнь и позволение возвратиться на Русь, а требует головы одного предателя – вашего Мещеряка.

– Ха, ха, ха! – прервал речь его Мещеряк с насмешкою. – Новый или старый царь сибирский сделался больно добр, жалуя жизнью воинов, которые выгнали его из царства и, пожалуй, прогонят еще подальше, к богдыхану в сказочники, а требует только голову своего приятеля?

– Но ты сам сказывал, предатель, – возразил татарин, – что у вас в крепости осталось сто пятьдесят человек всякой сволочи. Можно ли же вам держаться противу несчетных сил царя Кучума и голода?

– Изволь, покажем эту возможность твоему Кучуму, – продолжал Мещеряк с прежней

язвительностью, – так же убедительно, как доказали мурзе его Карачи. Товарищи! – воскликнул он с жаром, обратясь к казакам. – Вы видите, что коварный Кучум готовит вам сети, дабы под предлогом мира удобнее заманить вас в них. Нет! друзья, не давайте себя в обман лукавому басурманину, велите сказать Алею и Кучуму, что у великого московского царя найдется не один Ермак, который сумеет наказать вероломство; а если для того мало нашей силы, то Гроза ведет рать из Москвы.

С сим ответом отправили обратно посланца Алеева; но, без сомнения, Мещеряк расчел, что угрозы его недостаточны для удержания Кучума в страхе, а рать московская могла и не скоро прийти, а потому он не только не противился более, напротив, торопил казаков выступить из Искера. Но между ними и святою Русью предстояли еще пустыни необозримые, опасности неодолимые, битвы непрерывные; Кучум не оставит преследовать их, если изберут они прежний путь, причем будет ему весьма легко восстановить против них все покоренные им народы, тревожить их, изнурять на каждом шагу, ибо до самого

хребта Урала они должны будут подыматься против течения рек быстрых, каменистых. Жалко было также казакам оставить в Искере и сокровища, нажитые трудами кровавыми. И так по долгому размышлению они решились пуститься вниз по Иртышу, в великую реку Обь, и через Югорию пробраться в Россию – путь отдаленный, но, по обстоятельствам, самый безопасный и верный[75].

Пятнадцатого августа 1584 года остальные герои непобедимой дружины Ермака вышли из столицы сибирской на восьми стругах, полно нагруженных, забрав всю артиллерию и воинские снаряды, вышли с горькими слезами, покидая в ней гробы братьев и знамения христианства, но с каким-то приятным предчувствием скорого возвращения. Кучум на третий день отъезда казаков пришел к Искеру с большими силами; но, видя невозможность с пользою преследовать неприятеля, – все еще для него страшного, непобедимого, – оставил его в покое продолжать свой обратный путь, годов будучи, без сомнения, по пословице *намостит и золотой мост!*

Плывя без малейшего беспокойства по ве-

личественной Оби и видя с каждым днем без-
опасность свою увеличивающуюся, казаки
начинали вкушать некоторую отраду в своем
изгнании: сначала тихие заунывные запевы,
потом громкие песни с закатами стали разда-
ваться на стругах казацких; один только Ме-
щеряк становился час от часу мрачнее, угрю-
мее, диче; лицо его, и без того безобразное,
сделалось страшным, глаза перекосились и
едва выглядывали из двух впадин, как из фи-
линова дупла. По ночам он скрежетал зубами
так страшно, что будил и приводил в ужас
своих соседей; нередко вскакивал и с трепе-
том и воплями бежал, как будто избегая ост-
рых когтей преследователя.

Казаки, никогда его не любившие, стали
под конец бояться как одержимого нечистым
духом и немного пожалели, когда однажды,
готовясь отвалить с ночного привала, нашли
его висящим на суку высокой лиственницы,
— еще более обезображенным муками на-
сильственной смерти. Долго суеверные каза-
ки не смели к нему приблизиться и не знали,
похоронить ли его или оставить на дереве?
Но, боясь преследований тени висельника

(чего опасаются, когда тело его остается не преданным земле), решили закопать его глубже под тем деревом; а чтобы он не смел никогда вылезать из своей могилы и прогуливаться по белу свету с ведьмами и упырями – на страх православным, то, обрубив сучья у лиственницы и прикрепив к ней поперек другое большое дерево, сделали из того высокий крест. Крест сей долго был виден на одном острове близ Березова и служил предметом набожности и страха пловцов по великой реке. Таким образом совершился суд над злодеем и в здешнем мире, хотя нельзя определить, мука ли преступной совести, или досада на неудачи во всех своих замыслах, для коих совершал он столько напрасных преступлений, или страх царского гнева побудили Мещеряка положить конец своему существованию, служившему как бы укоризною благому Провидению. Если б неисповедимыми судьбами занесен был на могилу Мещеряка знаменитый греческий человеконенавистник Тимон, то, верно, он повторил бы свое желание: «Дабы деревья почаще производили столь полезные плоды!»

Мы видели, что Строгановы оставались в Москве и по отправлении Кольца в Сибирь. Не понимал никто, почему царь Иоанн Васильевич медлил их отпуском, не знал никто, чем он намеревается наградить именитых людей за их службы великие!

Между тем князь Аввакум Аленкин дал знать Максиму Яковлевичу под рукою, чтобы он припрятал свою красавицу в монастырь, что было единственной преградой и спасением от развращенного сластолюбия Иоаннова. Строганов вострепетал от ужаса, ибо считал себя некоторым образом причиною смерти атамана Луковки, которого видел он перед глазами своими растерзанным медведем, подаренным им Иоанну. Теперь может сделаться причиной позора дочери сего храброго страдальца, им привезенной, как нарочно, для того в Москву? «Нет! этому не бывать», – сказал Максим Яковлевич и в ту же ночь отправил Велику с надежными людьми обратно в Орел-городок, несмотря, что она еще не совершенно оправилась после сильной горячки, в которую положило ее известие об ужас-

ной смерти отца своего, неосторожно ей сказанное.

Благословляя бедную сироту на дальний путь, с отеческой горячностью Максим Яковлевич промолвил: «Благодарю Бога, что имею еще время и силы выручить тебя из-под монашеского покрывала».

Но слова сии зародили мысль в голове сироты об определении себя свыше для монашеского звания, которая досель ей не приходила. Мысль сия в продолжение длинной дороги созревала и увеличивалась. Не раз Велика припоминала бедствия и страдания, коими исполнена жизнь ее, коими куплены ее скоротечные минуты радости; она чувствовала, что если б в состоянии была победить свое сердце, то почла бы за верховное счастье посвятить жизнь свою тихой обители, для возблагодарения Господа за чудесный промысел о ней в минуты гибели неизбежной, зол неотвратимых.

Исполненная сих мыслей, возвратилась Велика к милой и грустной Татьяне, и, конечно, вдохновение чувств сих должно считать новой благодатью, ниспосланной благим

Провидением для подкрепления бедной Велики к перенесению новой, тягчайшей горести, ожидавшей ее в Орле-городке. Здесь узнала она о смерти Владимира, который кончил жизнь на руках Татьяны. После сего ничто уже не удерживало Велику предаться пламенному своему желанию, сладчайшему чувству души и сердца – посвятить себя служению Господу, любить одного Бога...

Частые ли беседы подруг-соперниц о счастье и спокойствии иноческой жизни или взаимная потеря самого драгоценного для них сблизили их и насчет понятий о бедствиях жизни вне стен монастырских, но Максим Яковлевич вынужденным нашелся выполнить непременную волю упрямых красавиц, как ни уговаривал их, как ни представлял им их заблуждение. Впоследствии Пыскорский монастырь, в котором отправлялось пострижение без шума, без блеска, без свидетелей богатейшей наследницы и ее подруги, под именем Акилины и Минодоры, обогащен был от щедрот Строгановых несметными богатствами, и даже Дедюхино, считавшееся приданым Татьяны Максимовны, отдано было

сей обители.

Что касается до Строгановых, то царь Иоанн Васильевич за *службу и радение* их при покорении Сибири пожаловал им два знатных местечка по Волге: Большую и Малую Соль, и право торговать во всех своих городках беспошлинно.

Справа от церкви видны в Орле-городке куча кирпичей и толстый пенёк. Это, по всей вероятности, могила доблестного атамана Грозы – князя Ситского. Следуя в Москву со знаменитым пленником своим Маметкулом, он заехал в Каргедан, дабы успокоиться несколько от тягостей пути, совершенно расстроивших его слабое здоровье, и весьма вероятно, что надеялся тут найти и обожаемую им Велику; но обманулся и в том и в другом: Велика была в Москве с Максимом Яковлевичем, а здоровье его, вместо того, чтобы поправиться, разрушалось час от часу более. Недостаточно было для пламенного сердца нежнейшей дружбы, чтобы вдохнуть в него огонь новой жизни: Владимир погас как свечка, тихо, безмятежно, при всех утешениях религии и искреннем сожалении всех его знавших. Ве-

рить ли преданию, будто могила Грозы долго покрывалась ежегодно свежими цветами, которые на заре утренней поливались невидимой рукой, а потом несколько столетий кудрявый кедр расширял над нею свои огромные ветви, как будто охраняя драгоценный прах героя от вьюг и непогод сибирских.

Маметкул прибыл в Москву в 1584 году, уже при наследнике Иоанна, и принят был не как пленник, но с почестями, равняющимися высокому его роду. Ласки и милости юного царя, пожаловавшего ему большие поместья, заставили царевича забыть свое отечество и посвятить себя службе России. Он вызвал из Сибири мать свою и принял христианскую религию. В 1590 году Маметкул был в походе против шведов, а в 1598 году ходил с царем Борисом Федоровичем Годуновым к Серпухову, на встречу крымских татар, и везде отличался усердием и мужеством. В реляциях и современных грамотах он писался или царевичем сибирским, или Маметкулом Алтаумовичем. От него произошел род князей сибирских.

Храбрый царь – изгнанник Кучум, лишась

в другой и последний раз своей столицы и царства, не хотел покориться своему року: долго скитался с шайками ногаев по степи Барабинской, делал отчаянные наезды, не принимал никаких милостей от царя русского, не слушал даже увещаний сына своего Абдул Хайра, который из Москвы славил великодушие Федора, и мирился только на одном – на возвращении ему Сибири, Сибири, которой приобретение становилось между тем час от часу чувствительнее и важнее для России. В 1585 году, то есть четыре года спустя по взятии Искера Ермаком Тимофеевичем, Сибирь доставляла уже в казну царскую ежегодно по пять тысяч сороков, двести тысяч соболей, десять тысяч лисиц черных, пятьсот тысяч белок, кроме бобров и горностаев!

Но если есть средства исчислять сокровища и даже определять количество золота, серебра и других драгоценных металлов, коими обогатила Сибирь новую свою обладательницу в течение двух с половиной столетий, то возможно ли оценить блага нравственные, столь щедро ею на нее изливаемые?

Примечания

1

Отвагами назывались у донцев храбрецы, люди, ищущие опасности и подвиги подобно странствующим рыцарям Средних веков.

[^^^]

Нередко казаки напоминали государям русским, что сторожат их древнее достояние — *Тмутаракань*.

[^^^]

3

Доброжелатели, шпионы.

[^^^]

4

Возвращаясь из морского похода, донцы закапывали в землю свои лодки, чтобы неприятель не нашел и не истребил их.

[^^^]

Азовское море.

[^^^]

6

При разрыве мира та сторона, которая начала войну, обязана была послать другой размирную грамоту. Не послать оной почиталось поступком бесчестным. Но азовцы это часто делали, и тогда казаки поступали с ними без всякой пощады.

[^^^]

Для сего нужно было только казаку объявить на Майдане (то есть сборном месте), что в жены себе избрал такую-то. Столь же легко и тем же порядком разводился он с нею, после чего всякий другой мог жениться на отказной, прикрыв ее полый плаща, что значило снять с нее бесчестье развода.

[^^^]

Пирог круглый.

[^^^]

Филейная часть в разваре.

[^^^]

ЯЗЫКИ.

[^^^]

Суп из баранины.

[^^^]

12

Из капусты с рубленным мясом.

[^^^]

Утки.

[^^^]

ОГНИВО.

[^^^]

Кафтан.

[^^^]

Чиберками назывались девушки, созванные для шитья приданого.

[^^^]

Под сим именем известен был на Дону лучший мед.

[^^^]

Гульбою называлась звериная охота.

[^^^]

Кошами назывались большие ватаги звероловов или артели.

[^^^]

Охотники, употреблявшие для ловли зверей капканы и тенета.

[^^^]

Есть зайцев и теперь в некоторых местах считается грехом, а казаки ставили это в бесчестье.

[^^^]

Самый лучший мед.

[^^^]

Односумы – товарищи, у которых не было собственности, а добыча и имущество хранились вместе.

[^^^]

Опричники, между прочим, вооружены были метлами.

[^^^]

Которая нашивалась на одной поле кафтана.

[^^^]

См.: *Н. Карамзин. История государства Российского.*

[^^^]

Легкой, или зимовой, *станицей* назывались посольства от донских войск к русскому самодержцу и почитались важной наградой.

[^^^]

См.: *Н. Карамзин. История государства Российского.*

[^^^]

То же, что нынешние надгробные памятники.

[^^^]

У мусульман существует поверье, что всякий покойник в первые три дня после его кончины допрашивается в гробу Монкаром и Накаром для решения, может ли он попасть прямо в рай или должен наперед подвергнуться испытанию в аду. Для сего гроб делается так, чтобы покойник мог сидеть в нем прямо и отвечать на вопросы.

[^^^]

Пенные казаки, то есть порочные, в круги не допускались и были прощаемы только при самых трудных предприятиях. В таком случае призывались грамотами в следующих выражениях: «Соберитесь в войско все атамань молодцы, пенные и огненные, а вины их им отдадутся, ослушники же да лишатся расправы войска». Сие последнее значило лишение гражданства.

[^^^]

Славный волжский разбойник.

[^^^]

Делить добычу.

[^^^]

По-самоедски – Бог.

[^^^]

Злой дух.

[^^^]

Сибирская гречиха.

[^^^]

Казачи имели два собственных монастыря: Никольский близ Воронежа и Черпеев в Шацке, в коих часто престарелые казаки кончали жизнь свою.

[^^^]

Автор занимается уже семь лет сочинением истории Петра Великого.

[^^^]

Кобылье заквашенное молоко, имеющее острый вкус и многие целебные свойства.

[^^^]

Коровье кислое молоко, разведенное водой.

[^^^]

Мешок из выкопченной конской кожи.

[^^^]

Байгуш у башкирцев – бездомный, бедняк, что у нас – бобыль.

[^^^]

Ведется предание, что Строгановы выучили русских купцов выкладкам на счетах.

[^^^]

Кривить душой, лукавить.

[^^^]

Миллер пишет, что Строгановы отпустили с Ермаком на каждого ратника по три фунта пороху и свинца, толокна по два пуда, сухарей и соли по пуду, по безмену (то есть по два с половиной фунта). Коровьего масла и по полтю (окороку) на двоих и прочее. При делах конторских есть сведение, что сделанное ими при сем случае пожертвование на съестные и боевые припасы простиралось по тогдашним ценам на 20 тысяч рублей.

[^^^]

Так называемые строгановские иконы XVI и XVII веков ценятся старообрядцами весьма дорого. В церкви Преображенского кладбища в Москве можно видеть несколько таковых икон и согласиться, что и в Италии они были бы уважены не менее канониановых. На некоторых из них есть по сто и более фигур, одна на другую непохожих и правильно вырисованных, особенно краски удивительно свежи, как будто века до них не касались своим дыханием. Должно полагать, что это был род школы, занимавший середину между греческим и итальянским стилем.

[^^^]

Перпендикулярная высота утеса от поверхности реки около 33 сажен. Старожилы уверяют, что от места, занимавшего Искером, отвалилось уже около 40 сажен.

[^^^]

Высочайшая гора против Тобольска.

[^^^]

По свидетельству мурзы Девлетбая, жившего в городке Бициктуре, Кучуму являлись все сии предвестия и знамения

[^^^]

По его же свидетельству, кроме креста виделся над Искером в воздухе город с христианскими колокольнями.

[^^^]

Сто семь казаков, падших в кровопролитной, решительной битве сей, доселе поминаются ежегодно в первое воскресенье Великого поста в Тобольском соборе.

[^^^]

И теперь юрты кочующих звероловов в Сибири обиваются внутри кожами пушных зверей, правда, не соболями и лисицами, которых, во-первых, очень уменьшилось против прежнего, во-вторых, ими платится ясак.

[^^^]

Доселе собираются сюда татары в сентябре и мае для поминовения правоверных, положивших головы свои за Искер.

[^^^]

Черными реками называются те, которые текут в Сибирь, то есть на восток из хребта Уральского.

[^^^]

Одна только крайность заставит остяка убить оленя.

[^^^]

Род балалайки с кишечными струнами.

[^^^]

Нет сомнения, что Уркунду разумел копи, известные в Сибири под именем Чудских, которые в немалом числе находятся по Уралу, а еще более по хребту Саянскому, и доказывают существование там некогда народа просвещенного и любознательного; в одной из сих копий найдены были две медные гири с письменами, которых никто разобрать не мог. Очень вероятно, что этот трудолюбивый народ оставил по себе и сии надписи, высеченные или нарисованные красной краской на недосыгаемых вершинах гранитных берегов сибирских рек. Они тем любопытнее, что имеют величайшее сходство с подобными памятниками, открытыми в противоположных концах Северной и Южной Америки, и также никем не разгаданные! Если мы убеждаемся непрерывными открытиями в существовании неизвестных животных, исчезнувших с лица земли, то почему не допустить, что были и народы, непричастные истории. Мир старше кажется, чем мы полагаем.

[^^^]

Лодка из береста.

[^^^]

Казачи и в Сибири завели свои круги на площади, которую называли Майданом.

[^^^]

Сей способ предвещения есть самый древний в России и, конечно, может похвастаться остатком греческой алекстромантии. Греки гадали им следующим образом: на песке или на мелкой земле они обводили кружок, который разделяли на 24 части. В каждую клали букву, а при ней зерно, и по тем буквам, которые петух склюет, не выходя из круга, выводили предсказательное слово. Таким образом, софисты Либаний и Ямблих предсказывали, что преемником императора Валентина будет Федор, ибо петух съел зерна, лежавшие при буквах Ф. Е. О. Д.

[^^^]

Замечательно, что в Сибири шаманы и шаманки скоро лишаются зрения, вероятно от напряжения сил при отправлении своего колдовства.

[^^^]

Подобной грамотой в Сольвычегодский посад действительно приказано было отдать в 1759 году Семена Строганова братьям его Якову и Григорию.

[^^^]

В Москве почти на каждом перекрестке стояли кресты, у коих собирался народ, большей же частью духовенство.

[^^^]

Известная сказка Геродота о киммериянах.

[^^^]

Александр Македонский.

[^^^]

Это поверье о шаманах доселе услышите в Якутске.

[^^^]

Явствуует из грамоты.

[^^^]

С достоверностью можно полагать, что урочище, называемое *Царева гора*, есть то место, где был дворец Иоаннов, хотя не осталось там никаких признаков его существования, и даже глубокие рвы и высокие валы изгладились до такой степени под строениями и огородами, что при самом пылком воображении и тщательном обзрении невозможно сделать по ним никакого заключения. После сего можно подумать, что само Провидение брало участие в истреблении памяти о существовании сего памятника величайшего бедствия России, тогда как многие другие, несравненно маловажные и несколькими веками старше оно, сохранились в целости.

[^^^]

Ермак. Соч. И. И. Дмитриева.

[^^^]

Сей бугор, вышиной в 10 сажень, доселе существует и называется Русским Царевым городищем.

[^^^]

Понятия сибиряков о сиренах, доселе существующие.

[^^^]

По сказанию *Ремезовского летописца*, Перекопъ сию сделал Ермак в три или четыре дня, то есть от 1 до 5 августа, но, по всем вероятностям, должно думать, что она вырыта во времена какого-то забытого века.

[^^^]

Калмыцкий Тайша Аблай удостоверял сотника Ремезова в 165' году, что он с горстью сей земли всегда побеждает.

[^^^]

Кольчугу сию достал от наследников Кандаула упомянутый мурза Аблай, присылавший для того нарочное посольство в Тобольск. Броня сия была длиною в два аршина, в ширину в плечах один с четвертью аршина, с золотым орлом на груди и на спине, с медной опушкой на рукавах и вокруг пол в два вершка.

[^^^]

Нет сомнения, что сказание о возвращении казаков Обью, помещенное в *Есиповском летописце*, достовернее *Строгановского*, который заставляет их возвращаться прежним путем!..

[^^^]